

Я РОДОМ ИЗ XX ВЕКА

г. Ульяновск
2015 г.

И.Д. Хмарский

Я РОДОМ ИЗ XX ВЕКА

г. Ульяновск
2015 г

УДК
ББК
Х 31

Х 31 **Хмарский, И.Д.** Я родом из XX века. Избранное / И.Д. Хмарский. – Ульяновск : Дом печати, Печатный двор, Редакционно-издательский отдел УлГПУ. – 2015. – 296 с.

В данную книгу вошла лишь часть произведений из творческого наследия участника Великой Отечественной войны, дипломата, учителя, журналиста, художника, писателя Ивана Дмитриевича Хмарского. В неё вошли рассказы, мемуары, проза, поэзия, рецензии, которые были опубликованы автором во второй половине XX века в газетах и журналах.

В книге рассказывается о личном участии автора в военных действиях, послевоенном периоде страны, о преподавательской работе в школах и институтах, об интересных событиях в Ульяновской области, о встречах с интересными людьми. Показан всесторонний срез жизни области за период с 1939 по 2000 гг.

Будет интересна не только для студентов и школьников, но и всем, кто хочет дополнить свои знания по истории Ульяновской области и нашего Отечества.

Благодарим всех, кто принял участие в работе над книгой и её выходом в свет: министра искусства и культурной политики Ульяновской области Т.А. Ившину, ректора УлГПУ имени И.Н. Ульянова Т.В. Девяткину, декана кафедры литературы УлГПУ А.И. Петриеву, директора библиотеки УлГПУ Е.П. Насырову, директора редакционно-издательского отдела УлГПУ....., коллектив Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина и её директора С.В. Нагаткину, редактора-составителя Н.Н. Сёмина (г. Димитровград).

Семья Хмарских

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------------|---|
| Вместо предисловия..... | 6 |
| Сеглевич против Стейнбека..... | 7 |

МЕМУАРЫ

| | |
|--|-----|
| Вечно юная Рая | 21 |
| Лики войны | 29 |
| Выдающийся марксист..... | 60 |
| Операции "Багратион" | 65 |
| Первый пленный | 66 |
| Предвоенные зарисовки | 72 |
| У истоков литобъединения «Черемшан»..... | 82 |
| Месяц с Джоном Стейнбеком | 101 |

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Актриса..... | 144 |
| Алёшкин приговор..... | 148 |
| Белая рубашка | 155 |
| Ландыши | 159 |
| Озеро Рица | 163 |
| Под судом и следствием не состоял..... | 168 |
| Сердце не камень | 175 |
| Совесть | 179 |
| Франц..... | 184 |
| Шенбрун | 196 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|--------------------------------|-----|
| 4 октября 1993 года | 218 |
| Баллада о русском витязе | 219 |
| Весеннее | 222 |
| Лотерея | 222 |
| Молитва | 224 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Ода взятке | 225 |
| Бабье лето..... | 226 |
| Библейское | 227 |
| Воспоминание | 228 |
| Монумент | 230 |
| Отступление | 232 |
| Первый день..... | 233 |
| Покаяние | 234 |
| Элегия..... | 235 |
| Смерть ветерана..... | 236 |
| Клятва..... | 238 |

ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|--|------------|
| Балбесы на экране и в жизни | 240 |
| Доброе слово о России | 242 |
| Евгений Ларин – поэт из народа..... | 245 |
| Закат XX столетия..... | 249 |
| Поколение счастливых..... | 259 |
| Правда истории..... | 262 |
| Рекламный идиотизм..... | 265 |
| Судьбы не желала иной..... | 268 |
| Здравствуй, «Черемшан»! | 272 |
| Биография И.Д. Хмарского | 279 |

Вместо предисловия

Вы открываете книгу, в которой представлена лишь пятая часть литературного творчества бывшего преподавателя, профессора Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова, доцента кафедры «Литература» Ивана Дмитриевича Хмарского.

О его жизни и творчестве можно написать много, но это не входит в концепцию данной книги. Здесь дана лишь его краткая биография, из которой уже просматривается его огромный вклад. Как в систему обучения будущих учителей, так и другие сферы культурной жизни Димитровграда, Ульяновска и всей области. Работая в сфере образования и пройдя путь от рядового учителя до ректора Мелекесского педагогического института и заведующего кафедрой Ульяновского педагогического университета имени И.Н. Ульянова он лично внёс неоценимый вклад в дело подготовки и обучения учителей в XX веке, которые в свою очередь воспитали уже тысячи молодых людей следующего поколения XXI века как нашей области, так и всей страны.

Сборник составлен из трудов одного автора, жившего и творившего во второй половине прошлого столетия. В вошедших произведениях данного сборника ясно просматривается творческий портрет воина и гражданина страны. Есть взгляд и со стороны. На первых страницах показана личность Ивана Дмитриевича с точки зрения одного из его учеников сейчас живущего в Торонто (Канада). Это очерк «Сеглевич против Стейнбека»). А в публикуемых произведениях (около 50 из 300 им написанных) он дополнил свой портрет и рассказал о себе сам. Получился портрет одного из рядовых граждан нашей великой страны на фоне многих событий начиная с середины прошлого, XX века, до начала следующего XXI века, произошедшими в нашей стране, в которых он принимал участие, начиная отсчёт с кануна Великой Отечественной войны. Он просто и без прикрас рассказал о своём участии в этих событиях. И не просто написал, но и дал свою оценку происходящему. И не в сухой библиографической манере, а чистым русским литературным языком.

Рассуждать и давать оценку того, удалось ли ему донести до нас фон той эпохи уже ваше читатель право.

Его труд неоценим и обширен. Нынешнему поколению сейчас просто необходимо знать историю своей страны, узнать

правду о войне. И, что особенно важно, о её начале и роли Сталина, о настроениях бойцов, разоблачил сущность империализма и неблагоприятную роль наших бывших союзников в наступившей затем «холодной войне». Надо только приветствовать молодёжь, которая идёт в дома и квартиры ветеранов войны не только помогая им в быту, но и тщательно записывая их такие же правдивые воспоминания о войне.

Приведу лишь некоторые аспекты. Он был знаком с известными всей России и Европы людьми, рассказал о послевоенном Мелекесе и Ульяновске, об общественных деятелях области, о становлении писательских организаций в Димитровграде и Ульяновске, о своём видении постсоветской России.

И в качестве справки. В период 50-60-х годов прошлого века он написал и сумел издать три малоформатные книжечки: «Вечер встречи» (1953 г.), «Ёлка-зелёная иголка» (1960 г.) и «Золото-старушка» (1963 г.). Теперь эти книги, а также единичные экземпляры газет и журналов с его рассказами библиографическая редкость. Лишь по одному-два экземпляра они хранятся в семье, во Дворце книги имени В.И. Ленина, в библиотеке педагогического университета и в музее Димитровграда.

Этот год проходит под эгидой сразу двух событий и оба они имеют непосредственное отношение к личности Ивана Дмитриевича Хмарского. Это объявленный Президентом Год литературы и юбилейный Год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И областной Совет по продвижению чтения и книгоизданию, учитывая эти факторы принял историческое решение о публикации данного труда.

Переиздать остальные произведения из газетного варианта замечательного педагога и писателя И.Д. Хмарского – ближайшая задача творческой общественности области.

Николай Сёмин, ученик И.Д. Хмарского, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, автор 10 книг.

Сеглевич против Стейнбека

Давным-давно я учился в младших классах средней школы номер три города Мелекесса, в ту пору небольшого заволжского городка. Этим очерком хочу исправить несправедливость, невольно допущенную по отношению к директору моей

школы классиком американской литературы Джоном Стейнбеком.

С развитием интернета стало возможным строить картины прошлого и восстанавливать факты биографий без того, чтобы напрямую рыться в архивах: другие люди делают это за тебя и публикуют свои архивные находки...

Первый раз в жизни я познакомился с настоящим живым писателем, когда мне было восемь лет. У нас появился новый директор школы, и учительница с некоторой гордостью сообщила нам, второклассникам, что наш директор пишет рассказы и публикует книги. Через неделю я увидел в книжном магазине напечатанную типографским способом афишку: «В Ульяновском книжном издательстве вышел в свет сборник рассказов Ивана Хмарского “Вечер встречи”».

Происходило сие в Мелекессе, который в ту пору еще оставался грязной заволжской слободой. Не было ни института атомных реакторов, ни автозавода, прославивших впоследствии этот небольшой город под именем Димитровград.

Были серые дома с тесовыми заборами, палисадники с неперенной мальвой, бараки строительных рабочих, лагеря с колючей проволокой и вышками по углам. Каждый образованный и интеллигентный человек резко выделялся на этом невзрачном фоне. И было таких немного. Если и появлялись, то чаще – ссыльные, которым после лагеря не разрешалось жить в больших городах.

Одним из них и был И.Д. Хмарский. Этот среднего роста худой мужчина лет сорока пяти безусловно обладал тем, что слухи, что когда-то он был на дипломатической работе и занимал довольно высокий пост, а потом ему пришлось буквально бежать. Он скрылся из Москвы, с глаз высокого начальства, а иначе не сносить бы ему головы в те послевоенные годы, когда волна репрессий вновь начала вздыматься. Как мы скоро увидим, слухи эти оказались не просто обоснованными, а буквально протокольными сегодня называют харизмой.

Его уважали все, даже школьники, обычно редко уважающие своё начальство. Тот самый случай: уважали, а не боялись. Кстати, вы встречали директора школы, никогда не повышавшего голос? Таким он был. Голос мягкий, негромкий. Всегда гладко выбрит, и оттого щеки его отливают синевой, как обычно бывает со жгучими брюнетами. И сейчас, полвека спустя, ясно слышу, как Иван Дмитриевич обращается к какой-то маленькой девчужке:

- Что ж ты, голубушка, так рано в школу пришла? Посидела бы дома, почитала бы что-нибудь...

И вот моя знакомая, местная старожилка, спрашивает, кто у меня директор школы.

- У нас очень классный директор! Хмарский.

И мне приятно видеть, как ползут вверх её брови, как будто это я сам отыскал для своей родной школы такого главнокомандующего.

- Ого! Так вот кто у вас директор!

Жена Ивана Дмитриевича, Мария Федоровна, была заметно моложе мужа. Дородная крупная женщина из местных жительниц. Спустя несколько лет, в другой школе, она вела у нас математику и была завучем. Уж она-то не стеснялась голос повысить. Каждому было ясно, кто у Хмарских капитан, ведущий семейный корабль. Поженились они вскоре после приезда Ивана Дмитриевича в наш город, а институт она заканчивала уже потом. Математику мы знали неплохо. С нашей учительницей было не до шуток...

Однажды Мария Федоровна дала мне специальный сборник задач и велела готовиться к школьной математической олимпиаде, которую сама и организовала. Я был довольно послушным и прилежным учеником. К тому же, готовиться к олимпиаде и участвовать в ней оказалось делом страшно увлекательным... Затем последовали новые задачи и подготовка к городской олимпиаде, на которой я неожиданно занял первое место. Так что, выражаясь суконным языком традиционной журналистики, именно Мария Федоровна определила мой дальнейший путь в науку...

Мы жили в одном дворе. В те былинные времена соседство предполагало общение. Дочь Хмарских, Татьяна, – годом меня старше...

Я бахвалюсь:

- Мой отец в школе учил немецкий, в институте – английский, а потом сам выучил французский.

- Надо же! И мой тоже: в школе – немецкий, в институте – английский, а французский – сам.

(Я тогда не знал, что профессиональное знание английского было необходимо её отцу на предыдущей работе).

- И еще мой отец замечательно рисовал и писал маслом.

- И мой тоже пишет картины...

Про игру на фортепиано речь в тот раз не зашла, но однажды, подойдя вечером к актовому залу (мы учились во вто-

рую смену), я услышал музыку. Заглянул тихонечко. Директор сидел за роялем. Играл Шопена...

- Танька, зараза! Ты зачитала одну из любимейших книг моего раннего детства «Рассказы о науке и ее творцах».

Но не мог же я давить на дочь самого Хмарского из-за такого пустяка. А надавать ей по шее тем более. Ведь отблеск вышеупомянутой харизмы распространялся и на нее...

Рассказы Хмарского я читал классе уже в пятом или шестом, не раньше. Хорошо запомнился один: «Золото-старушка» (так и сборник назывался). Семья некоего ответственного работника нанимает для сынишки няньку, тихую набожную старушенцию. Потихонечку, но решительно та начинает устанавливать в доме свои порядки. В итоге даже крестит ребенка. А завершается её карьера грандиозной гулянкой, пьянкой и погромом в квартире. Сцены гульбы разбушевавшихся старушек поданы были яркими красками великолепной русской прозы. Сюжет как сюжет. Только сразу было видно: автор – профессионал и прекрасно обучен литературному делу. Это вам не «творчество местных авторов» в городской газете...

У Сережи, их маленького сына, случился острый аппендицит. Хирург в нашей округе был всего один: моя мама. В тот вечер, когда мама прооперировала Сережу, к нам в дверь постучали. На пороге застенчиво улыбался наш директор. Я растерялся, позвал мать и тут же ретировался. Видно, Иван Дмитриевич отказался проходить, и разговор происходил в прихожей. Я только слышал мамин голос:

- «Сок? Такой? Да, немного можно. Печенье? В первый день?»

- Ни в коем случае!»

А мне было очень неловко из-за того, что такой человек мнётся у нас в прихожей...

В здании бывшей классической гимназии располагался педагогический институт. В пятидесятые годы его отапливали дровяными печами. Во дворе – поленицы. А неплохое, между прочим, заведение было! (Кадры и впрямь решают всё). Туда и перешел на работу Иван Дмитриевич. Защитился, стал деканом филологического факультета, потом ректором. Городская газета «Знамя коммунизма» приветствовала его не слишком шедевральному двустушием: «Он кандидатом стал вчера, а завтра выйдет в доктора». Его работы по педагогике (главным образом, о преподавании литературы) и филологии не раз попадались мне на глаза. Их до сих пор иногда цитируют. Увы!

Среда и время не могли в них не отпечататься. Отсюда и темы: «народность образов..., народность поэзии..., к изучению творчества...» Но проживали в тех работах и Бальзак, и проблемы текстологического анализа. Книжка «Народность поэзии Пушкина» стала довольно популярной...

В те же пятидесятые наш городок напух (следуем метафоре Виктора Шкловского) литературным объединением. Объединение называлось «Черемшан», именем протекающего через город притока Волги, воспетого Аксаковым и Алексеем Толстым. Председателем «Черемшана» был Хмарский... Писали. Публиковались. Сам он издал тогда несколько сборников, опубликовал повести «Перемещенные» и «Мираж», а на Ульяновском телевидении поставили спектакль по его пьесе «Кактус». В начале семидесятых педагогический институт прикрыли, и Иван Дмитриевич переехал в Ульяновск, так как был приглашён на должность декана филфака...

Да, тих и скромн на вид, но в рецензиях был очень неистов. Белинский – да и только. Крепко обрушивался на постановки Димитровградского драмтеатра. Рецензия на «Бег» Булгакова называлась «Бег никуда». Досталось и «Медее» Ануя...

Интересно, когда я видел его в последний раз?..

Семидесятые годы. После университета, не сумев нигде устроиться, я вернулся в родной город. Работал лаборантом, жил, мягко говоря, бедно. Говорят, что выглядел тогда, как мальчишка, гуляя в потрепанных джинсах и старых сандалиях. Как-то, идя по улице, обнаружил, что подошва вот-вот упадет. И тут меня кто-то окликнул... Иван Дмитриевич и Мария Федоровна шли мимо моей старой школы и улыбались. Видно, приехали из Ульяновска по каким-то делам. Я побежал им навстречу, разумеется, в этот момент подошва совсем отвалилась. Мы побеседовали немного, и мне снова было ужасно неловко – на сей раз из-за этой чертовой обуви и вообще из-за своего неказистого вида...

Отчего я вспомнил об этом человеке в первый день года? Вспомнил и понял, что, в сущности, ничего о нём не знаю. Он пришел ниоткуда, как герой Гамсуна. У него не было прошлого... А может, все-таки было?

И тогда, не выходя из кресла, я отправился на поиски...

Вот что говорит интернет-справочник «Ульяновцы – участники Великой Отечественной войны»: «Хмарский Иван Дмитриевич. 1914 г.р., г. Пологи Запорожской области, Украина. Кадровый. Брянский, Сталинградский фронты, военный

корреспондент. Капитан. Орден Отечественной войны II ст., медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Итак, место рождения – Пологи. В те годы – просто узловая станция... Там один из лидеров махновского движения В.Ф. Белаш организовал съезд повстанческих отрядов. Этот бывший паровозный машинист был личностью легендарной. Служил у Махно начальником штаба. Власти почему-то не решились расстрелять его, хотя несколько раз арестовывали. В последний раз его взяли в тридцать седьмом. Времена, увы! – сильно переменялись, и В.Ф. Белаш был зверски замучен в застенках НКВД. Показания, данные перед смертью, опубликованы на официальном сайте Нестора Махно.

«...В Пологах виделся с Хмарским, который из эсера перекрасился в члена ВКП и занимал пост председателя профсоюза этого же железнодорожного узла».

Вначале я думал, что тот Хмарский – отец Ивана Дмитриевича. Копнув поглубже, понял: нет, скорее всего, – дядя. Иван Лаврентьевич Хмарский тоже работал машинистом, тоже участвовал в махновском движении, а в 1920 году вступил в компартию.

Больше ничего не удалось найти о родных Хмарского. Только снова пришлось содрогнуться, взирая на размах злодейств, заполонивших страну. Ведь что получается? Берем рядовую и не самую популярную фамилию – и тут же находим пятерых её носителей, казнённых в течение одного только тридцать восьмого года. На Полтавщине расстреляны крестьянин Демид Захарович, шахтеры Иван Ефимович и Иван Иванович Хмарские (по всей видимости, отец и сын), в Перми – Николай Васильевич, на Могилевщине – Александр Давыдович... Сколько их было, таких, ничем не примечательных фамилий? И сколько было таких лет? И самое страшное: сколько ж надо было подручных! Казнивших, пытавших или просто стучавших...

А вот отрывок из статьи Анатолия Ботвина о выдающемся философе, искусствоведе и публицисте Михаиле Лифшице.

В 1930-е годы у М.А. Лифшица, в знаменитом ИФЛИ (институте философии, литературы и истории), откуда вышла вся советская творческая интеллигенция, учился Иван Дмитриевич Хмарский (1914–2001) – искусствовед, известный ульяновский преподаватель высшей школы, профессор, литератор и то, что мне хочется назвать бывшим некогда в ходу выражением – «местная культурная сила» (помимо прочего, он пи-

сал рецензии на местные театральные спектакли и книги, сам занимался живописью и литературным творчеством). И.Д. Хмарский с огромным уважением и восхищением относился к своему учителю.

Потом промелькнули какие-то материалы о жаркой литературоведческой дискуссии между Хмарским и крупнейшим нашим литературоведом Бенедиктом Сарновым (кого я весьма почитаю и часто перечитываю). Но это, так сказать, «спор славян между собою».

А дальше мне попались архивы радиостанции «Свобода» за 1997 год. Серия из двенадцати передач Владимира Тольца. И тут я даже выскочил из кресла.

- «О, невежда! Если бы кто другой, но я-то должен был об этом знать!»

Литературный портрет моего директора школы довольно широко известен в мире.

К сожалению, изрядно нелицеприятный портрет. Еще печальнее то, что написан он классиком...

Было время – Джон Стейнбек уступал у нас по популярности только Хемингуэю. Если вам, дорогой читатель, привелось, как и мне, оканчивать школу в годы хрущевской оттепели, вы можете помнить, что «Гроздья гнева» и «Зима тревоги нашей» даже входили в списки литературы, рекомендованной для чтения десятиклассникам. Позднее Стейнбек совершил свою знаменитую поездку во Вьетнам, в американскую действующую армию, написал панегирик «грязной войне», и его популярность сильно упала (равно как и тиражи книг, издаваемых в СССР).

В 1947 году будущий нобелевский лауреат совершает поездку по Советскому Союзу. Свои впечатления он описал позднее в знаменитом «Русском дневнике» (“Russian Journal”). Главных путешественников в «Дневнике», по существу, трое: сам автор, замечательный фотограф Роберт Капа, приехавший вместе с ним, и... советский дипломат Иван Хмарский. Последний занимал в то время пост заведующего Американским отделом ВОКСа (Всесоюзного Общества культурных связей с зарубежными странами) и сопровождал гостей в их поездке по стране.

Он получил от ехидного писателя кличку “Kremlin Gremlin” («Кремлевский Гремлин»). Это выражение тут же приобрело популярность и стало крылатым, им американцы до сих пор обозначают всевозможные российские несуразности и

накладки. (Миф о гремлинах – маленьких вредных существах возник во время Второй Мировой войны в среде английских летчиков).

«...Порой срывались все его планы: за нами не приходили заказанные им машины, не улетали самолеты, на которые он брал нам билеты. И мы стали называть его "Кремлевский греmlin"...

- А что это за "gremlin"? – поинтересовался он.

Мы подробно рассказали о происхождении этих гномов, ... какие у них дурные привычки. Как они останавливают в полете двигателя, покрывают льдом крылья самолета, засоряют бензопровод.

Он слушал с большим вниманием, а потом поднял палец и сказал:

- В Советском Союзе в привидения не верят».

А ещё раздражала писателя привычка Хмарского вступать в политические дискуссии и, как бы мы теперь выразились, «защищать советскую власть». Споры возникали постоянно.

«...Во время споров Хмарский сказал нам, что мы релятивисты. И тогда мы, хоть и не совсем понимали, что это такое, успешно атаковали его с позиций релятивизма. Не то, чтобы мы его убедили, но, по крайней мере, мы не сдавались и не уступали, а потому кричали еще громче...»

Где было Стейнбеку понять детали психологии людей, выросших в советское время, получивших совершенно определенное воспитание! Я не хочу сказать, что Хмарский никогда не кривил душой в этой поездке. Ибо каждый – знал. Знал и имел своё мнение о происходящем в стране. И понимал, что это мнение лучше держать при себе. Но! Я убежден, что Хмарский совершенно искренне защищал свою Родину и свой строй перед иностранной делегацией. Вообразите на минуточку, что вы принимаете иностранных гостей, представляете им свою страну. Возможно, сегодня вы воспользуетесь таким случаем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к мерзостям, творимым властями, к нарушениям прав человека, к... Стоп! Очнитесь! На дворе – сорок седьмой год. (Да хоть бы и семидесятый!) И вы, даже зная обо всем, что происходило и происходит, искренне верите, что ваша страна – оплот мира, что социализм – самый справедливый общественный строй из всех существующих, что империалисты точат зубы на вашу страну и всячески стараются её очернить... И для того, чтобы

так считать, вовсе не надо было быть тупоголовым и недалеким партийным бонзой. С этой верой жили миллионы честных, умных и благородных!

Если вам, как и мне, «немного за тридцать», вы должны помнить, как ненавидели мы этих «престарелых вождей» – членов политбюро во главе с безнравственным самодовольным маразматиком, как в анекдотах и частных беседах издевались над властями и строем, как сочувствовали диссидентам. Но если случалось говорить с людьми «оттуда» – ах, какими мы становились патриотами! Называйте это лицемерием, если хотите, – и бог вам судья.

Да ведь и сам Стейнбек ведёт себя примерно так же! Защищает американские жизненные ценности, отстаивает типично американские идеалы, не дает в обиду свой строй и свои порядки, к которым не очень-то благоволит.

Прибавьте к этому и обыкновенный инстинкт самосохранения. Стейнбек и в страшном сне увидеть не мог, что ждет того, кто хоть заикнётся о чём-нибудь «неположенном». Кем-кем, а сумасшедшим Хмарский не был.

И ещё, не мог знать великий американский писатель, что очень скоро ему придется убедиться в том, что в рассуждениях об Америке советский дипломат во многом прав. Его собственная страна уже начинает погружаться в глухие сумерки маккартизма...

Не будем излишне суровы к Стейнбеку. Он относится к своему гиду и переводчику с мягкой иронией и подтрунивает над ним совсем не злобно. С иррациональной злобой и ненавистью говорит об Иване Дмитриевиче другой человек. Человек, никогда его и в глаза не видавший...

Владимир Тольц, ведущий радиостанции "Свобода", приехал в Россию из Праги, чтобы повторить путь Стейнбека. Путеводителем ему служили "Русский дневник" и... секретные отчеты Хмарского руководству ВОКСа, обнаруженные Тольцем в архивах.

Тольц пытается "вжиться" в ту давнюю поездку, беседует с множеством людей... С кем именно? – Нет, не с участниками того вояжа – да и где их найдешь полвека спустя? Просто с людьми, что могут рассказать о том времени, с кем-то из московских чиновников, принимавших косвенное участие в организации тура... И даже не помышляет о встрече с самим Иваном Дмитриевичем. А ведь стоит только отъехать 900 километров на восток от Москвы в комфортабельном поезде.

Даже пометки в визе не требуется. (Можете мне поверить, я проделываю этот путь каждые два года).

Непостижимо? Да просто Тольцу этого не нужно. У него уже есть своя концепция и свой образ Хмарского. Стоит ли рисковать сменой концепции ради такого пустяка, как правда?

Хмарский у Стейнбека – обычный советский чиновник, комичный в своем стремлении оправдать и обелить советский строй. У Тольца он – злобное исчадие Системы. Днём спорит со своим спутником, а ночами строчит на того доносы своему руководству, исходя ядом и желчью.

Он ежеминутно ждал от Стейнбека и Капы политического подвоха и идеологической диверсии, старался давать им "отпор", бдительно следил за каждым их шагом...

Бдительный и политически подкованный, но не знающий толк в атомных делах... (Ну и невежда! Сорок седьмой год на дворе, а он всё ещё несведущ в атомных разработках! – Д.С.)

Иван Дмитриевич не задумывался...

Он жаждал отмщения. (Какое? За что? – Д.С.) Стейнбек изображался в его письме человеком (я буду цитировать) "замкнутым и апатичным"...

Даже цитировать неловко, честное слово. Подумать только, грех-то какой: назвать апатичным самого Стейнбека! С пафосом и гордостью подносит Тольц читателю своё глубокое наблюдение: ВОКС, оказывается, выполнял идеологические задания верхушки и стремился «наладить связи с людьми, которые так или иначе СССР могли быть полезны». Ценный, однако, вклад в историческую науку! Надо ли рыться в архивах, чтобы понять: по отношению к каждому зарубежному деятелю науки и культуры задавался все тот же вопрос: «за нас он или против?», «за белых или за красных?». Да, Хмарский (как, впрочем, все советские участники поездки) писал своему руководству подробные отчёты с замечаниями о характере и привычках писателя, с кратким пересказом дискуссий, с ображениями по поводу все того же пресловутого вопроса.

- Какой негодяй, однако! (Молчать нужно в тряпочку). Отчёты эти написаны по большей части «суконным» языком, и Тольц обрушивает на них весь свой сарказм.

- Ах, бездарный Иван Дмитриевич! Не писал начальству высокохудожественные поэмы! Работай Хмарский на «органы», – и негодование ведущего «Свободы» еще можно было бы как-то понять. Так ведь не было этого! Тот же Тольц сообщает,

что от НКВД Стейнбека «вели» другие люди (их ВОКСовцы звали «соседями»). Более того, заподозрив одну из организаторш «встреч с трудящимися» в причастности к «соседям», Хмарский усиленно старается от неё избавиться.

Россиянин Тольц демонстрирует здесь большее непонимание эпохи, людей и обстоятельств, чем американец Стейнбек. Кстати, кроме тех самых «секретных дневников» он мог бы почитать документальную повесть Хмарского «Месяц со Стейнбеком» (опубликована в журнале «Волга»).

А дальше – мемуары самого Ивана Дмитриевича в ульяновском журнале «Мономах». Невелики по объему. Конспективны. Рассказы о людях, о встречах... Оказывается, во время поездки со Стейнбеком этот тридцатитрехлетний человек был уже вдовцом. Пятилетняя дочь – в Тамбовской области, у дедушки с бабушкой.

А вот – рассказ о главном...

Обвинение грозное: злонамеренная отправка в США ценного советского медицинского препарата, причинившая ущерб интересам СССР!.. Суть же дела такова: по просьбе американского биолога Ваксмана, изобретателя пеницилина, наш отдел отправил ему образец препарата против дифтерии под названием «эритрин». В одном из наших медицинских журналов препарат был описан и не представлял ничего секретного...

Не договаривает, ой, не договаривает Иван Дмитриевич! Всё было гораздо серьезнее. То было стартом направляемой с самого верха ужасной кампании, нацеленной на разрыв всяких научных и культурных связей с зарубежьем. Составная часть этой кампании – разгром собственной культуры. Запрещаются и ошельмовываются целые научные направления (самые известные примеры – генетика и кибернетика. Менее известно, что гонениям подверглись, даже некоторые разделы математики). Подвергаются остракизму, попадают за решетку и гибнут крупные деятели науки, литературы, искусства. Академик Парин приговорен к двадцати пяти годам лагерей по тому самому делу, за которое исключен из партии председатель американского отдела Хмарский.

...Зашёл в отдел кадров министерства просвещения на Чистых прудах, чтобы узнать, нельзя ли мне, исключённому из партии, получить работу учителя где-нибудь на периферии. Выпытав, за что меня исключили, кадровик, уже увядшая

И.Д. Хмарский

женщина, украшенная жёлтыми, как ореховые стружки, кудряшками, задумчиво произнесла:

- Знаете, сейчас у нас вакансий словесников нет...

Хмарский пытается отсидеться у родителей покойной жены...

Примерно через неделю после моего приезда меня навещал молодой человек в штатском, который осведомился о том, как долго я собираюсь гостить, и предупредил о том, что обо всех своих дальнейших передвижениях я обязан извещать одно известное учреждение...

Иван Дмитриевич прекрасно знает, что может последовать за подобными визитами. Его способен спасти только срочный отъезд из Москвы. Затаиться в глухомани!

- Прошу дать мне возможность искупить свою вину на любом участке трудового фронта.

В такой ситуации должность учителя в заволжском городке воспринимается как удача...

Дальнейшее мы уже знаем. Сорок девятый год. Захолустный городишко. Грязь и бескультурье. И та работа, которую моя мама без всякой иронии называет служением народу. И если люди в тех краях менялись к лучшему (а хочется верить, что это было именно так), – в том была и его заслуга.

Подводя итог, придется вернуться к передачам Владимира Тольца. Он тоже пытался подвести итог жизни Ивана Дмитриевича. При том, что последний пребывал в полном здравии, а подводить подобные итоги, говоря о живом – пусть и пожилом – человеке, бестактно и преждевременно.

И ведь что интересно: такой казался бы оригинально мыслящий человек, как Тольц, оценивая жизненные успехи или неудачи, становится типичным советским чиновником. Наподобие тех, о ком говорит с такой издёвкой. Солидаризируется с мелким человечешкой, для коего главное в жизни дело – продвижение по службе.

Но судьба не сложилась – в значительной степени из-за того, что он поработал в ВОКСе и погорел в ВОКСе.

По поводу этого «судьба не сложилась» вспоминается следующее...

На одной из конференций премьер-министр Франции Жорж Клемансо спросил премьер-министра Польши Игнацы Яна Падеревского:

- Вы тот самый Падеревский, знаменитый пианист и композитор?

- Да, это я.

- И стали премьер-министром? Какое падение!

Если бы судьба Ивана Дмитриевича «сложилась», он мог бы, пожалуй, дослужиться до какого-нибудь важного начальника отдела в Министерстве иностранных дел. И кто бы о нём сейчас вспомнил? Мог стать обычным солидным чиновником, а стал Иваном Хмарским...

Д. Сеглевич

И.Д. Хмарский

МЕМУАРЫ

Вечно юная Рая

Много лет её имя и её книги были под запретом. Если и упоминались, то только со знаком минус. Причина для до перестроечных времен довольно банальная – "диссидентка". И вот Раисы Орловой, известного специалиста в области американской литературы, не стало. Узнал об этом из статьи писателя А. Приставкина в "Огоньке" в декабре прошлого года. Тут же две фотографии: на первой, 1981 года, смуглая немолодая женщина с пепельными волосами и пристальным, изучающим вас взглядом; на второй, более поздней, она же, но уже совсем седая, старенькая, рядом со своим богатырем-мужем Л. Копелевым, тоже "диссидентом", и с другом их семьи А. Приставкиным.

Глазами читаю и понимаю: да, её уже нет, и мы никогда больше не встретимся, а память отказывается верить: не может этого быть! Ведь я её помню такой юной, переполненной энергией и жаждой деятельности, буквально искрящейся радостью и верой в "светлое будущее". Господи, как давно это было! Почти полвека назад.

В сентябре 1935 года на литературный факультет Московского института истории, философии и литературы (ИФЛИ) влилось новое студенческое пополнение, в том числе пришла группа московских девушек, окончивших училище иностранных языков. Все они выросли в интеллигентных семьях, отличались начитанностью, владели одним-двумя языками, как на подбор, были хороши собой. Но даже среди них выделялась гибкая, смуглая, синеглазая красавица с копной смоляных волос. Было в её облике что-то немного диковатое, цыганское, невыразимо притягательное. Звали её Рая Либерзон.

Смелые и общительные, девушки очень скоро оказались в центре внимания всего факультета, особенно его мужского населения.

В их кругу часто можно было видеть и наших начинающих поэтов Сергея Наровчатова, Павла Когана, Льва Гольдберга (впоследствии Лев Озеров), Леню Шершера и других. Я, в то время студент второго курса, влюбился в них во всех сразу безоглядно и безнадежно. Страшно хотелось познакомиться, но мешали и природная стеснительность, и сознание своей провинциальной отсталости, и особенно то, что у каждой из девушек уже был свой парень. Рядом с Раей неотступно, как тень, ходил худой горбоносый Леня Шершер, её друг еще по

школьной поре. Как я ему завидовал... Вскоре мы все же познакомились, а впоследствии и подружались. Инициатива исходила от неё. Дело в том, что она и её подруги: Инна Френкель, Наташа Зиновьева, Люся Черная и другие принимали самое деятельное участие в выпуске факультетской газеты "Филолог". Издание печатной вузовской газеты в те годы было непозволительной роскошью, и поэтому лучшие литературные силы факультетов группировались вокруг стенных газет. Наш "Филолог" в этом смысле занимал в ИФЛИ первое место. Длинной в два-три метра, он вывешивался на самом видном месте недалеко от входной лестницы нашего учебного корпуса в Останкино и сразу же собирал около себя толпу читающих. Именно здесь впервые появились ранние стихотворения Наровчатова, Когана, Озерова и других впоследствии известных поэтов. Позднее в газету стал давать свои стихотворения и Александр Твардовский, который перевелся в ИФЛИ из Смоленского пединститута в 1937 году.

Заметок и стихов было много, а вот оформлять "Филолог" охотников не находилось. Вот тогда-то Рая и разыскала меня.

В институте я, можно сказать, был художником уже известным. Рисовать начал еще в школьные годы, затем проучился два года в художественном училище до его закрытия, наконец, став студентом искусствоведческого отделения ИМИ, продолжал заниматься живописью и как учебным предметом и для заработка. Стипендии хронически не хватало, поэтому к революционным праздникам писал лозунги, плакаты, портреты членов Политбюро. Сталин и Калинин давались мне сравнительно легко: у первого были густые усы, у второго – борода клинышком, а вот с невыразительным лицом Молотова обычно возникали затруднения. Однажды он даже получился подозрительно похожим на Гиммлера, и портрет пришлось срочно уничтожать... Некоторый опыт оформления стенных газет у меня тоже был. Короче говоря, Рая меня убедила, и мы начали готовить номера "Филолога" вместе. Условие было такое: пока я рисовал, девушки поочередно что-нибудь читали мне вслух.

Каждая заметка и каждое стихотворение подвергались самому строгому разбору, причем чаще всего решающее слово принадлежало Рае и её подруге Инне. С интересом и удовольствием выслушивал я доводы, возражения и споры авторов и членов редколлегии, так что постепенно каждый из них рас-

крывался передо мной своими неповторимыми чертами. И прежде всего Рая.

В ней причудливо уживались самый горячий энтузиазм комсомолки 30-х годов и удивительно трезвый, критический ум, как бы уравновешивавший эту пылкость. В поэзии ее кумиром, как и у большинства молодежи в то время, был Маяковский. Однажды я выразил при ней сомнение по поводу поэтических достоинств некоторых строчек у Маяковского. Например, в "Левом марше" мне не нравится строка «Стальной изливаясь левой», а в поэме "Хорошо!" всегда казалось странным место, где о крестьянах говорится:

Бороды веники –
Сидят папаши
Каждый хитр.
Землю попашет,
Попишет стихи.

Сам я вырос в селе и чего-нибудь похожего на массовую тягу к стихотворчеству среди крестьян не наблюдал. Других забот хватало по горло. Однако Рая страстно защищала поэта. Убежден, что максимализм, свойственный её характеру, во многом формировался под влиянием Маяковского. Любила она также Багрицкого и Николая Островского. С именем последнего связан в наших отношениях один эпизод. Однажды редколлегия "Филолога" решила посвятить ему целый номер. Рая попросила меня нарисовать для газеты заглавную картинку – "шапку", в которой бы на фоне цветов был виден штык. Подразумевалось, что чувство классовой ненависти к врагам трудового народа, каким пронизана книга "Как закалялась сталь", вовсе не исключает проявление противоположного ему чувства – любви. Не помню уже во всех подробностях нашу беседу по этому поводу, но очень хорошо помню ту серьезность и ту убежденность, с какой она и Инна доказывали мне значение этой взаимосвязи любви и ненависти. Только позже, пережив тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, я догадался, почему их так волновал этот вопрос.

Нисколько не заботясь о метафорическом смысле их замысла, я по простоте душевной намалевал пышный букет роз или пионов, из которого как-то неуместно и глупо торчал длинный сверкающий штык, и сразу же почувствовал: не то. Рая, видимо, тоже ожидала чего-то другого, но ни времени, ни желания для того, чтобы сделать другой рисунок, у меня не осталось, и она храбро объявила, что это именно то, что требо-

валось. Мы вывесили газету и задержались около "Филолога", желая узнать, как его примут. Через некоторое время около нас остановился студент философского факультета Рудольф Бершадский, впоследствии известный публицист. Ему было уже под тридцать, в ИФЛИ он имел репутацию отчаянного критика и насмешника, да и внешность у него была вполне мефистофелевская. Худой, с жесткими складками синеватых от бритья щек, умным, сатанинским блеском черных глаз и тонкими губами, он, казалось, так и ждал случая, чтобы обрушить на вас град колкостей. Взглянув на мой рисунок, он тут же выдал: "Что это за пошлость? Неужели вы сами этого не видите?" Смуглые щеки Раи вспыхнули от негодования, и она начала горячо защищать как саму идею, так и её воплощение. Но ифлийский Мефистофель беспощадно высмеял и то и другое. Я стоял поодаль, стораю от стыда и не смея поднять глаза на Раю. «Ничего – утешал я себя. – Бершадский – тип известный, ему вообще ничего не нравится, обождём, что скажут другие». На следующий день я встретился с одним из своих друзей по факультету, студентом-театроведом Аркадием Анастасьевым, мнением которого дорожил, и закинул удочку:

- Видел новый номер "Филолога"?
- Видел.
- И как моё творение?
- Откровенно?
- Конечно.

Для пасхальной открытки вполне годится... Только штык придётся убрать.

На этом мои сомнения кончились. На Аркадия я не обижался, хотя не раз он мне говорил вещи неприятные. Но, во-первых, делал это открыто и с юмором, стараясь смягчить обидную правду, во-вторых, из дружеских чувств ко мне. На волейбольной площадке мы с ним играли в одной команде, а редко что сближает в молодости людей больше, чем спорт.

Но вернусь к Рае. Кроме энтузиазма и принципиальности, о которых я уже упомянул, мне нравилась в ней неподдельная естественность. Что я имею в виду? В молодости большинство из нас, желая нравиться, сознательно или подсознательно играет облюбованную ими роль. Иногда эти ампула – романтика, скептика, активиста, Дон Жуана, храбреца, рубахи-парня, добряка или кого-то еще – так и прилипают к человеку на всю жизнь, так что он уже перестает ощущать, где его природная суть, а где наигранная. Иногда же человек к зрелым годам

сбрасывает с себя эту юношескую чешую, вспоминая о ней то с удивлением, то с грустью, то с юмором. По коридорам ИФЛИ бродило немало “печориных”, “белинских”, “чапаевых”, “маяковских”, непризнанных гениев, блюстителей идейной непогрешимости, вузовских трибунов, “первых любовников”, “министров иностранных дел” и пр. Особенно популярной была роль “демократа” пролетарского происхождения, презирающего “столичную аристократию”, всех этих сынков и дочерей высокопоставленных работников, которые жили в хороших квартирах, не знали забот с пропитанием, хвалились своими связями в литературных и артистических кругах и т.п.

Приведу пример. Мной упомянутой Сергей Наровчатов, в те годы красивый, голубоглазый, русоволосый юноша, имевший успех у девушек, по моим наблюдениям, относился именно к таким “демократам” (как и я сам), подчеркивая свое сибирское происхождение и свою самобытность рабочего парня, которому наплевать на московскую “знать” и на любые авторитеты.

Рая была особенной. Ей была чужда малейшая рисовка, она постоянно жила в каком-то духовном поиске, может быть, в ожидании чуда, когда ей откроются какие-то неведомые тайны бытия. На фоне нашей беспечной студенческой братии, часто гоготающей в коридорах над какой-нибудь остротой или анекдотом, она иногда выглядела не по возрасту серьезной, погруженной в себя, порой задумчивой, оставаясь в то же время юной и обаятельной. Я не знал и не знаю до сих пор, в какой семье она росла. Может быть, эта серьезность была связана с какими-то домашними заботами, но воспринимал Раю как добрую, умную старшую сестру, хотя по годам она была моложе меня.

Наступил 1937 год. Чуть ли не каждый день до нас доходили слухи об арестах “врагов народа” из числа крупных военных, политических и культурных деятелей. А так как в ИФЛИ обучалось много студентов именно из этих кругов, то все они после осуждения отцов автоматически исключались из комсомола, а некоторые – из института. Вскоре эта участь постигла дочерей Крыленко, Муратова, Ганецкого, Гринько и многих других. Секретарём комсомольской организации института в то время был Александр Шелепин, невысокий розовощекий студент-историк, с волевыми чертами лица и холодным взглядом, не сулившим добра тому, кто попадал в жестокие жернова тридцатых. Как известно, после войны, при Сталине и, осо-

бенно, при Хрущёве, он сделал головокружительную политическую карьеру, добравшись до самого Политбюро, но затем, при Брежневем, был неожиданно низвергнут с кремлевской высоты и канул в безвестность. Факультетским бюро ВЛКСМ руководил мой близкий друг Саша Караганов, с которым я жил в одной комнате в общежитии на Усачёвке. Только с ним да с другом детства Колей Третьяковым, тоже ифлийцем, я мог позволить себе быть полностью откровенным. Так как я тоже числился в активистах и входил в состав факультетского бюро, мы с Сашей часто перед заседаниями советовались, какое решение надо принять по тому или иному "персональному делу". Как и большинство комсомольцев факультета, оба мы не сомневались в правоте органов НКВД, раскрывающих "заговоры" и арестовывавших "шпионов" и "вредителей". Сама мысль о том, что такие опытные специалисты в своем деле могут ошибаться или они могут сознательно бросать за решетку невинных, показалась бы нам чудовищной клеветой на кристально чистых и бескорыстных стражей революции. Сомнения возникали только по поводу детей "врагов". С одной стороны, трудно было поверить в то, что тайные встречи, заговоры, контрреволюционные книги, письма и прочее оставались в семьях незамеченными; с другой, не менее трудно было и не верить в искренность наших вчерашних товарищей, заверявших в том, что им ничего этого не было известно.

По-разному раскрывались они в эти страшные годы... Никогда не забуду, как стояла на сцене актового зала перед комсомольским собранием дочь старого большевика и видного военного Муралова, арестованного среди многих других по обвинению не то в троцкистском, не то в каком-то ещё "заговоре". Стояла, как на эшафоте, высокая, худая, бледная, но непреклонная, решительно отказываясь поверить в предательство своего отца.

Аресты коснулись и самих студентов. Однажды мы узнали о том, что ночью увезли Диму Ясного. Незадолго до этого подруга Раи, Инна Френкель, вышла за него замуж. Сама Рая в эти месяцы как-то помрачнела и замкнулась в себе. Я не могу вспомнить, выступала ли она на таких собраниях-судилищах против исключения из комсомола детей "врагов", но догадываюсь, что именно тогда в ней совершился тот духовный кризис, который побудил её переоценить многое, а позже, в «застойные времена», и подтолкнул на открытые выступления в защиту несправедливо осужденных и гонимых. Не

то в 1937 г., не то позже она вышла замуж за Леонида Шершера и ждала от него первого ребенка.

Сам я тоже пережил потрясение, после которого выбыл из числа активистов. Однажды Саша подошел ко мне с осунувшимся лицом и сказал:

- Моего отца арестовали за антисоветские разговоры. Завтра на бюро будут обсуждать мое дело.

Я опешил. До этого он никогда не рассказывал мне о своей семье, и я был вполне уверен, что с этой стороны у него все благополучно. Из дальнейшего разговора я узнал, о том, что отец друга уже давно оставил семью, т.к. пристрастился к хмельному, где-то бродяжничал и вообще опустил. Однако на бюро некоторые решительно требовали исключения Саши из комсомола и мне пришлось доказывать и на бюро и после на собрании, что этого делать нельзя. Друга удалось отстоять, но сам я почувствовал такое отвращение и к членам бюро, и к самому себе, вспоминая, скольких мы уже исключили, вот таких же невиновных, что никак не мог заставить себя заниматься дальше комсомольскими делами. Через некоторое время в стенной газете появилась обо мне язвительная заметка, как о бездельнике, и меня вывели из состава бюро. Я сразу же оборвал все связи с "Филологом".

После окончания института судьба свела меня с Раей еще раз, уже во время войны, и при печальных обстоятельствах. К этому времени её муж, Лёня Шершер стал, как и я сам, военным корреспондентом. Узнал об этом я из его репортажа в "Правде" в августе 1942 года о рейде наших бомбардировщиков на Кенигсберг. Меня заинтересовало, как нашим самолетам удастся летать туда и обратно на такое большое расстояние. Сам я тоже служил в авиационной дивизии и хорошо знал возможности бомбардировщиков ДБ-3Ф. Оказалось, что для этого использовался прифронтовой аэродром «подскока», где к самолетам прикрепляли дополнительные баки с горючим. Второй или третий полет в Кенигсберг оказался для Лени роковым. И не сам боевой вылет, а возвращение с аэродрома «подскока» в Монино, где базировалась его дивизия. Все сопровождавшие погрузились на пассажирский самолет "Дуглас" и, как позже выяснилось, превысили допустимый вес: "Дуглас" перевернулся в воздухе...

По делам своей газеты я как раз приехал в Москву, узнал об этой трагедии и поехал в Монино на похороны погибших. Рая, вся в чёрном, бледная, худая и прекрасная в своей скор-

би, увидев меня, подошла и прислонилась к моей груди. В небе над Монино показался «Дуглас». Среди жен погибших началась истерика. «Дуглас! Дуглас!» – кричали многие, упав на колени и подняв руки к небу то ли с проклятиями, то ли с мольбой; было в этом зрелище что-то настолько жуткое, что я со страхом взглянул в глаза Раи: не поддавалась ли она массовому психозу? Нет, и в горе она вела себя с достоинством: взглянув на небо, глубоко вздохнула и приложила платочек к глазам.

После погребения закрытых гробов она попросила меня проводить её домой. Мы приехали в Москву. Семья Раи проживала в большом новом доме на улице Горького, недалеко от Моссовета. Невыносимо тяжело было смотреть на осиротевшую дочку Лёни... Из одной комнаты вышла, с трудом передвигая ноги, пожилая женщина, мрачно кивнула мне и снова скрылась. Последний раз я встретил Раю уже после войны в американском отделе общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Пришла она сюда по старой памяти, т.к. раньше работала заведующей этим отделом. Только недавно вернулась она из поездки в Румынию и делилась своими впечатлениями о стране. Зачем она туда ездила, уже не помню. Возможно, с новым мужем Орловым, фамилию которого она теперь носила. В чем-то она заметно изменилась, показалась мне деловой женщиной, мало похожей на романтически восторженную Раю – студентку первых курсов. В журналах начали появляться её публикации по американской литературе и выходить книги: о Джеке Лондоне, Г. Бичер-Стоу, Джоне Брауне, о современных американских писателях.

К этому времени я уже волею судьбы оказался в Ульяновской области. И вот до меня стали доходить слухи о какой-то политически неблагонадёжной супружеской паре – Л. Копелеве и Р. Орловой – которая выступала в защиту А. Солженицына, Л. Чуковской и других сомнительных личностей. Долгое время я не догадывался, что Р. Орлова – это и есть та самая Раечка, с которой мы вместе учились.

А когда, наконец, убедился, передо мной встал вопрос; как могло случиться это превращение энтузиастки-комсомолки в диссидентку.

Ни осуждать её, ни оправдывать у меня желания не было: слишком мало я знал о её жизни за последние годы, чтобы решиться на то или другое. Смутно теплилась надежда: может быть, когда-нибудь мы встретимся, и она расскажет мне о том, что происходит в том загадочно тайном мире, которому

она пожертвовала теперь всем: благополучием, безопасностью, работой, научной карьерой. И вдруг официальное сообщение в нашей печати о лишении советского гражданства Л. Копелева и Р. Орловой, выехавших для чтения лекций в ФРГ. На другой день вечером, поймав по радиоприёмнику волну Би-би-си, я неожиданно услышал далекий голос Раи: в коротком интервью она протестовала против этого незаконного приговора и говорила о том, как тяжёл для неё разрыв с родными и близкими. Это было последнее, что дошло до меня от неё, ещё живой...

И вот её не стало. Сложное чувство возникает в душе, когда узнаешь о том, что хорошо знакомый, а иногда и близкий тебе человек уже завершил свой жизненный путь. Здесь и печаль, и удивление, как будто ты считал его бессмертным, и бессилие перед вечной тайной жизни и смерти, и осознанное или бессознательное желание подвести итог промчавшимся на твоих глазах десятилетиям. Соизмерить сделанное ушедшим с жизнью собственной, и запоздалое намерение как можно разумнее распорядиться тем неведомым отрезком времени, какой отвела тебе судьба. Сколько их, таких жизней уже прошло на моей памяти. Одни оставили по себе заметный след в той области, какую себе избрали; другие, честно потрудившись на своем веку, как-то незаметно и тихо оставили этот мир, будто вышли за дверь, подобно Ивушке-печнику у Твардовского; третьим, как Лёне Шершеру, судьба не отвела даже малого срока, чтобы раскрыть свои способности. Рае она уготовила, пожалуй, самую трудную, в полном смысле подвижническую жизнь. Немало их было на Руси, вот таких же беззаветно преданных своему народу, восставших против зла и насилия, пожертвовавших всем ради борьбы за истину и справедливость. Такой и осталась она для меня навсегда.

Лики войны

(Из воспоминаний)

21 июня 1941 г., в субботу вечером, я вернулся из поездки в Фастово, Курской области, где на полевом аэродроме размещался один из полков нашей сорок восьмой авиационной дивизии. По поручению редактора дивизионной газеты "На страже" Григория Иосифовича Каца я выезжал туда, чтобы подготовить репортаж о тренировке наших экипажей в условиях, приближенных к боевым. С тех пор, как на смену Ворошилова наркомом обороны поставили Тимошенко, выра-

жение «в условиях, близких к боевой обстановке», стало в армии одним из самых ходких и даже появились анекдоты на этот счет. Разумеется, все мы чувствовали, что назревают какие-то грозные события, которые неизбежно коснутся и нашего государства. Однако убаюкивающие официальные заявления о советско-германском договоре 1939 г. словно гипнотизировали людей, и мало кто серьезно верил в возможность большой войны, с кем бы то ни было. Правда, еще в мае нас, работников штаба и редакции, пригласили на доклад майора из оперативного отдела, который рассказал и показал на карте, сколько и каких немецких дивизий и корпусов сосредоточено вблизи нашей западной границы. Информация прямо-таки ошеломила меня, однако я, как и другие, не допускал мысли, что вся эта военная громада вскоре обрушится на нашу страну, объясняя себе дело таким образом: все же Гитлер нас побаивается и собрал на всякий случай мощный оборонительный кулак перед тем, как штурмовать с воздуха и с моря Англию. И раз Сталину все это известно, можно быть спокойным – никаких неожиданностей не случится.

Все же на этот раз мной овладело какое-то тревожное чувство. Из головы не выходила одна встреча в Фастово. Когда я после беседы с начальником штаба полка присел на скамейке около какой-то хатки, чтобы привести в порядок свои записи, ко мне подошел, как тогда говорили, боец, вероятно, из батальона аэродромного обслуживания, и попросил:

- Товарищ старшина, можно с вами побеседовать?

- Конечно.

Я поднялся. Передо мной стоял в выгоревшей пилотке невысокий худой черноволосый парень. Я спрятал блокнот в планшет и пригласил его присесть.

- Давайте лучше пройдемся, – предложил он, оглянувшись.

- Не возражаю.

Мы неторопливо пошли к околице села. Солдат молчал. Что-то в его облике было такое, что выделяло среди других. То ли прическа, редкая среди стриженных наголо рядовых, то ли какая-то едва уловимая независимость в манере держаться. Судя по выговору, он был украинцем.

- Вы ведь по образованию литератор? – спросил он, наконец.

- Почти. Окончил искусствоведческое отделение литературного факультета.

- Я хочу прочитать вам свои стихи.

- Пожалуйста.

Мы приостановились, и он, явно нервничая, начал. Не помню уже точное содержание его вполне грамотного первого стихотворения, но очень хорошо помню то удивление и даже смятение, какие оно у меня вызвало. Тогда такие вещи именовались грозно: антисоветская пропаганда, и кара за них полагалась немалая. Речь шла о страданиях народа, о колхозном ярме, о казачьей вольнице в прошлом и о рабской покорности современников. Я лихорадочно соображал, как быть. А вдруг это провокатор, подсланный органами, чтобы испытать меня, совсем недавно назначенного сотрудником газеты? Но чем я дал повод для подозрений? Правда, в биографии у меня было одно смутное место, касающееся социального происхождения. Во всех анкетах я писал: из крепких середняков, а это означало, что родители мои занимали социальную ступеньку, близкую к кулакам. «Мицний середняк» на Украине – в России был бы верным кулаком. У дедушки и бабушки, у которых жила мать после гибели моего отца на фронте, хозяйство было немалое: несколько десятин земли, обширный сад, огород, пара лошадей, пара быков, две коровы, небольшая отара овец, полный двор птицы. Обходились, однако, без батраков, так как семья была большая и рабочих рук хватало. И все же я уже давно побаивался, как бы однажды меня не «разоблачили» как скрытого кулака со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вглядываясь в побледневшее от волнения лицо солдата, я, однако, немного успокоился: нет, на провокацию это не похоже. Но тогда чем объяснить такую его неосторожность? Ведь он меня не знает, скорее всего читал в «Курской правде» какие-то мои статьи, и только. Так чем я дал повод для такой рискованной откровенности? Или все это в нем настолько накипело, что захотелось поделиться с кем-нибудь даже ценой риска?

- Ну что вы скажете? – спросил он, прочитав ещё одно стихотворение, ещё более смелое и злое.

- Как вас зовут?

- Павел.

- Может быть, Павел, я не совсем уловил на слух ваши стихи, но у меня сложилось впечатление, что у вас есть способности. Вот только, не сгущаете ли вы краски? – спросил я как можно мягче.

И.Д. Хмарский

- А вы разве сами не видите, что творится кругом? – вскинул он с вызовом голову. – Не слышали, что люди за свою работу получают одни палочки?

- Но вы же знаете, какая сейчас международная обстановка, – попробовал я успокоить его.

- Приходится ужиматься, создавать дополнительные резервы.

- Да, знаете вы все это не хуже меня, – с горечью махнул он рукой. Только боитесь правды.

- Хорошо, что вы обратились ко мне и этот разговор останется между нами, но я вам советую больше никому не давать эти стихотворения...

- Не буду, – усмехнулся он и вдруг с какой-то злой веселостью добавил:

- Да ведь скоро все это переменится...

- В каком смысле?

- Вот увидите, – многозначительно проговорил он. – Ну, прощайте!

И быстро зашагал в сторону села. «Что всё это значит? – раздумывал я.

- И какой пророческий тон, как будто он что-то знает».

Штаб нашей дивизии размещался в военном городке, в восьми километрах от Курска, между аэродромом и дубовым лесом. Погода установилась по-южному теплая, и мы с другом, Николаем Ковальчуком, тоже литсотрудником, жили в палатке на лесной опушке. Вернувшись из Фастова уже ночью, я решил его не беспокоить, а завалиться спать в казарме, где на деревянных нарах можно было всегда найти свободное место. Чтобы отлежаться в воскресный день в досталь, я взобрался на второй ярус и тут же забылся сном. Однако выспаться мне не удалось. Вероятно, в шестом часу, сквозь дрему я ощутил внизу какую-то суматоху: тревожные возгласы и команды, беготню по казарме, шум передвигаемых вещей. Я поднялся: как раз в это время заспанные солдаты выкатывали из склада пулемет «Максим», выносили винтовки и ящики с патронами. Со стороны аэродрома донесся пронзительный вой взлетающего истребителя. Я спустился на пол.

- Война! – негромко бросил мне проходивший мимо старшина. – Гитлер перешел границу. Бомбят Киев...

Есть такое выражение: «дыхание истории». Так вот, я как-то внезапно, почти физически ощутил, как сзади ко мне подкрался кто-то невидимо грозный и задышал мне в затылок.

Впечатление было такое, будто он уже давно гнался за мной по пятам и вот, наконец, настиг меня, и я внезапно осознал, что отныне мне от него уже не оторваться. В душе и торжественно и немного жутко, и хочется обернуться, чтобы взглянуть в лицо преследователя, и боязно. А где-то в подсознании горькое открытие: все, что было в твоей жизни до этого, вдруг съежилось, уменьшилось в объеме, потускнело в сравнении с тем, что совершается в эти мгновения, минуты, часы. И неотвратимый вопрос к самому себе: готов ли ты к этому испытанию, скорее всего самому главному в твоей жизни? К встрече лицом к лицу с самой Историей? Потому, что как бы ни сложилась для нас война, то, что началось, уже стало историей. Такой же, как революция, как гражданская война. И да, и нет, – мысленно отвечал я самому себе. Да – потому, что успел до начала войны окончить один из лучших гуманитарных вузов страны, и могу теперь осмыслить начавшееся событие с высоты многовековой истории России; нет, потому что к началу войны оказался в авиационной дивизии не летчиком и даже не связистом, а всего лишь репортером маленького газетного листка, который читает от силы две-три тысячи человек. Как я пожалел в эти мгновения о том, что три года назад отказался поступить в Ейское лётное училище, куда был рекомендован комиссией. Попросил об отсрочке, пока не окончу институт.

Но все это промелькнуло где-то на задворках сознания, а на первом плане чувство обиды на несправедливость судьбы: где-то там на границе уже идут бои, а я здесь, в глубоком тылу, и скорее всего война с её победами, наградами, славой пройдет мимо меня. Ведь совершенно ясно, что наши войска не сегодня-завтра отбросят фашистов назад, а там начнутся события на польской и немецкой земле, и мы, авиация дальнего действия, останемся не у дел. Какая незадача! Надо проситься на фронт.

Как ни наивно и глуповато выглядят сейчас эти мои оценки первого сообщения о войне, они были результатом не только моей личной инфантильности, а прежде всего порождением всей нашей системы довоенного патриотического воспитания, причудливо вместившего в себя и героическую патетику, возвращенную на романтических легендах гражданской войны, с её героями: Ворошиловым, Будённым, Тимошенко, и безответственное бахвальство, согласно которому любой враг, посягнувший на наши границы, будет незамедлительно разгромлен на его собственной территории. Даже горький опыт

финской кампании не охладил эту непоколебимую уверенность в полной готовности Красной Армии и её неоспоримом превосходстве над любым противником. А что будет потом? В голове смутно бродили видения возможного развития событий... Вот наши войска где-то к осени освобождают Европу от фашистов, в Германии, Франции, Италии, Испании устанавливается народная власть во главе с коммунистами; с капитализмом покончено, английский и американский рабочий класс, вдохновленный этим примером, свергает свою буржуазию, на всей планете побеждает социализм и наступает эра всеобщего равенства, братства и счастья. Но какую же глупость сделал этот маньяк Гитлер, нарушив договор с нами и ускорив тем самым крушение старого мира! Затем мои мысли перекинулись к друзьям по ИФЛИ и по пятому полку связи. Где-то они сейчас? Коля Третьяков, Наум Свидлер, Саша Караганов, Вася Терехин, Толя Абрамов, Аркадий Анастасьев, Борис Эйштейн, Володя Архипов? Какая судьба ожидает их всех в том грандиозном событии, которое началось сегодня, 22 июня 1941 года? О родителях, живших в Запорожской области, я не очень беспокоился: до границы далеко, так что война до них не докатится.

Вдруг я почувствовал прилив необыкновенной энергии, острую потребность что-то делать вот сейчас же и чуть ли не бегом направился в свою палатку. Николая там не было: то ли не ночевал, то ли успел уйти. Приведя себя в порядок, я поспешил в редакцию. Там уже собрались почти все сотрудники. За короткое время работы в дивизионной газете я выделил для себя среди них двух: Васю Телепнева и Николая Ковальчука. В первом, симпатичном белокуром юноше, мне нравились независимость в суждениях, начитанность и журналистская хватка, которой мне самому явно не хватало; во втором – открытый, дружелюбный характер. С редактором газеты "На страже" Григорием Иосифовичем Кацем у меня сразу же установились добрые отношения. Как журналист он был опытнее нас всех, умел быстро улавливать наиболее ценное в нашей информации, никогда не придирался по пустякам, смягчал шуткой замечания и, вообще, заботился о том, чтобы мы, младший комсостав, чувствовали себя в небольшом редакционном коллективе, как в семье. Сейчас он был серьезен и собран. Деловито объяснил, что надо будет сделать в ближайшее время, быстро распределил между нами задания. Мне надо было на другой день выехать на полевой аэродром в Обоянь.

О самом вторжении почти не говорили, словно ждали его уже давно, и восприняли как нечто само собой разумеющееся. Здесь я впервые узнал, что в двенадцать часов будет выступать по радио Молотов с правительственным заявлением. Мелькнул в голове вопрос: а почему не Сталин? Наверное, очень занят руководством военными операциями. Когда через много лет после войны я узнал из воспоминаний Хрущева о том, в каком шоке оказался наш «великий кормчий» в первые дни гитлеровского вторжения, я как бы заново пережил весь ужас бедствия, обрушившегося на наш народ: ведь главные надежды на быстрый разгром Гитлера все мы возлагали прежде всего на мудрость, твердость и опыт «вождя народов». Голос Молотова мы слушали из черного хриплого репродуктора, укрепленного на столбе в военном городке. Помню то потрясение, какое я испытал, узнав из этого выступления о масштабах вторжения. До этого мне почему-то казалось, что немцы прорвались где-то на одном участке границы и эту брешь можно без труда заткнуть, направив туда несколько дивизий.

Утром я отправился на Курский вокзал. За сутки здесь все преобразилось. В залах и на перроне толпились мобилизованные, провожавшие их женщины и дети, многие с заплаканными лицами; то и дело озабоченно сновали командиры в ремнях, с пистолетами и планшетами, бегали железнодорожники, стоял гомон сотен голосов, раздавались приказы, грузились в эшелоны люди. Было во всем этом что-то до боли знакомое. И хотя где-то повизгивала гармошка, впервые я осознал начавшуюся войну как народное бедствие, снова навалившееся на Россию, как уже было много раз в её истории.

К обеду поездом добрался до Обояни. В штабе полка было не до меня. Когда я подошел к знакомому начальнику оперативного отдела, который еще неделю назад охотно и приветливо со мной беседовал, он, не выспавшийся и хмурый, отмахнулся:

- Потом, потом.

Дескать, ездят тут всякие не вовремя, путаются под ногами, когда и без них дел невпроворот. И действительно, в полку все были заняты делом: летчики, штурманы и радисты группами или в одиночку заходили в штаб, уточняли задания, другие хлопотали у своих бомбардировщиков, готовясь к вылету; солдаты отрывали около штаба щели и укладывали на опушке лесочка в штабеля авиационные бомбы, зенитчики

караулили небо у своих орудий. Нет, наверно, на войне более горького чувства, чем сознание того, что ты лишний среди людей, занятых трудным, опасным и необходимым делом. Я вспомнил толстовского Пьера Безухова на Бородинском поле и особенно остро представил себе, что он должен был чувствовать, оказавшись в первое время «лишним» среди занятых делом солдат и офицеров. Вообще, на протяжении всей войны я часто обращался в мыслях к роману Л. Толстого и каждый раз, сопоставляя свои чувства с чувствами его героев, поражался психологической точности его описаний. Возможно, мое тогдашнее самочувствие было подогрето свойственной мне в молодости болезненной мнительностью, но это была настоящая душевная пытка, и я дал себе клятву, во что бы то ни стало пробиться на фронт. А пока хотя бы научиться стрелять из авиационного пулемета, чтобы попроситься на задания стрелком. На всякий случай зашёл в землянку младшего комсостава, где отдыхало несколько человек после утреннего вылета на задание. Подошел к тому, который лежал с открытыми глазами и спрашиваю:

- Я из газеты. Вы утром летали на задание?
- Летал, – нехотя ответил он. – Хотите писать?
- Да.
- Не стоит...
- Почему?
- Хвалиться нечем...
- Ну а немецкие войска сверху видели?
- Прёт немец, – зло обронил он.
- У меня к вам просьба. Не могли бы вы познакомить меня с пулеметом «Шкас»?
- Собрались в полет? – серьезно спросил он.
- Да... на всякий случай.
- Пойдемте.

Он поднялся. Рослый парень с мужественным, красивым лицом. За время войны я много раз встречал ребят этого типа, и каждый из них так и просился в герои фильма или романа. Особенно мне нравилась в них доброжелательность и спокойная уверенность в том, что мы победим. Я заметил, что почти никто из них не сквернословил. Обычно до призыва в армию они работали на заводах, в депо, мастерских, слесарями, токарями, кузнецами, электриками. Мы прошли по тропке в лес к вырубам, на котором был вырыт небольшой полигон, закреплен на дубовом стволе "Шкас" и установлены на расстоянии

ста метров большие фанерные мишени, густо продырявленные пулями.

Вот смотрите, – начал он, просто и толково объясняя устройство турельного пулемета. Через полчаса я с ним освоился, но пострелять не удалось: для этого нужно было разрешение комэска – командира эскадрильи, а он улетел на задание. Я поблагодарил стрелка-радиста и снова отправился в штаб. В это время как раз начали садиться бомбардировщики, вернувшиеся из очередного задания. К взлетной полосе помчалась машина скорой помощи. Один из самолетов подрулил как можно ближе к штабу, и тотчас санитары поднялись к прозрачному колпаку радиста. Через минуту оттуда вынесли поникшее тело в комбинезоне. Кто-то из штаба уже рассказывал: не вернулось два самолета, у командира эскадрильи пробоины в кабине, разорван комбинезон... Сел последний бомбардировщик, и экипажи группой подошли к штабу. Командир эскадрильи, уже немолодой человек, с выражением какой-то детской обиды в выпяченной нижней губе, молча наклонил голову, входя в землянку штаба. Вышел он минут через двадцать. Поборов неловкость, я обратился к нему по форме:

- Товарищ капитан, я из газеты. Можно попросить вас рассказать, как протекал полет.

- А что рассказывать? Задание выполнили. Сбросили бомбы на танковую колонну противника. В оперативном отделе все есть, спишите у них, – устало отозвался он и тут же начал о чем-то советоваться со своим штурманом.

Сколько раз впоследствии я сталкивался с этой короткой, деловой информацией о боевых вылетах, в то время как для газеты требовались живые подробности, и к тому же красочные. Не потому ли корреспонденты либо добывали такие детали ценой изнурительных опросов участников полетов, либо присочиняли кое-что от себя, приписывая летчикам мысли и чувства в том возвышенном патриотическом духе, в каком люди никогда не размышляют и не говорят. Я постоянно боялся этой фальши, не понимая, кому и зачем она нужна. По моим наблюдениям, редактор относился к газетному вранью также отрицательно, и все же сентиментально-патриотический стиль нет-нет да и пробивался в наших материалах. Списав в оперативном отделе сведения о полетах за день, я засобирался в Курск. Начальник отдела подобрел.

- Сейчас в дивизию полетит с донесением У-2. Можете отправиться с ним. Лейтенанта В. помните? – неожиданно спросил он.

- Да, – не совсем уверенно ответил я.

- Сбили его... Вот так...

Я попытался восстановить в памяти облик В., в воображении мелькнули высокая, стройная фигура, свежее белокурое лицо... Неужели он? И сегодня или завтра его родителям пошлют письмо: ваш сын героически погиб, выполняя боевое задание... Одну из первых «похоронок» этой войны. Так вот она та ужасная правда о войне, о которой надо бы написать. Но как? И пропустят ли её, когда в первую очередь надо рассказывать о наших победах.

Мне показалось, что пилот У-2 был немного под хмелем. Во всяком случае летел он лихо, прижимаясь к самым верхушкам деревьев, «перепрыгивая» через телеграфные провода и скирды сена. На курском аэродроме мы сели в сумерках. С этого дня так и пошло: день-два на полевом аэродроме, репортаж в газету и снова в путь. Потери в полках ошеломляли, за первую неделю войны не осталось ни одной полноценной эскадрильи. С каждым днем расстояние до линии фронта сокращалось, и приходилось вылетать по три-четыре раза в день. Везде одна и та же жалоба: не хватает истребителей прикрытия. В то время это удивляло, ведь до войны все мы были убеждены, что у нас лучшая в мире истребительная авиация. Только после войны стало известно, что в первые же дни нападения на наших аэродромах было уничтожено больше тысячи самолетов. К тому же в 30-е годы мы притормозили выпуск истребителей, исходя из той же идиотской уверенности, что будем воевать только на чужой территории.

За всеми этими военными неудачами над людьми нависло тревожное недоумение. Что происходит? Почему наша доблестная Красная Армия не может остановить фашистские колонны? Почему молчит Сталин? До войны мы настолько привыкли к бодрым рапортам о наших успехах и победах на всех мирных фронтах под гениальным руководством верного ленинца и гениального вождя народов, что постепенно у меня, как и у других, выработалось убеждение в его абсолютном всемогуществе. Казалось, сама история развивается «по его хотению», а не по своим объективным законам. Как самому богу, ему были по плечу любые трудности, он не знал, что такое ошибки, неудачи, поражения. И вот впервые в жизни я

сделал для себя страшное открытие: оказывается, он тоже человек, как и другие, и он может быть беспомощным. Какой-то жалкий фюрер, над которым столько потешались наши карикатуристы, вдруг оказался хитрее и сильнее нашего сизокрылого горного орла, песенного былинного богатыря, которого по статуям и плакатам мы привыкли представлять себе многометровым усатым гигантом в военной шинели и строгом картузе. Так что же случилось? Почему танковые колонны фашистов продвигаются все дальше в глубь нашей земли, почему гибнут наши люди, в пепелища превращаются города и села, угоняют в плен наших людей..? Газеты и радио объясняли наше отступление внезапностью нападения Германии, но я-то помнил доклад начальника разведки в мае месяце. Какая же тут внезапность? Нет, это явная ошибка. Кто её допустил? Конечно же, не Сталин! Он был обманут не только вероломным Гитлером, но и нашим Генеральным штабом, нашей разведкой, от него, такого доверчивого, доброго, занятого исключительно помыслами о благе народа, скрыли опасную правду. Возможно, чтобы не расстраивать... И вот теперь мы расхлебываемся за эти упущения. Мне от души стало жалко нашего любимца, и когда 3 июля он, наконец, разомкнул уста и я услышал по радио глуховатый голос, произнесший с знакомым акцентом проникновенные слова: «Друзья мои! Братья и сестры», я готов был прослезиться от умиления и патриотического восторга. «Ну теперь дела пойдут по-другому, – думал я, сожалея лишь о том, что Сталин не выступил хотя бы на неделю раньше, позволив немцам продвинуться так далеко. – Теперь, фрицы, держись! Не сегодня-завтра наступит перелом». Жгучая ненависть к захватчикам (именно так теперь именовали мы тех, кого до войны собирались громить на их собственной территории) захлестнула всех нас и еще более жгучее желание поскорее отомстить фашистам за все, что они содеяли за эти две недели на нашей земле.

Однако ожидаемого улучшения не наступило. Каждый день в сводках ТАСС сообщалось о сдаче новых городов и об организованном отступлении наших войск на заранее подготовленные позиции. Фронт неумолимо приближался к Курску. Однажды по нашему городку оповестили всё через тот же черный круг репродуктора о том, что к аэродрому приближаются немецкие бомбардировщики, и всем надо спрятаться в укрытиях. Все, кто находился в штабе и поблизости, побежали к окраине городка, где были открыты зигзагообразные щели. В

них, съездившись, уже лежало несколько человек. Откуда-то сверху и сбоку нарастал мощный подвывающий гул моторов. Я спрыгнул на дно щели и тотчас на меня свалился какой-то солдатик, для которого свободного места уже не осталось. «Дядя, подвиньтесь», – попросил он меня жалобным, детским голосом, и я, как смог, освободил для него немного места. Через мгновение раздался чудовищный, как мне показалось, взрыв, земля под нами заколебалась, и я ощутил, как тело молоденького солдатика начало как-то мелко и противно дрожать. «Только не допустить себя до этого», – успел подумать я, стиснув зубы и стараясь угадать по силе взрывов, приближаются они к нам или удаляются. Нет, утробное уханья земли продолжалось всё на том же отдалении. Кто-то впереди меня начал что-то бормотать, и я уловил слова молитвы «Богородица», которой мать учила меня в детстве.

И вдруг солдатик надо мной, стуча зубами, проговорил: «Ни-чего, на-ше де-ло пра-вое...».

Мне это показалось настолько забавным, что я как-то сразу успокоился. Да и взрывы прекратились. Мы вылезли из щелей, бледные, потрепанные, униженные, и, избегая глядеть друг другу в глаза, начали разбредаться по своим местам. К нашему удивлению, ни одна бомба на аэродром не упала, но за ним, там, где находилась железнодорожная станция, валили густые клубы черного дыма.

«Мда... – смущенно проговорил знакомый капитанштабист, отряхивая землю с гимнастерки и бриджей. – Так сказать, боевое крещение. Интересно, где же были наши истребители?»

«Почему же немцы не бомбили аэродром? – подумал я. И надолго ли нас будут щадить?» Сомнения рассеялись недели через две. В августе к нам повадился летать немецкий разведчик. Появлялся он поближе к вечеру на довольно большой высоте, гудел где-то за облаками минут десять, пока не поднимался и не набирал высоту наш истребитель. Затем начиналась пулеметная перестрелка, и так как в облаках резонанс отличный, мы на земле отчетливо слышали каждую ноту этого воздушного концерта, после чего незванный гость удирал. До поры до времени мы воспринимали все это как своего рода развлечение. Завершилось оно, однако, трагически. В тот вечер немецкий разведчик прилетел на сравнительно небольшой высоте и как раз в то время, когда наш И-16 барражировал в небе. Заметив немца, наш летчик устремился навстречу и дал

несколько очередей. Разведчик круто развернулся и взмыл вверх. Некоторое время до нас доносилась пулеметная дуэль, затем оба самолета скрылись из вида и умолкли. А еще через полчаса полуторка привезла тело нашего парня.

Мне рассказали подробности того, что произошло. Немецкий ас попросту завлек нашего неопытного летчика, держась от него на небольшом, но безопасном расстоянии. А когда тот израсходовал патроны, круто развернулся, дал очередь в упор и скрылся. Поврежденный И-16 потерял управление, а его мотор начал захлебываться. Пилот, как видно, все же надеялся дотянуть до аэродрома, а когда понял, что не сможет, решил выброситься. До земли оставалось уже совсем немного. Парашют раскрылся слишком поздно, накрыв собой разбившегося паренька. Его так и привезли в кузове машины, завернутого в парашютный шелк.

Вообще, в эти первые месяцы войны несчастья обрушивались на нашу дивизию со всех сторон, обостряя до предела мрачное настроение людей, вызванное тяжелым положением на фронтах. Для пополнения потерь штаб авиации дальнего действия направил нам на «Дугласе» группу гражданских летчиков, однако зенитчики на подступах к аэродрому приняли его за немецкий самолет и подбили... При взлете с полосы один наш бомбардировщик не смог набрать высоту и врезался в лес, вызвав пожар, который с трудом удалось погасить. Другой ДБ-ЗФ, возвращаясь ночью с задания, врезался в грозовую тучу, последовал удар молнии, объятый пламенем самолет развалился на куски, а один из моторов упал на палатку, где находились люди...

После гибели нашего истребителя я попросился на прием к комиссару дивизии Приезжеву, чтобы подать рапорт о переводе меня связистом в наземные войска. Среди работников дивизии он заметно выделялся своим интеллигентным видом. Гладко выбритый, в ладно пригнанной по довольно полной фигуре форме с ромбами в петлицах, импозантный и учтивый, он произвел на меня самое лучшее впечатление уже при первой нашей беседе, когда меня переводили в газету. Вскоре я узнал о том, что до армии он преподавал где-то историю, был кандидатом наук, и мне показалось, что в душе он остался штатским, несмотря на высокое звание. Обо мне доложили. Приезжий сидел за столом все такой же аккуратный, ухоженный и спокойный, как будто рядом и не бушевала война. Не

торопясь прочитал мой рапорт, с любопытством взглянул на меня, пригласил сесть:

- Вы с редактором об этом беседовали?

- Нет. Я знаю, что мою просьбу можете удовлетворить только вы.

- Я тоже не могу. Перевод из одного рода войск в другой допускается в исключительных случаях по решению штаба фронта.

- Как же мне быть?

- Продолжать служить в дивизии. Почему вы решили, что принесете больше пользы в пехоте?

- Там сейчас нужен каждый человек, а здесь меня легко заменить.

- Вы ошибаетесь. Я слежу за газетой и считаю, что вы на своем месте. Но я вас понимаю, – добавил он с оттенком грусти.

- Тяжело сейчас всем. И физически, и особенно психологически... Вы бываете в полках, старайтесь при случае ободрять людей, разъяснять им, что наши неудачи временные, и рано или поздно мы погоним фашистов назад. Вы ведь не только газетчик, но и политработник.

Он говорил ровным голосом, без всяких эмоций, но, странное дело, на меня это спокойствие подействовало сильнее, чем громкие призывы и заклинания, какие мне приходилось не раз слышать на собраниях и митингах. То была взвешенная убежденность человека, знающего больше, чем другие, и я вышел от него точно освеженный прохладой после изнурительно душного дня.

Бывая в полках, я уже дважды просился на задания в качестве воздушного стрелка, но командиры экипажей мне отказывали.

Я их понимал: в случае гибели стрелка-радиста его мог заменить дублер, а доверять связь и защиту бомбардировщика с тыла неопытному корреспонденту – значило рисковать. Ради чего? Ради заметки в газете? Потери не уменьшались, и всем стало ясно, что посылать и дальше бомбардировщики днем без надежного прикрытия истребителей – значит лишиться нашей авиации дальнего действия, особенно её золотого фонда – летчиков чкаловского поколения. Поэтому начали усиленно осваивать ночные полеты. Днем же летали лишь небольшими группами, а то и по двое, используя облака, солнце, высоту и другие тактические уловки, чтобы обмануть мессершмитов. Ви-

димо, немецкие истребители получили задание при возможности сбивать и наши одиночные легкие самолеты, перевозившие на короткие расстояния командиров высокого ранга. Однажды я чуть не стал жертвой такого полета, оказавшись в качестве пассажира на учебном моноплане УТ-2. После биплана У-2 впечатление в его кабине расположенной позади летчика, такое, будто сидишь верхом на крылатом коне. Крылья где-то под тобой, а ты паришь в необъятном небе на этом Пегазе, совершенно неприкрытый и беззащитный. Летчик то и дело вертел головой в шлеме, всматриваясь в коварное облачное небо. Вдруг он что-то прокричал, заложил крутой вираж, от которого закружившаяся земля оказалась у меня над головой, и нырнул в ближнее облако. Нас окутал туман, хрупкую «уточку» затрясло, как в лихоманке, и она поползла ощупью куда-то вверх. Я догадался: где-то показался мессершмит, который я прозевал. Томительные мгновения полета вслепую – и снова над нами ослепительные солнце. А сбоку и ниже на фоне белого облака небольшой жучок с пронзительно черными крестами на крыльях, какие до сих пор я видел только на картинках. Вид у него совершенно безобидный, не вяжущийся со смертью, и не верится, что это именно нас караулит он, зная, что рано или поздно мы вынырнем под его прицел. К счастью наш пилот заметил его раньше и тут же направил наш самолетик к большому облаку в отдалении. И снова вокруг густой туман, но теперь мы уже не поднимались, а начали медленно снижаться, и как только вышли из облака, пилот повел «уточку» под нижней кромкой, так что клочья тумана то и дело мелькали нам навстречу. Жучок с черными крестами нас потерял, и мы, держась всю дорогу поближе к облакам, благополучно добрались до Курска.

- Перетрухнул, старшина? – усмехнулся на земле пилот, похожий на немолодого мастерового.

Я поднял руки: сдаюсь, мол.

- А ты думаешь, я нет. И откуда он, курва, вывернулся? – с добродушным удивлением проговорил он. – Думал, генерала везу...

В последних числах сентября я в который уже раз выехал в Обоянь. Побывал на ночных учениях, подготовил репортаж и где-то в полночь под первое октября возвращался в Курск.

Все лежащие места в вагоне были заняты, и я прикорнул на боковом сидении у окна. На рассвете меня разбудил чудовищный рёв самолета над головой. Спросонок показалось, что

он вот-вот свалится на крышу вагона. Проснувшиеся раньше меня пассажиры столпились в проходе и в тамбуре, отталкивая друг друга и пытаясь выскочить на полотно. Поезд остановился. Некоторые полезли в открытые окна. Встав, я увидел, как те, кто уже успел выскочить, бежали к посадке. Я соскочил с подножки одним из последних и, едва добежав до посадки, снова услышал рёв мотора и увидел, как с хвоста поезда на брющем полете распластал свои крылья похожий на гигантского коршуна двуххвостый Me-110. И снова в глаза врезались ненавистные черные кресты, обведённые белой краской. Упав на землю, я услышал сухие удары пушечных выстрелов, зловещий свист крыльев над головой, крики и стоны раненых в посадке и вслед за этим лязг буферов: поезд снова тронулся. Сорвавшись с места, я подбежал к вагонам, когда поезд уже набирал ход, успел ухватиться за поручни и вскочить на подножку. Сзади отчаянно кричали и махали руками оставленные пассажиры с чемоданами и баулами, но машинист спешил как можно скорее добраться до Курска под защиту зенитчиков. Наконец, поезд подошёл к перрону полуразрушенного вокзала, и я поспешил к дороге на аэродром. Мне повезло: первая же полуторка остановилась, когда я поднял руку. Оставляя хвост пыли, мы помчались по пустынной дороге, что меня удивило, т.к. обычно здесь машины встречались часто. Стоя в кузове, я вдруг впервые после происшествия в поезде подумал: видно, совсем плохи наши дела, если этот двуххвостый разбойник может вести себя так нагло. Шофер свернул к аэродрому, а я направился в городок. Около ворот, поглядывая на небо, топталось двое часовых. Едва я приблизился, как оба вдруг повалились на землю и закричали: «Ложись!» Я упал, как подкошенный. Над головой нарастал жутко знакомый рев, раздался треск пулеметной очереди, звон разбитого где-то стекла, и по земле мелькнула большая тень. Все тот же сто десятый. Да что же это творится? Где наши? Не вступая в разговор с часовыми, я побежал в городок и сразу же почувствовал: что-то здесь изменилось. Выбитые стекла? Да. Но что-то еще. И вдруг понял: да ведь городок опустел. Взглянул в сторону аэродрома – бомбардировщиков тоже нет, стоят лишь "Дуглас" да пара У-2. Меня не было всего трое суток, куда же все подевались за это время? Зашел в редакцию – ни души. В коридоре встретил знакомого майора из разведки, того самого, что выступал с докладом перед войной.

- Что случилось? Куда все подевались?

- Разве вы еще не знаете?
- Только что вернулся из командировки.
- Сегодня ночью немцы заняли Орел...
- Не может быть!

Он горько усмехнулся.

- У нас все может быть. Кажется, это конец... Что делать, а?

Я взглянул на него с испугом: высокий, крепкий мужчина с пшеничными бровями, резко выделявшимися на загоревшем, медном лице, всегда такой по-военному подтянутый и уверенный в себе, он сейчас выглядел потерянным, жалким и явно нуждался в моральной поддержке. Что я мог ему ответить?

- Куда перебазировалась дивизия? – спросил я.

- В Грязи. Поспешите уехать, скоро немцы будут в Курске.

- А кто-нибудь из командования в штабе есть?

Комиссар Приезжев из начштаба спросил:

- А вы сами как?

- Сейчас улетаю на У-2. К сожалению, не могу вас взять, нас уже двое на одно место.

Я пошел к комиссару. В отличие от майора, он был как всегда спокоен и несуетлив. Только глаза словно припухли да лицо бледнее обычного.

- Вернулись из командировки? – деловито спросил он. – Ваши все уже эвакуировались. Скоро в Грязи вылетает "Дуглас" с запасными частями. Вот вам записка к летчикам, скажете, что я приказал вас посадить.

Он быстро написал несколько строк и протянул мне листок.

- Спасибо, товарищ бригадный комиссар!

Он устало кивнул. Я вышел из штаба и бегом к "Дугласу".

Около троих летчиков стояла упитанная розовая женщина с двумя чемоданами, убеждая посадить её в самолет.

- Это приказ начальника штаба! Вы не имеете права его не выполнить, – наступала она, все более наливаясь краской.

- Не могу, – хладнокровно отвечал командир экипажа. – Принесите письменное распоряжение.

- Но я могу не успеть. Полковника сейчас нет.

- Без записки не могу. Самолет загружен под завязку.

- Куда я вас посажу, да еще с чемоданами.

Я понял, что меня скорее всего ждет такой же отказ, и начал прикидывать, каким транспортом мне уехать. На всякий случай протянул свою бумажку.

- Садись, старшина, – разрешил командир. – Поищи там место среди запасных частей.

В это мгновение к нам подбежал запыхавшийся фотокорреспондент корпусной газеты Мишка Шмайдер. Толстый, перепоясанный ремнями, увешанный фотоаппаратами.

- Мест нет! – отрезал командир, едва выслушав его просьбу.

- Беги к комиссару! – крикнул я ему из самолета. Он бросил мне свою сумку, помчался в штаб и минут через десять вернулся с запиской. Мы уселись рядом на алюминиевой скамейке, стиснутые со всех сторон железками.

- Что это за женщина с чемоданами? – спросил я.

- Ты разве не знаешь? Фронтная подруга полковника.

И Мишка, который знал подноготную всего корпуса, начал уверенно рассказывать, кто, с кем, когда и где. Вообще, в нем таился неиссякаемый источник любопытства, энергии и предприимчивости. К этому надо добавить талант общительности, так необходимый корреспонденту. Когда я уже после войны посмотрел фильм "Живые и мертвые", где показана трагическая судьба такого же жизнерадостного фотокорреспондента, мне показалось, что я снова встретился с Мишей, настолько герой и внешне был похож на моего однополчанина.

Не успел он досказать очередную любовную байку, как в дверях самолета показался полковник Л. с двумя чемоданами, а следом за ним его упитанная пассия. Пожилому, морщинистому и тощему по виду полковнику настолько не подходила роль Дон Жуана, что я с удивлением уставился на обоих, забыв вскочить с места. Мишка нашелся первым.

- Здравия желаю, товарищ полковник! – бодро отрапортовал он, изобразив на полном, плутоватом лице выражение тупой служебной преданности и исполнительности. – Разрешите помочь!

Тут же подхватив чемоданы, он начал пристраивать их среди железок под неодобрительным взглядом командира экипажа.

- А, редакция, – благодушно отозвался Л. – Вот поручаю вам ... – он запнулся, затрудняясь назвать должность своей спутницы, но тут же нашелся: – сотрудницу нашего штаба...

Помогите ей в Грязях добраться до гостиницы. Сами тоже можете там устроиться на первое время. Скажете, я приказал.

Я догадался: это был аванс за молчание и содействие в транспортировке мадам Помпадур.

- Будет сделано! – С тем же выражением дурацкого послушания Мишка выпятил грудь и ухитрился освободить сбоку от нас еще кусочек скамейки, явно маловатый для габаритов фаворитки. Она кое-как втиснулась и томно плаксивым голосом проговорила:

- До встречи в Грязях, Коля!

Полковник крикнул, иронически взглянул на нас с Мишкой, даже заговорщически подмигнул, махнул рукой и вышел. Мишка изобразил на лице нечто вроде умиления, перед этой трогательной сценой расставания и незаметно толкнул меня локтем в бок: дескать, теперь будет о чем рассказывать. Поистине, трагическое и смешное шагают бок о бок.

Наш "Дуглас" вырулил на взлётную полосу. Ну, судьба-злодейка, выноси! Вся надежда на то, что Me-110 сейчас заправляется на своем аэродроме или пилот закусывает после своей разбойничьей охоты, а другого немцы не пошлют. Все быстрее мелькает в окошке по бокам взлетная полоса. Прощай, Курск? Несмотря на все пережитое, ты был для нашей дивизии и для меня лично все же добрым городом, и я навсегда унесу с собой память о тебе и об этих первых месяцах величайшей из войн, когда-либо пережитых человечеством.

Местечко Грязи вполне отвечало своему названию. Начались осенние дожди, немощёные дороги превратились в жижу, все мы ходили в заляпанных сапогах, хмурые, неустроенные, подавленные отступлением. Как и следовало ожидать, вскоре за Орлом пал и Курск. В Грязях оставаться было нельзя, и дивизию перевели в Кирсанов, Тамбовской области, уютный городок, расположенный на холме и сгрудившийся в центре вокруг большой церкви с высокой красивой колокольней. Ниже, под холмом, простирались раздольные луга, подалее, в лесу, протекала тихая речка Ворона. Как и в мирные времена, на лугах бродили стада коров, паслись козы, гуси, все дышало провинциальным покоем и довольством.

Летчики успели освоить обширный аэродром на горе за местечком, а мы, наземники, растянувшись цыганским обозом на грузовиках, спецмашинах, повозках, медленно въезжали по мощеным булыжником улицам в центр Кирсанова, нарушая веками устоявшийся быт, возбуждая у подростков любопыт-

ство, у пожилых – беспокойство, у девушек – надежды. Мог ли я в эти минуты, сидя в нашей типографской машине, подумать о том, что этот старинный купеческий городок станет моей судьбой, подарив мне столько счастливых часов и столько тяжких переживаний, перевернувших всю мою последующую жизнь... Но об этом позже.

Редакция и типография разместились в старом каменном доме, с которого открывался прекрасный вид на обширный луг; здесь же, в бывшей конторе какого-то учреждения, мы поставили себе койки. К этому времени я, к своему сожалению, разлучился с Григорием Иосифовичем, который получил новое назначение. Забегая вперед, скажу, что за время войны мы потеряли связь, и только через сорок с лишним лет он, увидев случайно в магазине мою книжку о Пушкине, узнал, где я живу и сообщил свой адрес. У дивизии теперь был другой номер – 24ад, входила она в состав Брянского фронта, а газета называлась "Крылья Победы". Новый редактор капитан Д., бравый, затянутый в ремни мужчина лет тридцати пяти, в отличие от своего предшественника, не обременял себя работой, а предпочитал чаще бывать в отделе снабжения у знакомых или в штабе на виду у начальства. Выпятив грудь, он обычно заходил утром в редакцию, бодро здоровался, осведомлялся четким командирским голосом: как дела? торопливо давал два-три указания и исчезал.

Я целыми днями пропадал на аэродроме. Начальник штаба полковник Л. похваливал мои статьи и фельетоны, новый комиссар дивизии, сменивший Приезжева, узнав о том, что я окончил ИФЛИ, начал поручать мне лекции для политработников и комсостава. Среди экипажей у меня появились знакомые и друзья. Близко сошлись мы со штурманом одной из лучших эскадрилий дивизии старшим лейтенантом Чичериным. Молодой, белокурый, миловидный, он тянулся к литературе и однажды принес на мой суд рассказ, переписанный в ученической тетрадке. Я его подредактировал, и, если память мне не изменяет, рассказ был напечатан в нашей газете. Через Чичерина я познакомился с командиром его экипажа капитаном Лукьяновым, одним из самых мужественных людей, с какими мне приходилось встречаться в жизни. Было ему около тридцати, если не больше. Жилистый, смуглый, неизменно серьезный, авторитетный среди летчиков не только по должности командира эскадрильи, но по опыту и квалификации, он отличался сдержанностью, немногословием и не-

охотно шел на общение. Только постепенно и ненавязчиво мне удалось немного "разговорить" его, и он рассказал несколько случаев из своей летной биографии. Вот один из них.

До войны ему пришлось участвовать в одном из авиационных праздников на Тушинском аэродроме в Москве, Группа самолетов имитировала воздушный бой. По сценарию Лукьянов, пилотирующий скоростной бомбардировщик (СБ), должен был после "атаки" истребителей изобразить на своем самолете пожар и свободное падение СБ. В нужный момент он открыл над целью люки, обозначив бомбометание, а заслышав пулеметную очередь истребителя, выбросил из кабины несколько пакетов с сажой. Но завихрением сажу через бомболюки снова втянуло в кабину, она залепила собой приборы и лицо Лукьянова.

- Понимаете, будто ночь на меня опустилась, ничего не вижу, – рассказывал он. – А я уже ввел самолет в свободное падение. Снизу, как потом мне рассказывали, красиво получилось: шлейф черного дыма, бомбардировщик валится, все, как в кино... А я одной рукой протираю глаза, а другой приборы... Уже перед самой землей выровнял свой СБ и кое-как посадил.

Почти в каждой авиационной дивизии был свой любимый командир – "батя". Был он и у нас. Уже немолодой подполковник, воевавший в Испании и награжденный за это не то двумя, не то тремя орденами Красного Знамени. Не знаю, кто он был по происхождению, но лицо у него было из тех, что называют "русскими" и "крестьянскими": курносое, большегубое, спокойное, готовое расплыться и в благодушной улыбке и затвердеть в выражении железной воли, пригибающей под себя людей. Позже, когда стали часто печататься портреты маршала Г. Жукова, я уловил известное сходство в лице и кряжистой фигуре "бати" с прославленным полководцем.

Я очень любил присутствовать на его предполетных беседах с экипажами на командном пункте полка. Среди щеголеватых молодых летчиков, а между ними встречались настоящие красавцы, начинающий лысеть "батя" в своей распахнутой по-домашнему меховой куртке чем-то напоминал колхозного сторожа в тулупе, неторопливо рассуждающего о делах своей большой семьи. Людей он берег. Помню, как однажды в мглистую морозную погоду, когда к вечеру стекла в кабинах штурманов начали покрываться изморозью, самые нетерпеливые уверяли, что на высоте её не будет и можно вылетать на

задание, батя все откладывал решение. Наконец, позвонил в оперативный отдел дивизии, и оттуда сообщили, что в одном из полков из-за плохой погоды самолет при взлете едва не разбился.

Я ни разу не видел его под хмелем, хотя уже в первые месяцы войны многие летчики и штурманы пристрастились к этому пороку. Оправданием служили законные "наркомовские" сто граммов, которые выдавали всем нам по талонам перед обедом или ужином. Практически раздобыть дополнительные талоны, печатавшиеся в дивизионной типографии, не составляло большого труда. Популярны были и хождения "на деревню к бабушке", т.е. в соседние села, где гнали самогон. Цены были сумасшедшие, до 500-600 р. за литр, но охотников до домашнего зелья было немало. Наконец, правдами и неправдами добывали спирт. Выпивки были одной из причин небрежной подготовки самолетов к полетам, поломок, аварий, ошибок во время выполнения боевых заданий. В официальных рапортах такие случаи по возможности скрывались. Батя строго следил за тем, чтобы перед вылетом все были трезвыми, и как-то отстранил одного старшего лейтенанта от полета, заметив, что от того пахнет спиртным.

Несмотря на свой возраст, он довольно часто летал на задания вместе с комиссаром полка, майором-штурманом.

Наступило самое тяжелое время войны: немцы продвигались к Москве. Самолеты дивизии днем и ночью бомбили фашистские колонны, железнодорожные станции, аэродромы. Рано ударили морозы, и это было тяжело не только для немцев, но и для нас. Особенно трудно приходилось механикам и оружейникам. В начале декабря, облачившись в комбинезон и меховые унты, я поехал в Мичуринск, где размещался полк четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. За прошедшие месяцы войны их осталось совсем мало: некоторые были сбиты во время дневных полетов, как об этом рассказано в романе К. Симонова "Живые и мертвые", другие вышли из строя из-за разных неполадок. Теперь они вылетали на боевые задания только ночью. До этого мне пришлось летать на ТБ-3 всего один раз и днем. Впечатление не из приятных. Представьте себе, в небе распростершую крылья машину, обшитую гофрированным железом, продуваемую из многих щелей воздушными потоками, которая летит где-то на высоте – 500–700 метров со скоростью двести с небольшим километров в час и по

всему этому представляет собой идеальную мишень для истребителей и зенитчиков.

В крепчайший мороз к вечеру я приехал на аэродром как раз в то время, когда несколько бомбардировщиков готовились к вылету. Около одного из них встретил знакомого штурмана майора Кобелькова, уже немолодого человека, который участвовал в боях еще во время конфликта на КВЖД. Мне нравились в нем общительность и чувство юмора. О чем бы он ни рассказывал в связи со своими полетами, дело в конце концов оборачивалось смешной стороной. Потом я догадался, что для него это было своего рода щитом против драматической стороны его профессии. Увидев меня в комбинезоне, он спросил:

- Собрались в полет?

- Да, если возьмете.

- Почему же нет?

Он переговорил с командиром, тот не возражал. Кобельков послал одного из стрелков за парашютом, и через полчаса я уже находился в полутемном фюзеляже ТБ-3. Казалось, разбегу не будет конца. Но вот тяжело нагруженная бомбами машина наконец оторвалась от земли и начала медленно набирать высоту. В окошке внизу смутно синеет заснеженная земля. Нигде ни огонька.

В ушах мощный гул моторов. Время словно остановилось. Кажется, летим уже несколько часов, а на самом деле прошло не больше часа. Вдруг тьму прорезал голубой луч прожектора, и вслед за этим сбоку и выше нас лопнул и разлетелся золотыми брызгами красивый огненный шар, за ним другой, третий. Внизу на земле что-то горело. Пол ТБ-3 сильно накренился, затем снова выровнялся, самолет слегка вздрогнул, освобождаясь от бомб, и пошел на снижение. Это был самый надежный маневр, так как немецкие зенитки просто не были рассчитаны на небольшую высоту мишени. Сзади нас продолжали метаться по небу уже два голубых луча, все также бесшумно лопались золотые шары, и все это походило не на войну, а напоминало красивый новогодний фейерверк.

Обрадованный удачным вылетом, я после приземления вылез вместе с механиками и стрелками из самолета и сразу же натолкнулся на работника оперативного отдела штаба.

- Кто вам разрешил лететь на задание? – строго спросил он.

Я опешил: ожидал похвалы за свой героизм, и вот нате вам. Не желая подводить майора, ответил:

- Редактор дивизионной газеты.

- С каких это пор ваш редактор стал командовать в нашем полку? – язвительно хмыкнул он. – А если бы с самолетом что случилось? Кому бы за вас пришлось отвечать?

- Извините, у меня просто не было времени согласовать это, в штабе.

- Вот в том-то и дело, что не было, а сами, наверное, не знаете, как парашют застегивать. Вояки? В общем, я доложу, куда следует, – многозначительно пригрозил он.

- Да брось ты, капитан, паниковать? – вмешался в разговор Кобельков. – Ну, я разрешил ему, и что? Ну, наказывай меня?

- Не в этом дело, товарищ майор, – уже примирительным тоном проговорил штабист. – Порядок есть порядок.

Он, конечно, был прав. К счастью для меня эта «самоволка» обошлась без последствий. За время войны судьба свела меня с штурманом Кобельковым еще раз. Это случилось летом 1943 г. в Белоруссии. Мы случайно встретились в штабе 16-й воздушной армии. Он уже был в звании подполковника, я его поздравил, но он лишь безразлично махнул рукой. И вообще, как-то угас и постарел. Рассказал о том, что после тяжелой травмы больше не летает. Во время одного из вылетов их ТБ-3 был поврежден, летчик, однако, дотянул до аэродрома, пытался спланировать, выключив моторы, чтобы избежать пожара, но самолет рухнул на полосу и превратился в груды железа. Подоспевшие спасатели извлекли из обломков членов экипажа, в том числе и Кобелькова. С тех пор в его ушах стоял звон, который мешал ему спать и измотал его психически. Кобельков ездил по госпиталям, но врачи были бессильны ему помочь. Прощание наше было грустным...

А тогда я, переночевав в казарме полка в Мичуринске, утром нежданно-негаданно встретил около политотдела Владимира Архипова, бывшего йфлийца, с которым мы перед войной служили в Брянске. В Мичуринск он приехал из Москвы как политработник не то для чтения лекций, не то для инструктажа. В студенческие годы мы с ним не общались, но я, как и другие, знал Архипова как в высшей степени колоритную фигуру. Во-первых, он носил бороду, что для 30-х годов было поступком экстравагантным и даже шокирующим. Для молодежи тех лет бородка плюс пенсне ассоциировались с

чем-то старомодным, смешным и политически сомнительным. Обычно так выглядели в исторических фильмах меньшевики, эсеры и прочая малопочтенная публика. Во-вторых, он был непременно участником всех литературных дискуссий как в самом ИФЛИ, так и за его пределами. И так как суждения его обычно резко расходились с общепринятыми, то врагов у него было не счесть, что ни в какой мере не охлаждало его полемический задор и пристрастие к парадоксам. Эрудированный и остроумный, с подвижным вольтеровским лицом, он без труда парировал доводы догматиков и тугодумов, стараясь выставить их в смешном и глупом виде и испытывая при этом какое-то мефистофельское наслаждение,

И вот этот возмутитель спокойствия обернулся для всех нас в армии совсем другой стороной: оказался внимательным, дружелюбным, компанейским парнем, которого я от души любил. Вообще, я заметил, что армейская служба в те годы нравственно очищала людей: со многих слетала ненужная шелуха, они становились проще и человечнее.

Мы естественно обрадовались встрече, и он тут же, с трудом сдерживая слезы, рассказал мне о гибели после ранения своего младшего брата.

- Что с Москвой? – спросил я.

Он болезненно сморщился.

- Похоже, обречена наша первопрестольная...

- И что же дальше?

- Конечно, на этом война не закончится, но дело худо. Придется собирать новую армию за Уралом. Не думаю, чтобы немцы рискнули продвигаться вглубь Сибири. Скорее будут осваивать захваченное, а там держать заслон. Так что придется нам с тобой стать сибиряками. Ты готов к этому?

- Да, – ответил я, стараясь представить себе огромные необжитые просторы, глушь, тайгу, холода.

- А если выступят японцы?

- Уйду в партизаны или попробую добраться до союзников. Во всяком случае жить при немцах не буду.

- Ну, значит, будем держаться вместе. Вот тебе мои координаты. На всякий случай...

Обычно шутливый и насмешливый, он был сейчас серьезен и даже торжественен. Прощаясь, мы обнялись. К счастью, наши мрачные предположения война вскоре опровергла одним махом.

В 1947 году мы снова встретились с Володей в Москве. Он становился известным литературоведом, готовил докторскую, по-прежнему любил словесные поединки и со своим бойцовским петушиным характером наживал себе новых врагов в дополнение к старым. Закончил он плохо. Я и раньше замечал в нем некоторые проявления шизофрении, видимо, с годами заболевание обострилось и в конце концов привело к скандальной семейной истории, после которой от него отвернулись все. Последние годы жизни он провел в комнате аспирантского общежития, совершенно одинокий, забытый в литературные круги, презираемый, равнодушный ко всему на свете.

Но вернусь к декабрю 1941 года. Придя однажды утром в штаб, я увидел собравшихся под репродуктором у столба людей и услышал сообщение о разгроме немецкой группировки под Москвой. За несколько дней до этого экипажи, летавшие днем бомбить и обстреливать немецкие колонны на дорогах под Москвой, привезли первые вести о том, что фашисты якобы начали отступать. Но то могли быть отдельные случаи. Теперь же официально было объявлено о грандиозной операции, названы освобожденные города и села, перечислены потери противника. Этой радостной вести все мы ждали с самого первого дня вторжения, и вот через полгода, наконец, великое чудо свершилось. Мне, как и многим, казалось, что отныне самое трудное в войне позади, немцы уже не смогут оправиться от такого удара и неуклонно покатятся назад. Ликование было всенародным, всюду улыбки, рукопожатия, разговоры, предположения о том, как будут развиваться события дальше.

До сих пор у меня чудом сохранилось два блокнота с карандашными записями бесед с экипажами о боевых вылетах во время зимнего отступления немцев. Вот одна из них. Рассказывают командир экипажа лейтенант Злотников и стрелок сержант Конкин.

Вылетели мы 5 января 1942 года бомбить перегон Ярцево-Вязьма. Линию фронта прошли благополучно. На шоссе были обстреляны из крупнокалиберного пулемета. Шли на малой высоте: от 50 до 100 м. Часто в облаках. Не долетая до цели километров 35, отказал мотор. Сделали вынужденную посадку на живот на огороде в сотне метров от деревни. (Бомбы до этого сбросили). Пошли в деревню, немцев здесь не было, жители приняли хорошо, рассказали, где находятся немцы (штаб в километре отсюда). Переоделись в гражданскую одежду.

Приняли решение идти по двое. Когда вышли из деревни, увидели 6 немецких подвод. Пошли прямо им навстречу. До этого оружие спрятали. Сопровождавший немцев русский похлопал себя по карманам, показывая немцам, чтобы обыскали нас. Но те не стали. На немцах тулупы и валенки, как видно отобранные у жителей.

Прошли четыре деревни и только в одной встретили немцев, которые возили сено из сарая. Пришли к старосте, он обыскал нас и повел ночевать. Попали к члену партии Филиппову, который до войны был секретарем райкома комсомола. Староста – его двоюродный брат. Стало известно, что в двух соседних деревнях сделали обыск, искали экипаж. В доме Филиппова сохранился приемник. Слушали последние известия.

Узнали, как живут крестьяне. Немцы до отступления забрали кур, свиней, сейчас стали брать коров, лошадей, отнимают теплую одежду. Нет керосина, мыла, питаются картошкой и капустой. Объявляют: не верьте партизанским бандитам, что немецкие части отступают; происходит выпрямление линии фронта и перегруппировка войск. Распускают слухи: Москву разбомбили, метро затоплено, Ленинград взят. Но население знает о наступлении Красной Армии, о том, что Калуга взята. В деревню попадает много листовок. Экипаж видел отпечатанную речь Сталина, поздравление Калинина с Новым годом, обращение партизан к району. Как только пролетает наш самолет, глядят вверх, ждут листовок. Сейчас немец летает мало, больше наши.

В одной деревне летчики попали в партизанский отряд. Командир отряда – полковник, попавший в окружение. Обут в лапти, носит бороду. Отряд охватывает несколько деревень.

Один из членов экипажа остался в отряде, другой поехал в лес за оружием. Прислал записку: жди, приеду. Прождал трое суток – не приехал. Я перешел в другой отряд, где командиром лейтенант – грузин. Посыльный сообщил, что в соседнюю деревню приехали немцы. Решили устроить засаду. Выехали на лыжах человек 60, затем подползли к деревне метров на 20. Там стояло шесть подвод с валенками и провизией. Напали, убили восемь немцев, остальные в темноте убежали.

Пять раз ездили на разведку. Подъезжали к линии фронта, брали с собой санки с пулеметом. По бокам шоссе полно березовых крестов. Многие немецкие трупы валяются в снегу неубранные. В одном месте насчитал более полусотни. У стол-

ба, указывая путь на запад, поставлен труп немецкого офицера в женском джемпере и в косынке, но без штанов.

Видел в деревне трех повешенных, в том числе председателя колхоза и учительницу. Рядом партизаны повесили пойманного немца и написали на фанере: "За каждого повешенного русского – сто немцев". Везде валяются разбитые нашей авиацией и сожженные немецкие машины.

Вооруженный полуавтоматом я на лыжах поехал в восточном направлении пробиваться к своим. Всю ночь плутал в лесу, пока не услышал стрельбу и не вышел к нашей батарее. Оттуда меня направили в штаб армии, а из него я вернулся в свою часть».

В марте 1942 г., после того, как мы торжественно отпраздновали 24-ю годовщину Красной Армии, наша дивизия перебазировалась в Воронеж, вблизи которого был расположен большой аэродром с бетонированной полосой. Фронт стабилизировался, и эскадрильи летали ночью бомбить скопления немецких эшелонов на узловых станциях. В сводках появилось название хорошо знакомого мне Брянска. С началом весны полевые аэродромы размокли, и бомбардировщики всех полков сосредоточились на главном аэродроме. Узнав о том, что эскадрилья капитана Лукьянова вылетает ночью бомбить станцию Брянск 2, я попросил его взять меня на роль воздушного стрелка. Он согласился. На аэродром приехали тихим мартовским вечером. Весь он был заставлен самолетами, бензозаправщиками, грузовиками. С бетонной полосы непрерывно поднимались наши ДБ-ЗФ. Ожидая своей очереди, мы со стрелком-радистом Земсковым подошли к группе девушек-парашютисток, ожидавших наступления темноты, чтобы погрузиться на "Дуглас". Одетые в теплые черные куртки, вооруженные пистолетами-автоматами и ножами, они сидели на пригорке и весело о чем-то переговаривались. Все как на подбор рослые, крепкие, розовые; в манере держаться независимость и партизанская удаль. По всему чувствовалось, что вылетают на диверсию не первый раз. Рядом парашюты, рация, какие-то грузы в мешках.

Но и Земсков не из робких, до перевода в нашу дивизию летал в экипаже известного Героя Советского Союза Водопьянова. Звание – младший лейтенант, редкое у радистов.

- Далеко летим? – спросил он разбитным тоном.
- Отсюда не видно, – насмешливо откликнулась одна.
- А все же? – настаивал он.

- Отваливай! – лениво процедила, видно, старшая в группе.

- Что это вы, девоньки, такие сурьезные? – Земсков, как ни в чем не бывало присел рядом и вынул пачку папирос. – Угощайтесь!

Несколько девушек потянулись к пачке.

- А мы вот с дружкой тоже скоро вылетаем, – кивнул он на меня, приглашая присаживаться. – Может, одолжите пачку автоматов. Мало ли чего...

- Самим не хватает, – уже весело отозвались парашютистки.

- Ну а когда вернетесь, знаете, где нас искать?

- Где? – уже заливались смехом, явно заинтересованные девушки.

Побалагурив с ними, мы пошли к своему ДБ-ЗФ, так как по времени должны были скоро взлетать. Под его фюзеляжем были прикреплены три пузатые бомбы по 250 кг. Лукьянов и Чичерин уже сидели в своих кабинах. Земсков влез в самолет снизу в щель откидного пулемета, я за ним. Надели парашюты.

- Застегивать не надо, – посоветовал он, заметив, что я защелкнул лямки на груди. – Взлетим – тогда.

Я немного удивился, но расспрашивать не стал и растегнул лямки. Земсков поднялся под колпак, где был закреплен турельный пулемет, и начал проверять связь с Лукьяновым и Чичериным, а я установил дверцу с пулеметом на место, закрыв щель. Дверца плексигласовая, чтобы можно было видеть цель на земле. Сбоку в фюзеляже небольшое окошко – вот и весь обзор.

Лукьянов начал прогревать моторы. В окошко мне видно, как на взлетную полосу вырулил первый бомбардировщик нашей эскадрильи. Оглушив все вокруг ревом, он промчался по бетону и где-то скрылся вдали. Поднялось еще шесть самолетов эскадрильи. Наступила наша очередь. Сколько ни приходилось мне летать и во время войны и после нее уже на гражданских самолетах, каждый раз на старте я испытывал особое торжественное и тревожное волнение, в котором переплелось многое: и наивное удивление перед мощью человеческого ума и умением человеческих рук, сумевших заставить вот эту тяжелую металлическую птицу подниматься в воздух; и это вечно опасливое "а вдруг" с его жгучей привязанностью к земле, которая в эти мгновения кажется такой родной и

надежной; и деловая работа памяти: все ли подготовил и предусмотрел перед полетом; и острое любопытство; а что нас ждет там, в темном небе, над линией фронта, над целью?

Точно предчувствуя недоброе, бомбардировщик вздрогнул, наклонил нос и помчался по полосе. В окошке замелькали самолеты вдали. Чувствую – в работе моторов что-то необычное, натужное, словно мы никак не можем оторваться от земли. Но вот, наконец, самолет повис в воздухе, и тотчас началась непонятная вибрация: задрожал пол под ногами, затрясся пулемет, с меня начал сползать парашют. Я хотел спросить Земскова, что случилось, но в это мгновение он сам опустился из-под колпака с расширенными от страха белыми глазами, рванул на себя дверцу моего пулемета, сжался в комок и головой вниз выпрыгнул в люк. Сообразив, что произошло нечто ужасное и повинувшись стадному инстинкту, я хотел последовать его примеру, но какая-то сила швырнула меня в глубь фюзеляжа, на бомболоуки, я больно ударился о какую-то раму, хотел приподняться и тут же полетел обратно к своему люку. Его разбило вдребезги, на меня полетели осколки плексигласа и грязи. Моторы умолкли. Наступила жуткая тишина, которую тут же пререзал вой аварийной сирены. Я встал на ноги, плохо соображая, что произошло и что мне делать. Ясно было одно: самолет лежал в грязи и в нижний люк вылезти уже нельзя. Значит, оставался колпак. Превозмогая боль во всем теле, я вскарабкался под него, огляделся и только теперь в полной мере осознал опасность: винты моторов нашего бомбардировщика были погнуты, напоминая свастику, между ними алыми лоскутами вспыхивало пламя. Если огонь дойдет до бензобаков, от всех нас ничего не останется: ведь под фюзеляжем 750 кг взрывчатки. Надо любой ценой выбираться. Я начал бить кулаком по защелке, чтобы открыть колпак, но ее, как видно, заклинило при падении самолета. Разбив в кровь кулак, я так ничего не смог сделать. Значит, всё! Сбросив ненужный парашют, еще раз взглянул на моторы – огонь разгорался. Что происходит в душе человека в мгновения смертельной опасности? Одни говорят, перед его внутренним взором проносится вся жизнь, по крайней мере, ее узловые этапы; другие, что его душа устремляется с мольбой к богу, ибо человек понимает, что никто, кроме него, уже не может спасти твою жизнь; третьи – что в этом состоянии обреченный вообще не способен думать, так как впадает в транс и полуживотное состояние. Я отчетливо помню, что первой моей мыс-

лью после осознания своей обреченности было горькое сожаление о погибших надеждах и еще более горькая мысль о том, каким роковым ударом будет для матери известие о моей смерти.

Поняв, что сам я выбраться не смогу, я оглядел из колпака аэродром с почти безнадежной мыслью попросить о помощи со стороны. Поблизости никого не было, и лишь в отдалении, возле грузовиков и самолетов, лежали люди, ожидая взрыва. Вдруг от одной из полуторок поднялся Земсков и стал мне подавать знак бить по защелке. Я поднял свою окровавленную руку и покачал головой – ничего не выходит. Тогда он сделал несколько шагов в мою сторону, однако новая вспышка племени над моторами заставила его отпрянуть назад. Я угрозил ему кулаком, он заколебался, но затем все же побежал ко мне. Вскочив на подножку колпака, он изо всех сил ударил кулаком по защелке – и, о чудо! – колпак открылся. Тут же он помчался прочь. Я спрыгнул на землю и ринулся следом за ним, с трудом веря в свое спасение. Перевел дух только около полуторки. Оглянулся назад, ожидая увидеть наш бомбардировщик, объятый огнем, а увидел около горящих моторов одинокую фигуру капитана Лукьянова, который сгребал на земле руками грязь и бросал её в моторы. Лицо его было разбито, он пошатывался, но продолжал бросать комья в огонь. И все, кто находился поблизости, испытали в эти мгновения не только чувство удивления перед мужеством этого человека, но и чувство стыда. Точно по чьему-то сигналу, несколько человек бросились к самолету и тоже начали забрасывать моторы грязью. И огонь сдался, его язычки становились все слабее, пока, наконец, не погасли совсем, оставив после себя синие струйки дыма. Каюсь, у самого меня уже не осталось сил ни бежать, ни бросать комья, наступило состояние какой-то сонливости. Между тем оружейники вывернули у бомб взрыватели, подвезли тележки, погрузили на них сами бомбы и увезли их подалее. Хотя и изуродованный, самолет был спасен. И только теперь я обратил внимание на то, что штурманской кабины не было... От удара о землю она была попросту смята. Меня пронизал ужас: ведь там находился Чичерин. Кое-как волоча ноги в унтах, я добрался до края аэродрома, попросился на попутную машину, приехал в Воронеж, упал в казарме на койку и, захлебываясь слезами, уснул.

Только утром я узнал от своих товарищей по редакции, что же с нами случилось. Пока самолеты эскадрильи Лукьяно-

ва поднимались в воздух, резко усилился боковой ветер. На тренировках в таких случаях полеты прекращались. Но Лукьянов как командир эскадрильи не мог остаться на земле, когда уже вся его экипажи отправились на задание. Во время разбега его самолет стало сносить с полосы, и он, набрав необходимую скорость, решил оторваться от бетона. Вот тогда-то и началась та вибрация, которая так напугала меня и Земскова. Бомбардировщик, уже свернувший с полосы, продержался какие-то мгновения в воздухе, затем упал на землю, ткнулся в нее моторами, но не опрокинулся, а лишь смял винты и тут же плюхнулся всем корпусом в грязь. В этой аварии произошло два чуда, и первое из них – спасение радиста Земскова. Я до сих пор не могу понять, как мог остаться в живых человек, который выпрыгнул вниз головой из самолета на скорости больше ста километров в час и при высоте не больше трех-четыре метров над землей. У меня просто не хватило духу расспрашивать его, как это было. Могу лишь догадываться, что его перевернуло воздушной струей, и он упал в грязь спиной на парашют. Вторым чудом было спасение штурмана Чичерина. Во время взлета он находился в глубине кабины, продев кисти рук в ремни, наподобие тех, что раньше были в трамваях. Когда бомбардировщик клюнуло носом о землю, стеклянная кабина штурмана разлетелась, а его самого силой удара выбросило в грязь. Сгоряча он побежал куда глаза глядят, и его ушибленного и обессиленного, подобрали где-то на краю аэродрома.

Подлечившись, экипаж Лукьянова продолжал летать, а их бомбардировщик после замены моторов и ремонта тоже встал в строй. К великому сожалению, примерно через год после этого случая все эти замечательные парни не вернулись с особого задания в Венгрии, где их самолет должен был бомбить какой-то фашистский штаб.

Выдающийся марксист

Впервые о Михаиле Александровиче Лифшице как о талантливом философе, блестящем лекторе и полемисте я услышал в 1936 г., на втором курсе Московского института истории, философии и литературы (ИФЛИ). Среди столичной интеллигенции о нём ходили прямо-таки легенды, особенно в связи с той борьбой, какая велась на страницах журналов и газет против вульгаризаторского понимания классовости в ли-

тературе и искусстве. Теперь уже представление о Пушкине как о выразителе интересов мелкопоместного дворянства воспринималось студентами как анекдот, все заговорили о народности классиков русской литературы, общечеловеческом значении их творчества и прочих вещах.

Мы, ифлийцы, были полностью на стороне молодых эстетиков, литературоведов и критиков, которые группировались вокруг известного венгерского учёного Г. Лукача, жившего в те годы в Москве. Кроме Лифшица, к этой группе примыкали «зарубежники» Гриб и Пинский, искусствоведы Кеменов, Колпинский и другие. Слово «группа» употребляю условно, так как в 30-е годы одно подозрение в какой-то «групповщине» могло привести к «путешествию» на Соловки или на Колыму за счёт НКВД. И всё-таки такой кружок смелых мыслителей-единомышленников в эстетике существовал, и мы об этом знали, так как почти все эти молодые учёные преподавали в ИФЛИ.

О Лифшице мы знали также как о составителе двухтомника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», ставшего для нас своего рода эстетической библией. Собранные воедино статьи, письма и высказывания классиков марксизма о литературе и искусстве сразу же подняли на новый уровень эстетическую мысль в обществе, возбудили у студентов потребность обратиться к их трудам, переосмыслить многие догматические положения учебников. Если кто-то думает, что студенческая молодёжь 30-х годов состояла из мрачных и тупых сталинистов, слепо повторявших только официальные лозунги, не умевших спорить, веселиться, дружить, любить, – он глубоко заблуждается. В её жизни существовало как бы две сферы: одна официальная, со славословиями в честь «великого кормчего», исключениями из комсомола детей «врагов народа», подозрительностью и страхом в чём-то ошибиться; другая – личная, интимная, поэтическая – раскрывалась в узких дружеских кружках, в студенческих комнатах, в доверительных беседах, в общении с любимыми преподавателями. Проявлялась в неистребимом для юности стремлении к независимости, духовной раскованности, творчеству. Не будь этой другой сферы, не появилась бы и та плеяда талантливых учёных и профессоров, которых питал этот энтузиазм студенческой молодёжи 30-х годов.

Мне очень хотелось увидеть, как выглядит М.А. Лифшиц, о котором столько говорили, но случая никак не представля-

лось. Вдруг одна из моих сокурсниц по искусствоведческому отделению, входящая в избранные круги московской интеллигенции, объявляет: Лифшиц будет работать теперь и в ИФЛИ. Более того, на нашем отделении, так как назначен заведующим кафедрой эстетики. И вот однажды в коридоре института появился высокий полнеющий красавец-мужчина в светло-коричневом костюме, приятно оттенявшем его смуглое, матовое лицо. В то время ему шёл тридцать второй год. Начавшие редеть тёмные курчавые волосы, мягкий блеск чёрных глаз, добродушная улыбка, часто трогавшая полные губы, общее выражение внутренней свободы во всём облике – таким запомнился он мне на всю жизнь. Вероятно, в юности с него вполне можно было писать портрет библейского Иосифа Прекрасного. Через много лет я увидел в одной из его книг фотографию пожилого, совершенно лысого человека, отдалённо напоминавшего того Иосифа Прекрасного, и подавил вздох...

Первые же его лекции по эстетике многих из нас обескуражили: рушились схематичные представления о народности как своего рода похвальной грамоте классикам за примерное поведение, заколебались некоторые современные авторитеты в литературе и искусстве. Уже тогда он остроумно обнажал смешные стороны «производственного романа», едко вышучивал лубочные картинки в прозе и в живописи из жизни колхозных пейзажей, натужный пафос гудошников-поэтов и многое другое. До сих пор удивляюсь, как его не посадили. И всё это легко, походя, как бы играючи, в отступлениях от фундаментальных теоретических размышлений. Всё, о чём он говорил, было проникнуто духом диалектики, всё подвергалось суду разума, и порой мне казалось, что он переселился к нам каким-то чудом из прошлого века, унаследовав от Маркса и Энгельса их интеллектуальную мощь, остроумие и язык.

Особенно подкупало то, что эстетические проблемы у него никогда не приобретали автономного звучания, а всегда сопрягались с философскими раздумьями в широком смысле, с проблемами социальными, этическими, воспитательными. Развивая мысль Дидро о том, что красота в искусстве подобна истине в философии, он придерживался твёрдого убеждения в том, что доминирующим направлением в развитии мирового искусства было, есть и будет реалистическое. При этом реализм он понимал как извечное стремление человека к самопознанию и совершенствованию своей природы и общества. Отсюда его презрительно насмешливое отношение и к плоскому

эмпиризму как проявлению бездуховности в искусстве и к ложной многозначительности модернизма как болезненного отклонения от нормального видения мира.

Впоследствии на этой почве он не однажды вступал в схватку на страницах «Литературной газеты» с Дымшицем и другими защитниками плюрализма в искусстве. Вероятно, некоторые его полемические заострения кажутся теперь крайностями, но и сейчас вспоминаешь их с удовольствием, настолько они насыщены глубокими мыслями, остроумны, переливаются стилистическими красками. Перечитайте хотя бы его «Феноменологию консервной банки».

Эрудиция его была поразительной. Без всяких усилий он извлекал из необозримых кладовых своей памяти примеры из самых разных эпох в мировой культуре. Цитировал Аристотеля, Спинозу, Вольтера, Дидро, Канта, Гегеля, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Луначарского и уж, конечно, досконально знал труды Маркса, Энгельса и Ленина. Я, однако, не помню ни одного случая, когда бы он ссылался на Сталина. Внешне его лекции выглядели так: в аудитории, рассчитанной где-то на полсотни студентов (отделение было невелико), Михаил Александрович вначале перебирает за трибуной какие-то листочки, собираясь с мыслями, затем отодвигает их, чему-то улыбается и начинает либо с шутки, либо с какого-нибудь случая, на первый взгляд не имеющего отношения к теме. Все заинтригованы, и вдруг, как щелчок – контакт с предметом лекции найден. Речь его льётся непринуждённо, не лекция, а беседа с друзьями, иногда она прерывается анекдотом, и он весело смеётся вместе с нами, а сам между тем плетёт сложнейший интеллектуальный узор, в котором мы чувствуем себя, как в волшебном лабиринте, ожидая за каждым новым изгибом мысли чуда.

Разумеется, времени по расписанию ему никогда не хватало, и он приглашал желающих дослушать лекцию в вечернее время. Бывало, приходишь, а уже ни одного свободного места, потому что, кроме нашего отделения, в аудитории собрались студенты-филологи, историки, философы и почти всегда гости со стороны, москвичи, наслышанные о его лекциях, среди них почти всегда высокая черноокая, красивая женщина в ярком платье – жена и друг Михаила Александровича. Продолжение лекции обычно растягивалось ещё на два-три часа. Обессиленные физически, но радостно возбуждённые мы уезжали на другой конец города.

Ифлийцам грех было жаловаться на подбор преподавателей. Курс античной литературы читал Радциг, эпохи Возрождения – Пинский, XVII–XVIII века – Гриб, русской литературы XIX в. – Гудзий, теории литературы – Поспелов, истории искусства – Алпатов, Лазарев, Кеменов, Колпинский – почти все будущие авторы крупных исследований, учебников, доктора наук и академики. Но даже на этом фоне Михаил Александрович возвышался на целую голову. Однако держался он на редкость скромно, просто, естественно и доброжелательно. Вскоре у меня как у студента установились с ним добрые личные отношения. Он, конечно, обратил внимание на то, с каким восхищением я впитывал в себя его лекции и как старательно готовился к его семинарам. К окончанию мной института он был одним из тех, кто рекомендовал меня в аспирантуру. Последний раз я видал его на вступительном экзамене по западноевропейскому искусству. Михаил Александрович был председателем приёмной комиссии, Алпатов и Лазарев – её членами. Мне предложили довольно трудный вопрос о живописи Энгра и судьбе академизма в западноевропейском искусстве XIX века. Готовясь к ответу, я вспомнил одну из лекций Михаила Александровича, в которой он рассказывал о саморазвитии однажды открытой художественной формы в искусстве. Тотчас в голове сложился план ответа, примеры и факты напрашивались сами. Слушая ответ, Михаил Александрович чуть заметно улыбался и одобрительно кивал. Оценка – «отлично». Я в аспирантуре! Сколько надежд и планов! Но... Первого сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу, и нас, аспирантов, в октябре призвали на военную службу. А дальше война и крутой поворот в моей жизни после неё...

Разумеется, как учитель и вузовский преподаватель я не раз обращался к работам М.А. Лифшица. И вот неожиданно новая встреча с неизвестной мне до этого его статьёй. Как я узнаю в ней его эрудицию, масштабность мышления, стиль! И как злободневно звучит сейчас, через четверть века после написания этой статьи, его оценка возвышенной нравственной позиции Ленина в свете тех наскоков на ленинизм, какие встречаются в современных публикациях.

Операции "Багратион"

У каждого участника войны она оставила в памяти свои зарубки. И печальные, и радостные, и трагические, и победные. Для меня такими отметинами стали: первый день войны и то потрясение, какое вызвало в душе каждого советского человека вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз; неожиданное отступление Красной Армии, которую мы все считали непобедимой; первая наша победа в декабре 1941 г. под Москвой; Сталинград; битва на Курской дуге, операция "Багратион" и День Победы. Перечисляю, только те события, в которых участвовал сам как военный корреспондент или переживал вместе со всем народом.

Особенно запомнился разгром немецкой группировки в июне 1944 г. в районе Бобруйска. Мы направились в Бобруйск на одной из своих редакционных машин сразу же после освобождения города. Проехать было нелегко: все подъезды к городу завалены разбитыми немецкими танками, машинами, пушками – результат "работы" штурмовиков Ил-2 нашей 16-й воздушной армии. Время от времени и сейчас они проносятся с ревом на бреющем полете на запад, и где-то далеко впереди глухо бухают взрывы. По бокам густые леса. Кое-как лесными дорогами, продираясь через завалы, подъезжаем к реке Березине. В истории она известна, в частности, тем, что именно здесь бежавший зимой 1812 г. из России Наполеон едва не попал в плен. Бросаются в глаза две полузатопленные платформы с немецкими зенитками, а на них в разных позах мертвые немцы. Над водой возвышается несколько спин в серо-зеленых мундирах. Жарко, и тела начинают чернеть и разбухать. Справа на берегу сотни голых людей под конвоем наших солдат. Спрашиваю одного паренька:

- Кто такие?

- Немцев купаем, – весело отвечает он.

Въезжаем по понтону в город. Едва нашли на берегу дом для редакции, как ко мне подходят несколько наших солдат.

- Товарищ капитан, там немцы что-то кричат.

- Где?

- Пойдёмте.

Спускаемся к берегу. Здесь на приколе несколько рыбачьих лодок, а на другой стороне два немецких солдата машут руками и что-то кричат. Я тут же приказал нашим солдатам приготовить на всякий случай оружие и перевезти немцев на

наш берег. Через несколько минут перед нами предстали двое небритых, исхудавших и грязных немецких солдат где-то около сорока лет. Обрадовавшись, что я понимаю немецкий, оба начали наперебой рассказывать о том, как всю ночь они прятались в лесах, а утром не смогли сдаться в плен, так как боялись власовцев, пригрозивших им расстрелом. Только позже, когда власовцы уходили в леса, им удалось бежать. Рассказали и о том, что некоторые из власовцев заранее запаслись нашей военной формой, переделались и теперь подкарауливают наших на дорогах. Оба попросили взять их в плен. Я вырвал из блокнота листок, написал на нем карандашом покрупнее: «В комендатуру», посоветовал им держать этот листок перед собой и искать коменданта самостоятельно.

В Бобруйске мы не задержались. Уже утром следующего дня наша полуполторка выехала из города. Редактор задержался по делам и предупредил нас, чтобы были настороже, так как в лесах полно власовцев. Едем. Как нарочно, на дороге ни души. И вот через два-три километра впереди на обочине замаячили три фигуры. Издали не разберешь, свои или немцы, вооружены или нет. Я – рядом с шофером, начальник типографии и наборщик – в кузове.

У меня наган, у шофера – пистолет, у них – карабин. Решаем не останавливаться и на всякий случай приготовить оружие. Шофер прибавил газ. Теперь уже хорошо видно, что голосующие в нашей форме и вооружены, но автоматы у них за спиной. Поняв, что мы не остановимся, один из них погрозил нам кулаком. За машиной шлейф пыли. Ждем, не пульнут ли нам в спину из автомата. Проходит несколько томительных секунд... Нет. Значит, наши? Но почему одни и в этом глухом месте?

Вскоре мы догнали какую-то часть с пушками, кухней, машинами и смешались с потоком, двигавшимся на запад.

Первый пленный

Начало сентября сорок первого года. Уже третий месяц идёт война, и сводки с фронтов становятся все тревожнее. Наша дивизия дальних бомбардировщиков все ещё в Курске, хотя немцы неумолимо приближаются к городу. О наших потерях и о пленных в сводках Совинформбюро умалчивается, однако летчики дивизии и легко раненные пехотинцы из тех, что я встречаю на дорогах, рассказывают правду, от которой

сжимается сердце. Да и из сводок, упоминающих о тяжелых боях советских войск в окружении, можно о многом догадаться. Наконец, кое-кто из связистов тайком слушает немецкое и английское радио на русском языке, подтверждающее, что немцы угоняют на запад тысячи наших военнопленных.

В голове теснятся все те же мучительные вопросы: как могло такое случиться после стольких хвalebных заверений в непобедимости Красной Армии, кто виноват в наших неудачах и когда же мы, наконец, остановим эту танковую лавину фашистов? Зародившаяся было после выступления Сталина третьего июля надежда на поворот к лучшему тает с каждой неделей, а немцы все больше рисуются в моем воображении как некие таинственные и жестокие существа, наделенные сверхчеловеческим могуществом, освященным черной злоеющей свастикой.

Стараюсь осмыслить, что же произошло в Германии за какой-то десяток лет? Немцев я встречал в своей жизни с детства и ничего таинственного, мрачного, злоеющего в них не замечал: люди как люди. Иногда даже смешные и жалкие. Начиная с пятого класса, немецкий язык в нашей семилетке преподавала немка, которая вышла замуж за советского инженера, побывавшего в Германии в командировке. По-русски она говорила ужасно и вдобавок не имела никакой педагогической подготовки. Поэтому на ее уроках мальчишки творили все, что им заблагорассудится: громко разговаривали между собой, дрались, прятались под партами и оттуда по-кошачьи мяукали, хлопали крышками, выходили без разрешения из класса прогуляться. Маленькая, худая и нервная учительница, войдя в класс, долго молча созерцала этот базар, а затем, подняв над головой учебник, изо всех сил опускала его на стол. Раздавалось нечто похожее на выстрел из малокалиберного пистолета – все на мгновение затихало, и она, сильно картавя, торжественно произносила вступительную фразу: «Kinder, nehmt eure Bucher heraus!» («Дети, приготовьте ваши учебники!»).

Я отличался прилежанием, она это заметила и начала приглашать меня и еще трех самых способных к языку учеников к себе домой для дополнительных занятий. Спасибо ей за это! Впоследствии знание немецкого мне в жизни пригодилось.

Вместе со мной с пятого до седьмого класса учился мальчик-немец Паульс с русской фамилией Попов. Несмотря на

свои способности, он почему-то был переростком, года на два старше меня. Рослый, красивый, белокурый парень, который в седьмом классе одевался уже по-взрослому, вечерами повязывал к костюму галстук и прогуливался в парке с прелестной девушкой-немочкой, этаким розовым воздушным существом в пышном светлом платье, что представлялось мне самому недостижимой мечтой. Как это ни странно, мы с Паулем сдружились, он бывал у нас, мы отдыхали в нашем большом вишневом саду и купались в речушке неподалеку. Моя мама просила его говорить со мной только по-немецки, и Пауль выполнял ее просьбу, поправляя со снисходительной усмешкой мои неуклюжие немецкие фразы. После школы его вскоре призвали в армию, затем он поступил в летное училище, но дальнейшая его судьба мне была неизвестна.

Как-то я спросил мать: откуда в нашем небольшом украинском городке столько немцев? И она мне ответила:

- А раньше в наших степях было много немецких колоний. Земля у нас плодородная, вот немцы тут и селились. После революции большинство колонистов вернулось в Германию, а некоторые так и остались в хуторах или перебрались в город.

О немцах-колонистах мать говорила уважительно: работающие, чистоплотные, хорошо платили батракам. И у нас, и в доме моей тётки, жившей через дорогу, на комодах стояли красивые гляцевитые цветные картинки, на которых аккуратные бауэры и их упитанные, розовощекие фрау трудились на грядках, прогуливали детишек или танцевали в праздничный день на зеленой лужайке, взявшись за руки.

Мирные семейные, немного сентиментальные сценки... И вот теперь грозные солдаты в касках, сожжённые деревни, ненависть ко всему русскому, издевательства над пленными, расстрелы безвинных... Что случилось с целой нацией, литературу которой я так полюбил, обучаясь в ИФЛИ?

Частично какую-то ясность и успокоение в наши души вносили большие, на всю газетную полосу, обзоры исторических судеб России и Германии Алексея Толстого и короткие, едкие фельетоны Ильи Эренбурга, печатаемые в «Правде». Раздобыв очередной её номер, я, как и многие, прежде всего, ищу на второй полосе в верхнем правом углу эту колонку Эренбурга и погружаюсь в чтение. Сколько метко подмеченных подробностей из быта немецких офицеров и солдат!

Сколько остроумия, беспощадной сатиры, презрения к захватчикам!

С его легкой руки насмешливое «фриц» становится в нашей армии кличкой того самого грозного тевтонца в каске, арийца и сверхчеловека, который на поверку оказывается жалкой опереточной фигурой спесивого обывателя, наряженного в военную форму и уверовавшего в своё несокрушимое могущество.

Сатирические стрелы Эренбурга доходят и до Геббельса. Фашистское радио уже оповестило о том, что он заочно приговорен к смертной казни через повешение...

Подражая И. Эренбургу и А. Толстому, я, в то время начинающий журналист, стал печатать в своей газете публицистические статьи и антифашистские фельетоны, в которых давал выход обуревавшему меня чувству. Но все это не могло утолить жажду мести завоевателям, творившим зло на нашей земле, и еще в июле я подал комиссару дивизии рапорт с просьбой перевести меня в сухопутные войска. Мне отказали. Сейчас это стремление встретиться с врагом лицом к лицу кое-кому покажется нарочитым и неправдоподобным, но тогда, на фоне всенародной трагедии, собственная жизнь как бы растворилась в общем горе и во многом утратила свою цену. Мне страшно хотелось увидеть живого немца.

Желание моё вскоре исполнилось. В один из пасмурных сентябрьских дней я выехал на попутной грузовой машине в наш отдаленный полк. За полсотни метров до переправы через небольшую речку нас остановил солдат с красным флажком, пропускавший встречную механизированную колонну, вернее, то, что от нее осталось. Шофер съехал на обочину, взял ведро и направился к берегу, а я остался в кузове. Мимо проезжали тягачи с пушками, отдельные танки, грузовики с боеприпасами, проходили запыленные, измученные солдаты и командиры, некоторые в бинтах. Что может быть печальнее зрелища отступающей армии...

Шофёр вернулся с ведром мутной воды, поставил его около радиатора и крикнул мне:

- Старшина, хочешь посмотреть на пленного немца?
- Где? – выдохнул я.
- А там, на берегу, – махнул он в сторону реки.

Я спрыгнул из кузова и едва ли не бегом поспешил к берегу, где расположилась группа каких-то людей. Подойдя ближе, увидел немолодого нашего конвоира с винтовкой и с деся-

ток пленных румын, которых можно было сразу же узнать по их желтовато-зеленым шинелям, отличным от серовато-зеленой немецкой формы. О том, что румыны не горели желанием воевать ради немцев и при первом же удобном случае сдавались в плен, мы знали, поэтому вид сидящих на выгоревшей траве смуглых, цыганковатых и усталых мужчин не вызвал у меня никаких враждебных чувств. Но почему наш шофер сказал о пленном немце? Я уже хотел вернуться, как обратил внимание на сидевшего поодаль от румын у самой воды светловолосого худого и долговязого человека в грязной серо-зеленой куртке с нашивками ефрейтора. Немец! Да, это был он! Первый пленный фриц, какого я увидел на этой войне. И не только я. То и дело к берегу подходили наши солдаты и молча рассматривали этот живой экспонат непобедимой гитлеровской армии, стараясь понять, что же это за существо и почему мы отступаем.

Меня же самого больше всего поразило совпадение живого немца с тем образом, какой сложился в моем воображении под влиянием фельетонов Эренбурга. Несмотря на свою худобу и свой затрапезный вид, пленный вовсе не выглядел жалким и затравленным существом. Напротив, сидел он прямо, скорее, с гордым, чем с подавленным видом. Вероятно, за время плена он уже привык к тому, что на него сбегаются поглазеть, как на зверя в клетке, поэтому старался не замечать никого вокруг себя, а глядел как бы мимо любопытствующих, куда-то в пространство перед собой. В его водянистых глазах все же можно было уловить презрение ко всему, что его окружало, и готовность принять ожидавшую его участь. Я догадался, что это бесстрашие и высокомерие подпитывались у него видом нашей отступающей армии и убеждением в том, что его личная неудача – ничто в сравнении с победоносным шествием соотечественников.

Пора было возвращаться к своей машине, но я продолжал наблюдать пленного в надежде на то, что он все же выйдет из этого состояния презрительного безразличия и мы встретимся взглядами. Как видно, моё желание передалось и ему: он медленно повернул голову в мою сторону, на мгновение остановил на мне взгляд своих светлых, безбровых глаз, и меня обдало такой холодной, брезгливой ненавистью, что захотелось вцепиться руками в его горло. Но я подавил в себе порыв такой же ответной ненависти, а лишь злорадно усмехнулся прямо ему в лицо. Около рта немца пробежала едва заметная судоро-

га, он отвернулся и снова напустил на себя тот отрешенный и гордый вид, какой, по-видимому, усвоил за время плена.

Я подошел к конвоиру, чтобы расспросить его, как среди пленных румын оказался немец.

- Хриц! – подмигнул мне солдат, кивнув в сторону немца.
– Все время в стороне от румын держится. Брезгует...

- А как он попал в плен?

- А кто ж его знает. Мне приказали отвести в штаб армии, вот и гоню их. Предупредили, чтобы не позволял румынам бить его.

- А разве били?

- А то как же...

- Ну лёгкого пути тебе, дядя!

- Доведу, не сомневайся. Отдохнём маленько и в дорогу.

Я вернулся к машине. Колонна уже прошла, и наш шофер завел машину.

- Ну как? – встретил он меня.

Я пожал плечами:

- Ничего особенного. Немец как немец.

- Ну не скажи, – не согласился он. – Самый заправский фашист.

- Почему ты так решил?

- Да уж по всему видно...

- Я не стал возражать...

В последующие годы войны мне приходилось видеть сотни немецких пленных. Особенно много их было в Белоруссии летом и осенью 1944 года. В памяти они отложились какой-то сплошной серой толпой без отдельных лиц, массой, не вызывавшей во мне ни ненависти, ни мстительного злорадства. Но того, первого, я не забуду до конца своих дней...

В первые послевоенные годы судьба подарила мне возможность несколько раз встретиться с Ильей Григорьевичем. Обычно это происходило во время дипломатических приемов в Обществе культурных связей с заграницей, на которые неизменно приглашали Эренбурга. К тому времени он заметно состарился. Сутулый, с седой гривой волос и тяжелыми мешками под глазами, независимый и сосредоточенный в себе, он обычно медленно передвигался по залу, выделяясь своей небрежной внешностью среди других модно одетых и ухоженных гостей. В это время уже развернулась кампания травли космополитов, уже погиб при таинственных обстоятельствах Михоэлс, и я догадывался, что мрачное настроение Ильи «Лох-

матого», как называл его в Париже до революции Ленин, было вызвано этой атмосферой подозрительности в обществе, мелких к нему придирок и неопределенности будущего. Несколько раз у меня появлялось искушение напомнить ему о том, что означали для нас в войну его фельетоны в «Правде», и рассказать о встрече с первым пленным фрицем. Но в обстановке парадной толчеи я так и не решился на это признание.

Предвоенные зарисовки

(Из воспоминаний военного журналиста)

Да, именно так пели мы до войны, убежденные в том, что сокрушить Красную Армию невозможно. И прежде всего идеологически. Но по-настоящему я узнал, что такое наша армия, лишь с осени 1939 года, когда нас, выпускников Московского института истории, философии и литературы (ИФЛИ), призвали на службу после нападения гитлеровской Германии на Польшу. Как специалистов с высшим образованием нас решили сделать связистами. И вот мы в Брянске, в пятом полку связи. Командовал им полковник Сельков, личность по-своему примечательная. Немолодой, седеющий, но стройный и подтянутый, он уже самым внешним видом как бы призывал равняться на эталон военного. В нём как-то естественно уживались строгая требовательность с отеческим благодушием по отношению к новобранцам, приправленным чувством юмора. Бывало, заметит, как в центре города какой-нибудь солдатик, получивший увольнительную, размечтается, идя с девушкой под руку. И на очередном собрании роты или батальона, не называя фамилию, начинает:

- Идут двое, взявшись этак кренделем под руки, у него на лице блаженная улыбка, воротник шинели расстегнут, ремень сбился на сторону, шапка съехала на ухо... И это боец Красной Армии!

За нашим внешним видом следили строго, хотя обмундирование рядового, по нынешним понятиям, было более чем скромным: шинель из грубого сукна, на голове будённовка, на ногах – ботинки с обмотками. Ох, и доставалось нам в первые недели из-за этих обмоток! Как ни стараешься стянуть их на ногах потуже, чувствуешь, как в строю одна уже начинает разматываться. Сзади ребята кричат: «Змея!». Это означает, что обмотку уже топчут на земле, и надо просить разрешения выйти из шеренги. Как мы мечтали о сапогах и портянках!

С первых же дней нас начали закаливать. Утром, вскочив с двухъярусных нар по команде «Подъём!», быстро натягиваешь брюки-полугалифе и, несмотря на мороз, в нижней рубашке – во двор. Ну, думаешь, воспаление легких обеспечено. Ничего подобного! Пробежка, зарядка, длинный, на весь взвод умывальник, заправка постели и команда на завтрак. Все это по минутам. И никакой простуды.

В огромном зале на столах хлеб, винегрет, гречневая или пшённая каша, иногда с кусочками мяса, кружки с чаем. Не густо, но после студенческих лет терпимо.

Дальше политбеседа и боевая подготовка. На ней сказывались те же противоречия, которые были свойственны всей довоенной жизни советских людей. С одной стороны, строгая уставная дисциплина, насыщенные военные занятия, физическая закалка. С другой – отставание в техническом оснащении и вооружении от немецкой и других армий. Над Красной Армией витал романтический ореол Гражданской войны, главные надежды возлагались на винтовку и штык, а едва ли не самым важным в полевом обучении считалось преодоление полосы препятствий: бег, в том числе по бревну, передвижение по-пластунски, прыжок через яму с песком, поражение соломенных «противников» прикладом и штыком. На полигоне – стрельба из стареньких винтовок. О существовании автоматов мы между собой говорили как о легенде. Главное средство передвижения – ноги. А в это время немецкая армия уже была посажена на машины, и в следующем, 1940 году, гитлеровские автоматчики на мотоциклах молниеносно занимали позиции бельгийцев и французов.

То же можно сказать и о средствах связи. Мы усердно изучали полевой телефон и аппарат Морзе, а в западных армиях уже широко использовалось радио. Намучились мы с этими катушками проводов на спине и телефонными ящичками в руках... Чем обернулось для нас это отставание, известно. Достаточно было гитлеровским диверсантам в июне 1941 года обрезать провода полевых телефонов и телеграфа, как наши командиры оказались без связи, а войска – без управления.

Но самым серьезным испытанием для нашей веры в могущество и мудрость Красной Армии оказались политзанятия.

Священные рептилии

Проводил их в чистенькой и светлой комнате – «красном уголке» роты – рослый и грубоватый по виду парень с тремя кубиками в петлицах и со звездочками на рукавах гимнастерки. Одна из первых тем «Священные реликвии полка». Хранились они в штабе, в особой комнате, где постоянно находился часовой. Каждое выступление перед ротой политруку дается с трудом: не хватает нужных слов, подводят ударения и слова иноязычного происхождения, для связки и передышки он часто вставляет слово-сорняк «понимаешь», а трудный для себя термин «реликвии» как-то незаметно подменяет «рептилиями», очевидно полагая, что это примерно одно и то же.

- Каждому бойцу, который, понимаешь, заступает на дежурство в этой комнате, – торжественно объясняет он, – надо помнить, что охраняет он не что-нибудь, а священные рептилии полка.

- Как это понимать? А так: знамя полка – раз, переходящий сюрприз – два.

- Речь идет о переходящем призе – каком-то кубке, полученном полком за спортивные успехи и хранящемся в шкафу под стеклом.

- Поэтому надо глядеть в оба, – продолжает политрук, – и носом, понимаешь, не клевать. А то ты задремал, а враг в это время подкрался и выкрал полковое знамя. Это как? Подсудное, понимаешь, дело...

Я незаметно посматриваю на своих друзей-ифлийцев, совсем недавно слушавших лекции известных московских профессоров. Из опасения прослыть снобами, которые кичатся своим образованием, никто из них не решается поправить парня со звездочками на рукавах, но на всех лицах проглядывает веселое недоумение и ожидание новых словесных находок. Только Володя Архипов, уже немолодой аспирант-филолог, популярный в ИФЛИ насмешник и спорщик, одобрительно кивает в такт каждому предложению политрука и изображает на своей вольтеровской физиономии что-то вроде просветления и даже умиления. Поэтому парень со звездочками чаще всего обращается к нему. Почему-то мне на память приходит роман Гашека «Похождения бравого солдата Швейка», а именно то место, где полковой священник, фельдкурат Отто Кац выступает с проповедью перед солдатами-арестантами в подштанниках. Стараясь удержаться от смеха, я зажимаю рот ладонью, начинаю фыркать, имитировать ка-

шель и привлекаю к себе общее внимание. У политрука превосходная память, он уже запомнил мою фамилию и, прервав речь, недовольно командует:

- Боец Хмарский! Встать!

Я вскакиваю.

- Вы это что? Простудились или как?

- Простудился, товарищ старший политрук.

- Так сбегайте в медсанчасть.

- Разрешите?

- Разрешаю.

Я чуть ли не бегом выскакиваю из красного уголка и тут уж даю себе волю. Смешливость, которой наградил меня господь, подводила меня в молодости не раз и прошла лишь с годами.

Я долго не мог понять, специально ли кто-то из политотдела полка закрепил за ифлийцами именно этого полуграмотного парня или произошло это по чьему-то недомыслию. Потом все же пришел к убеждению – специально! В армии на отношении к призывникам-интеллигентам сказывались как общая идеологическая ориентация ВКП(б) на рабочий класс, так и учение о "двойственной природе" интеллигенции, к которой полагалось относиться с подозрением. Кто-то решил поставить бывших студентов на место, чтобы не слишком заносились и, так сказать, «подтянулись» до общего уровня.

Впоследствии, в том числе в годы войны, мне встречались среди политработников образованные и умные люди, но в массе своей их подготовка была все же слабой. В училища отбирали строго по анкетам, по пролетарскому происхождению. Большинство из них в годы войны выдержало главный экзамен, проявив и патриотические чувства, и самоотверженность, и героизм, и все же как много мы потеряли в духовном развитии общества от недоверия к интеллигенции. В подборе руководителей постепенно начал действовать закон конкурентной борьбы. Пробравшийся наверх малокультурный товарищ старался подобрать себе в штат таких же, опасаясь образованных и умных, способных к тому же к разного рода «завиральным» мыслям. Когда уже после войны я слушал выступления Хрущева, Брежнева или таких деятелей, как Кириленко, Подгорный и другие, с их косноязычием, ошибками в ударениях, привязанностью к бумажкам, я часто вспоминал нашего политрука роты.

Месть «Феклуше»

В Красной Армии не знали слова «дедовщина». Пусть бы кто из старых солдат или сержантов потребовал от новобранца, чтобы тот почистил ему сапоги! Пусть бы кто из них поднял на «салагу» руку! Со своих должностей наверняка бы полетели и командир взвода, и командир роты. Но вот упомянутое мной настороженное и предвзятое отношение к новобранцам-интеллигентам чувствовалось не только со стороны политработников, но и младшего комсостава.

Помощником командира нашего взвода ифлийцев был старший сержант сверхсрочной службы, которого мы сразу же окрестили «Феклушей». И в самом деле, в его грузной фигуре и дряблом лице проглядывало что-то бабье. Физически «Феклуша» был, однако, силен, натренирован и ловок, а требовательностью отличался строжайшей. Заметит крохотные точечки ржавчины на стволе или в затворе винтовки – получай наряд вне очереди. Не сумел уложиться в двадцать секунд, отведенных для «взятия полосы», беги заново, пока, обессиленный, не свалишься в снег. Формально он был прав, но действовал как бездушный механизм, не считаясь с возможностями слабых, рассеянных, неуклюжих. Более того, тайно он находил особое удовольствие в том, чтобы унижать язвительными репликами и насмешками эту категорию новобранцев. Особенно доставалось нашему Борису, начитанному, умному и остроумному ифлийцу, которого мы все любили. Обычно на злополучной «полосе» у него хватало силы добежать только до ямы с песком, после чего он покорно падал туда вместе с винтовкой и отлеживался. Были у него проблемы и с координацией взмахов рук при ходьбе – хотелось поднимать обе синхронно.

И вот после очередной порции выговоров и насмешек со стороны «Феклуши» Борис придумал оригинальный способ мести. Как только рота вышла строем из военного городка, направляясь в баню, «Феклуша» приказал:

- Запевай!

Архипов тут же с простецким видом спросил:

- Походную аль лерическую?

Под «лерической» подразумевалось что-нибудь вроде «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля».

- Разговорчики в строю! – строго оборвал его старший сержант, но тут же уточнил:

- Походную!

Голосистый боец из первой шеренги начинает: «По долинам и по взгорьям...» Рота подхватывает. Как и положено, все идут в ногу, громыхая ботинками по мостовой. И тут шагающий где-то в средней шеренге Борька негромким тенорком подключается: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Рота немедленно сбивается с ноги. Изумленный «Феклуша» гневно командует:

- Рота, стой! Раз, два! И не ше-ве-лись! Это что ещё за козий топот? На месте шагом-арш! Запевай снова!

Как только строй наладился и рота двинулась дальше, Борька снова затянул свое. На этот раз: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». В роте замешательство. Старший сержант настороженно вслушивается в какие-то посторонние звуки и подозрительно всматривается в ряды.

- Левоу, левоу! – покpикивает он, стараясь выправить шаг.

- «Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид», – всё так же негромко выводит Борька, и рота снова сбивается с ноги. «Феклуша» вспотел от стыда и напряжения. На тротуарах прохожие останавливаются, чтобы полюбоваться строем, а тут такой конфуз.

- Левоу, левоу! – уже вопит он, красный и гневный, а Борька в ответ: «Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль..!»

Рота окончательно сбивается с ноги, и «Феклуша» сдаётся.

- Отставить песню! Идти вольным шагом!

Ухмыляясь щербатым ртом, Борька довольно потирает руки: отомстил!

Дружба

Еще до призыва мне приходилось читать и слышать об армейской дружбе, но только в Брянске я понял, что это значит. Конечно, здесь сказывается и психологический фактор. Паренек-призывник вдруг лишается привычной для него среды: семьи, друзей, знакомых и попадает в совершенно новый для него коллектив с его суровыми правилами, обязанностями, ограничениями и запретами. Естественно, он тянется к тому, кто, как и он, испытывает чувство тоски по дому и потребность в общении. Мы же были из одного института, нас связывали общие знакомые, интересы, воспоминания. Поэтому в Брянске ифлийцы очень быстро сплотились.

До призыва я дружил с театроведом Аркадием Анастасьевым, с историком Николаем Тузом, литератором Борисом Эпштейном; других знал по выступлениям на комсомольских собраниях, вечерах, по спортзалу, стенгазете и т.д. Теперь я словно заново открывал для себя каждого из них и открывал с лучшей стороны. Особенно добрые отношения у меня сложились с Толей Абрамовым, литературоведом и поэтом, который уже тогда начал печататься в газетах.

Но, пожалуй, самые дружеские отношения у меня сложились с Васей Терёхиным, очень внешне неброским, молчаливым и скромным пареньком, которого в институте я совсем не знал. Зимой 1940 года, когда уже развернулась Финская кампания и мы со дня на день ждали отправления на фронт, большую часть ифлийцев направили на краткосрочные курсы политработников, а мы с Васей так и остались связистами. Вот тогда-то он и открыл мне свою тайну, которую бережно хранил до этого. То была его давнишняя любовь к ифлийской красавице, по которой вздыхали многие парни литературного факультета, – Лие Канторович. Девушка была действительно поразительно хороша собой: небольшого роста, стройная, с копной каштановых волос и смелым взглядом прекрасных серых глаз, перед которым сникали самые завзятые донжуаны и острословы нашего знаменитого уже в те годы института, богатого на одарённых студентов. Некрасивый и несмелый Вася терялся среди этих поклонников; скорее всего Лия попросту его не замечала. Любовь его выражалась в том, что он посвящал ей стихи, которые записывал в особую тетрадь, а при первой возможности сопровождал девушку на расстоянии, когда она уезжала с подругами или друзьями на трамвае из Ростokino домой.

Обо всем этом Вася постепенно рассказал мне в часы, свободные от занятий. И, разумеется, читал свои стихи. Мне показалось, что они слабее того высокого чувства, какое он испытывал к этой девушке. Высокого в полном смысле, так как сам Вася понимал, что оно безответно и что ему никогда не суждено быть счастливым в этой единственной на всю жизнь любви.

Судьба и Васи, и Лии сложилась трагично. Уже во время войны кто-то из ифлийцев мне рассказал о том, что в первые же дни вторжения немецких войск Лия добровольно ушла на фронт политработником, а во время одной из атак, когда бойцы залегли под огнем фашистов, одной из первых поднялась

во весь рост и тут же упала... Не знаю подробностей, не помню, где это было, допускаю, что есть в этой истории что-то романтическое и легендарное, но больше я нигде её фамилии не встречал.

С Васей мы расстались в январе 1941 г., когда меня, старшего сержанта, направили помощником командира взвода в авиационную дивизию в Курск, а его куда-то на Украину. С началом войны мы потеряли друг друга из вида. При каждом подходящем случае я расспрашивал знакомых, что им известно о Васе, и вот осенью 1943 года один офицер-связист рассказал мне, как он погиб. Работал в хате, оборудованной под узел связи, на аппарате Морзе довольно далеко от передовой, и в неё угодила шальной снаряд, выпущенный, как видно, наугад в сторону штаба армии...

А с Анатолием Абрамовым мы сейчас переписываемся. Он профессор кафедры советской литературы Воронежского университета, автор нескольких трудов, в том числе известной у нас и за рубежом книги о поэзии Великой Отечественной войны.

Пусть только сунутся...

Курск. Зимнее утро 1941 года. Ещё темно. Мы, сержанты и солдаты, по команде старшины выбегаем из казармы в нижних рубашках и брюках и спускаемся по мерзлой дороге к мосту через реку Сейм, а оттуда бегом же возвращаемся на курскую гору. От нас валит пар. После начала «незнаменитой» Финской войны у нас ввели более суровые требования, и мы чаще, чем до этого, проводим учения, прыгаем во дворе через деревянного коня, бегаем с катушками проводов, стреляем из старых винтовок со сбитыми прицелами. В мае Ворошилова на посту наркома обороны сменил Тимошенко. В красном уголке уже висит его портрет.

В Курске ко мне как-то незаметно прибился сержант – одессит из штабных, который иногда заговаривает со мной на рискованные темы. Я предельно осторожен и при каждом удобном случае хвалю наш казарменный быт, распорядительность начальства и мудрость Политбюро. Он только хитренько улыбается в ответ и часто повторяет своим одесским говорком загадочные для меня слова: «Шоб да, так нет». Вот и сейчас, подойдя ко мне и посматривая на каменные черты наркомовского лица, он говорит:

- Так у нас же новый нарком. Судя по такой физиономии, хорошего ждать не приходится.

- Что ты имеешь в виду?

- А ты присмотришься...

- Внешний вид бывает обманчив, – уклончиво отвечаю я.

И тебя несколько не удивляет, как могли назначить на такой пост человека, который вместе с Ворошиловым провалил Финскую кампанию? Ведь это он как командующий Ленинградским военным округом разрабатывал план наступления на Карельском перешейке.

- Как бы там ни было, но финнам пришлось подписать наши условия.

- Да, но какой ценой!

- Не вздумай заговорить об этом с кем-нибудь еще... – строго предупредил я его.

- Шоб да, так нет. Слава богу, я еще не сошёл с ума.

Новому наркому полагалась в его честь и новая песня. Видимо, по заказу Политуправления РККА, в Союзе композиторов её спешно сочинили, и произведение это тут же было разослано по воинским частям с предписанием разучить и исполнять. Мы занимаемся этим в своей просторной казарме, вышагивая на месте.

И слова, и музыка трудно перевариваются: первую строчку «Едет, едет Тимошенко на коне» надо произнести скороговоркой, что никак не согласуется со строевым шагом. Политрук роты, смуглый с косинкой молодой человек, как тогда говорили, «из нацменов», беспомощно топчется вместе с нами на месте, по-дирижёрски машет руками и совершенно дурным голосом пытается совладать с мелодией. У парня никакого намека на музыкальный слух, и мы тоже тянем, кто в лес, кто по дрова. Командир роты, уже немолодой капитан, вслушивается в сторонке с серьезным лицом в этот рев и после двухдневных бесплодных попыток разучить песню решительным голосом отдает команду:

- Прекратить эту хреновину!

Еще зимой политрук однажды убедился в том, что я могу проводить утреннюю информацию о текущих делах вместо него, и с тех пор стал частенько под разными предлогами пользоваться этой возможностью. Для меня прямая выгода: могу готовиться в библиотеке, просматривать свежие газеты и журналы. А события в мире развертываются нешуточные: оккупировав половину Европы, немцы бомбят английские горо-

да, готовят вторжение на острова, воюют в Африке, пиратствуют на морях. Мы строго придерживаемся советско-германского договора, всячески демонстрируем свою лояльность по отношению к Гитлеру, время от времени поругиваем «политических картежников», пытавшихся «таскать каштаны из огня чужими руками», намекая на английских и французских политиков. Я показываю солдатам на большой карте, что и где происходит на Западе, а вот где находятся немецкие войска на Востоке и сколько их, не знаю сам. Таких сведений в печати нет. На лицах солдат напряжённое внимание, иногда раздаются возгласы не то удивления, не то восхищения перед немецким блицкригом. Много вопросов. В том числе и главный: а не нарушит ли Гитлер советско-германский договор 1939 года?

Я в духе нашей официальной пропаганды успокаиваю: такого не может быть. Только сумасшедший может отважиться воевать на два фронта. Верю в это и сам. Втайне надеюсь, что немцы, в конце концов, на Западе выдохнутся, а мы за это время окрепнем и будем диктовать им свои условия. Как и многих, меня покоряет дальновидность и хитрость Сталина. Как ловко он и Молотов оставили в дураках этих «политических картежников» и обвели вокруг пальца нахала Гитлера.

Благодаря политинформациям моя служба стала вольготнее и появилась возможность чаще бывать в городе, более того – ходить в Курский драмтеатр. В областной газете стали появляться мои рецензии на спектакли. Заведующая отделом культуры «Курской правды», милая, интеллигентная женщина, начала знакомить меня со своими авторами, среди которых были и преподаватели педагогического института. Однажды меня пригласили в гости, где собрался кружок местной интеллигенции, и по некоторым намекам я понял, что кое-кто из профессоров пединститута – москвичи, которые оказались в Курске не по своей воле...

В конце мая 1941 г. меня неожиданно вызвали в военный городок летчиков, который был выстроен рядом с аэродромом в восьми километрах от Курска. Там комиссар дивизии с ромбами в петлицах, историк по образованию, объявил мне, что отныне я зачислен в штат редакции дивизионной газеты. Позже я узнал, что виной тому были мои статьи в «Курской правде» и ходатайство редактора дивизионной газеты Г.И. Каца. С тех пор началась наша дружба с Григорием Иосифовичем, которая длится и поныне. Мы понимали друг

друга с полуслова, и работалось с ним в охотку. Начались мои корреспондентские поездки по авиационным полкам в Щигры, Обоянь, Фатеж. Как и все молодые люди тех лет, я был влюблен в нашу авиацию, и вот теперь получил возможность беседовать с летчиками, наблюдать за их тренировочными полетами, писать о них, изредка летать самому. Какое это было счастье!

Однажды работников штаба и нас, литсотрудников, комиссар пригласил на доклад начальника разведки дивизии о ходе второй мировой войны. Предупредив о том, что его информация имеет закрытый характер, высокий рыжеватый майор повесил на стене карту, исчерченную значками и цифрами, и начал перечислять номера немецких дивизий, корпусов и армий, стянутых к границам СССР.

Мы, слушатели, с изумлением и тревогой посматривали друг на друга, с трудом веря своим глазам и ушам. Не розыгрыш ли это, не шутка? Как же так? Немцы, можно сказать, в открытую наращивают у нас под боком огромные силы, а наше Совинформбюро уверяет всех, что они соблюдают договор? Но где-то в душе затеплилась надежда: если нашли возможность рассказать правду нам, так, значит, Он об этом давно уже знает. Знает и помалкивает, потому что тут скрыт какой-то тонкий военный расчёт. Скорее всего, готовится мощный предупредительный удар, после которого от гитлеровских армий и дивизий только клочья полетят. Какое все же это счастье, что наше государство возглавляет в эту сложнейшую историческую эпоху такой гений! Он все знает, всё предусмотрел, всё подготовил. Пусть только сунутся, мы им покажем...

У истоков литобъединения «Черемшан»

Двадцать два года своей жизни я проработал в Мелекес-се. Сначала учителем мужской средней школы № 8, после директором средней школы № 3 в новом городе, затем деканом филологического факультета педагогического института и, наконец, его последним ректором. Все эти годы я продолжал заниматься журналистикой, к которой приобщился в годы войны (был корреспондентом фронтовых авиационных газет), и начал пробовать себя в литературном творчестве. Мелекесские друзья-журналисты и молодые писатели доверили мне

руководство литературной группой, которая впоследствии превратилась в литературное объединение «Черемшан».

Некоторые из моих знакомых иногда спрашивают: как случилось, что я, столичный житель и дипломат, заведовавший после войны американским отделом Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, оказался осенью 1949 г. в небольшом провинциальном городке Мелекесе?

...Лето 1948 года. Здание ЦК ВКП(б) на Старой площади в Москве. Просторный кабинет председателя Комиссии партийного контроля. За длинным столом какие-то люди. Среди штатских костюмов успеваю заметить военный китель полковника НКВД. Сам хозяин кабинета М.Ф. Шкирятов прохаживается по ковровой дорожке со стаканом чая в руке. Как видно, устал заседать. Вид болезненный, на худом лице проступает нездоровая желтизна...

Попаю в этот кабинет по своей неразумной воле, пытаюсь добиться справедливости в своём «персональном деле». Это уже четвёртая и последняя инстанция, к которой я обращаюсь. Обвинение грозное: злонамеренная отправка в США ценного советского медицинского препарата, причинившая ущерб интересам СССР! Масштабы-то какие!

На самом деле никакого ущерба государству наш американский отдел не причинял, эта история раздута искусственно с целью нагнетания политической напряжённости. Суть же дела такова: по просьбе американского биолога Ваксмана, изобретателя пенициллина, наш отдел отправил ему образец препарата против дифтерии под названием «эритрин». В одном из наших медицинских журналов препарат был описан и не представлял ничего секретного...

- Докладывайте, что там у вас? – приглашает Шкирятов, прихлёбывая из стакана.

- Прошу дать мне возможность искупить свою вину на любом участке трудового фронта.

- Вот что, молодой человек, – сочувственно обращается хозяин кабинета ко мне, – поезжайте-ка вы куда-нибудь подалее от Москвы, поработайте в гуще народа, докажите делами свою преданность...

Через день или два зашёл в отдел кадров министерства просвещения на Чистых прудах, чтобы узнать, нельзя ли мне, исключённому из партии, получить работу учителя где-нибудь на периферии. Выпытав, за что меня исключили, кадровичка,

уже увядшая женщина, украшенная жёлтыми, как ореховые стружки, кудряшками, задумчиво произнесла:

- Знаете, сейчас у нас вакансий словесников нет...

Потом была попытка восстановиться в аспирантуру ИФЛИ, но после нескольких унижительных визитов мои документы исчезли бесследно...

К счастью, все эти месяцы рядом со мной был мой фронтовой друг Саша Дмитриев, фотокорреспондент газеты «Красная звезда». Но вскоре он уволился и уехал к своим родным в Киев. И вот тогда я тоже решил пожить некоторое время у родителей своей покойной жены, воспитывающих мою пятилетнюю дочь. Проживали они в Тамбовской области. Примерно через неделю после моего приезда меня навестил молодой человек в штатском, который осведомился о том, как долго я собираюсь гостить, и предупредил о том, что обо всех своих дальнейших передвижениях я обязан извещать одно известное учреждение...

В августе 1949 года я снова в Москве. Знакомый учитель посоветовал мне обратиться в министерство совхозов РСФСР, где, по слухам, была нужда в преподавателях. Разыскал министерство, рассказал, кто я и о чём прошу. К моему удивлению, на этот раз мне не отказали с порога. Немолодая женщина, порывшись в папке, спросила:

- Знаете такой город Мелекесс? В Ульяновской области?

- Первый раз слышу.

- Очень красивые места. Вокруг сосновые леса, речка, чистый воздух...

- Прекрасно! И что я там буду делать?

- Недалеко от этого города есть сельхозтехникум. Там нужен преподаватель русского языка.

Она тут же отпечатала мне направление и распорядилась выдать проездные и командировочные...

А ещё через несколько дней, в первых числах сентября 1949 года, я навсегда покидал с Казанского вокзала Москву. Не скрою, настроение было подавленное. Москву я любил. В ней я провёл самые счастливые в своей жизни студенческие годы. Здесь я оставлял многих своих друзей и хороших знакомых: Николая Третьякова и его сестру Марию, с которыми сдружился ещё в начале 30-х годов в Запорожье; Александра Караганова, с которым вместе прожил четыре года в студенческом общежитии на Усачёвке, а после трудился в ВОКСе;

здесь же оставалась могила моей первой жены, так обидно рано ушедшей из жизни...

Но оставляя я не только близких. Москва для меня – это и Третьяковская галерея, и Музей изобразительных искусств на Волхонке, где часто проходили семинарские и практические занятия нашего искусствоведческого отделения и где я в свободные часы любил бродить по залам в одиночестве, подолгу останавливаясь перед любимыми холстами и статуями. Рисовал я с детства (до ИФЛИ окончил художественное училище), поэтому меня интересовало всё: какой колорит предпочитает художник, где у него расположена линия горизонта на пейзажах, как он кладёт мазки... А характеры героев живописных полотен! С чем сравнить мои переживания перед «Утром стрелецкой казни» и «Боярыней Морозовой» Сурикова, перед «Запорожцами» и «Протодьяконом» Репина, «Алёнушкой» Васнецова, дивными портретами Серова! Русских пейзажистов я копировал со школьных лет по открыткам, и вот, приехав в Москву, словно загипнотизированный, изучал сантиметр за сантиметром «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Берёзовую рощу» Куинджи, «У омута» Левитана.

Поразительно, как мы успевали в те годы посмотреть самое интересное в столице: премьеры спектаклей в Большом, Художественном, Малом театрах, побывать на концертах в Большом зале консерватории, в зале Чайковского и многих других. В памяти всплывали выступления Качалова, Москвина, Тарханова, Улановой, концерты Козловского, Лемешева, Нейгауза, Рихтера, Гилельса, Ойстраха.

Простившись по-братски с провожавшим меня Колей Третьяковым и оставив чемоданчик на полке, я вышел в тамбур и, прильнув к окну, почти физически ощутил, как по мере отдаления от Москвы сжимается вокруг меня жизненное пространство. Вместе с ним сжималось и моё сердце... То ли от обид на несправедливости, обрушившиеся на мою голову; то ли от гнева на бездушных чиновников с партбилетами в карманах, готовых по приказу свыше растоптать каждого, кто почему-либо нужен был системе как жертва; то ли от дурных предчувствий, навеянных словами полковника НКВД о моём «преступлении»...

И только главного виновника своих бед я даже в мыслях обходил стороной, будучи твёрдо убеждённым исторической целесообразности того, что совершалось по его воле в стране

«Чего стоят в этих масштабах неудачи, драмы и переживания какого-то изгнанного, пусть и несправедливо, дипломатического чиновника, попавшего в жернова государственной машины, – думал я. – И разве я первый, кто оказался жертвой великого поступательного движения!»

Правда, кое-какие сомнения, вопросы и недоумения в отношении личности «отца народов» возникали у меня и в 30-е годы, и во время войны, и после неё, но великая победа над гитлеровской Германией как бы списывала все эти прегрешения... Так думал я тогда, и даже моё изгнание из Москвы не могло поколебать моей веры в идею справедливого социалистического общества. И если кто-то решил, что после всего пережитого я отрёкся от своих убеждений, уверяю: он заблуждается. Но всё пережитое, а особенно та правда, которая раскрылась после смерти Сталина, побудили меня во многом по-новому взглянуть на 70-летнюю историю своей Родины, отделив истинных коммунистов от карьеристов, чинодралов и преступников.

И вот Мелекесс... Почти такой же, каким рисовался мне все эти дни в воображении: уютно спрятанный в речной долине, среди сосновых лесов, деревянный, малолюдный, спокойный. Сам я вырос в небольшом городе и, может быть, поэтому люблю провинцию. А здесь после многолюдной и суетной Москвы с особой отрадой присматриваюсь к узорчатым наличникам окон, берёзкам около домов, к палисадникам, где уже зацвели астры и георгины. В центре города тихий пруд, вокруг которого посажены вётлы, их зелёные пряди отражаются в воде. Красиво... Бери альбом, краски и рисуй. Погожее утро, и нарядные девочки-школьницы в белых фартучках и мальчики в костюмчиках весело стучат каблучками по деревянным тротуарам.

Оставив чемодан в гостинице, отправляюсь на поиски транспорта в Рязановский совхоз, где и находится сельхозтехникум. Один из прохожих посоветовал пройти на постоянный двор где-то на окраине города, откуда можно будет на попутной машине или на подводе добраться до совхоза. Прежде чем направиться туда, решил осмотреть центр города.

На площади рядом со сквером обратил внимание на двухэтажное кирпичное здание ещё дооктябрьской кладки, на котором рядом с входной дверью виднелась вывеска: «Мелекесский городской отдел народного образования». А что если попытать счастья здесь? Городок мне понравился, зачем уез-

жать из него на поиски какого-то совхоза и техникума? С сознанием лёгкой вины за то, что обманываю министерство совхозов, поднимаюсь по старой лестнице на второй этаж и останавливаюсь перед кабинетом завгороно. Табличка извещает, что здесь обитает Тамбовцева Дарья Прокофьевна. Заходить или нет? А что если снова встречу сверхбдительную мегеру? Но простецкое имя и отчество подкупают. Э, была не была...

Открываю дверь. В просторном кабинете за столом сидит женщина средних лет с коротко стриженными не то русыми, не то выцветшими волосами. В курносом лице и твёрдом взгляде просматриваются мужские, волевые черты. Простенький костюмчик, аккуратная белая кофточка, и никакого намёка на женственность. В правой руке дымящаяся папироса. Должен признаться, что я с трудом выношу курящих женщин, и первое впечатление от заведующей гороно не в её пользу. Но отступить поздно.

- Разрешите?

- Заходите.

Голос хриловатый, не то простуженный, не то прокуренный. Позже я узнал, что в годы войны Дарья Прокофьевна работала секретарём сельского райкома партии и моталась по полям в любую погоду, так что простужалась не раз. Достают министерское направление на работу в техникум. Объясняю:

- Вот по этому направлению я приехал в Мелекесский район, но мне хочется остаться в самом городе и поработать учителем в школе. У вас есть вакансии?

Дарья Прокофьевна взяла направление, удивилась:

- Из Москвы да в Мелекес? Что случилось?

Пришлось рассказывать. Внимательно слушает, пытливо разглядывая меня, словно желая узнать, не скрываю ли я ещё чего-нибудь. Наконец, спрашивает:

- А кроме литературы, что вы можете преподавать ещё? Как с иностранным языком?

- Могу, – храбро подтверждаю я, немецкий и английский.

Никогда в жизни я не преподавал ни того, ни другого, но объясняться мог на обоих.

- Тогда могу направить вас учителем немецкого языка в среднюю мужскую школу. Согласны?

- Согласен.

О ходе её рассуждений я примерно догадываюсь: литература – дисциплина идеологическая, и доверять её этому исключённому из партии пришельцу рискованно. А немецкий –

предмет, так сказать, невинный, к тому же в школах города таких специалистов не хватает.

- А как быть с министерским направлением? – спрашиваю я. Не будет ли мне и вам неприятностей?

- Это я берусь уладить, – твердо обещает она. – Оформляйтесь.

И тут же звонит директору восьмой мужской школы:

- Михаил Сергеевич! Вы, кажется, жаловались, что у вас не хватает учителя немецкого языка. Так вот я направляю вам одного товарища, между прочим, москвича...

Тут же я написал заявление, заполнил анкету, и примерно через час на свет появился приказ о моём назначении. Наконец-то! Окрылённый отправляюсь на поиски восьмой средней школы и нахожу её почти на окраине города, неподалёку от железной дороги. Попадаю как раз на перерыв. Во дворе рослые парни разминаются с волейбольным мячом, некоторые открыто покуривают. Директор Михаил Сергеевич Кононенко уже ждёт меня в своём кабинете. Ему где-то под пятьдесят. Невысок, коренаст, на лице доброжелательная улыбка; никакого намёка на подозрительность, хотя Дарья Прокофьевна уже, конечно, познакомила его с моей биографией. Позже я узнал, что на фронте он был тяжело ранен и трудился в школе, преодолевая свою болезнь.

Рядом с ним завуч, Игорь Вениаминович Номофилов, рослый, цветущего вида мужчина в аккуратном костюме; он присматривался ко мне с каким-то хитроватым видом. И действительно, едва мы перекинулись с директором несколькими фразами о том, в каких классах мне предстоит учительствовать, как он обратился ко мне на довольно уверенном немецком языке: какое учебное заведение окончил, когда, на каком фронте воевал и т.д. Оказывается, он был в школе главным специалистом по этому предмету, что меня и смутило и обрадовало одновременно; в случае каких-либо затруднений можно будет у него проконсультроваться. Вспомнив свою венскую практику, я без запинки ответил на его вопросы, но сам подумал: только бы не заговорил о плюсквамперфектах, в которых я тогда не был силён... Однако обошлось, и мой немецкий был одобрен. Тут же завуч снабдил меня нужными учебниками.

Через день я с волнением готовился к своей первой встрече с учителями школы: тщательно выбрился, облачился в выходной черный костюм, в котором появлялся на приёмах в ВОКСе, повязал свой самый красивый галстук. Михаил Серге-

евич, который собрался познакомить со мной свой коллектив, увидев меня при всём параде, одобрительно кивнул. Но едва мы оказались в заполненной людьми большой комнате с неизбежным фикусом в углу, как я понял, что промахнулся: среди буднично и скромно одетых учителей мой парадный вид выглядел не только неуместно, но даже смешно. Этакая столичная штучка, что-то вроде Александра Ивановича Хлестакова в уездном городишке. Однако Михаил Сергеевич уверенно провозгласил:

- Рекомендую вам нашего нового учителя немецкого языка Ивана Дмитриевича Хмарского. Он приехал из Москвы, знакомых у него в Мелекессе нет, так что, надеюсь, наш коллектив станет для него новой семьей.

- Здравствуйте! – сказал я и уселся на свободный стул, стараясь быть незаметнее. Учителя тоже не проявляли ко мне заметного внимания, давая мне возможность освоиться с новой обстановкой. Среди молодых учительниц мне особенно понравилась довольно высокая, худая и смуглая девушка с удивительно красивыми карими глазами и словно точёными чертами лица, которая стояла поодаль у самой стены. Думал ли я тогда о том, что пройдёт какое-то время, и мы с ней будем отмечать золотой юбилей нашей свадьбы...

Сейчас, в пору открытости и гласности, молодому современнику вся эта история с моим устройством на работу может показаться малозначительной и забавной, но в те годы решимость Дарьи Прокофьевны Тамбовцевой взять в учителя человека, исключённого из партии за связь с какими-то американцами, требовала и смелости, и твёрдости характера. Она обладала этими качествами.

Через несколько дней после моего устройства на работу однажды утром ко мне в гостиницу пришли три молодых человека, интересовавшихся литературой: студент педагогического училища Евгений Ларин, студент учительского института Евгений Лыжин и Юрий Астрадымов. А порекомендовал им встретиться со мной директор восьмой школы М.С. Кононенко, который узнал из моей анкеты о том, что в годы войны я был корреспондентом фронтовых газет, а значит, человеком пишущим. Вот он и решил свести со мной трёх начинающих литераторов.

Не помню уже точно, о чём мы беседовали; скорее всего, о литературе и о моём участии в войне в качестве журналиста, но ребята произвели на меня самое отрадное впечатление.

Внешне Женя Ларин в ту пору мог вполне сойти за пушкинского Владимира Ленского: тонкие черты худощавого и бледного лица, копна смоляных волос, а главное, вдохновенный взгляд красивых чёрных глаз, порывистые движения и восторженность в голосе. Забегая вперед, должен сказать, что жизнь Евгения Лыжина и Юрия Астрадымова рано оборвалась: Женя уехал учительствовать на север, где во время лыжного похода попал в пургу и замёрз в степи, а Юрий умер от туберкулёза.

В городе издавалась объединенная с районом газета «Сталинское знамя», редактором которой был Иван Сергеевич Кирюшкин, человек порядочный и смелый. Первые свои статьи и рассказы в Мелекесе я начал публиковать в «Сталинском знамени». При газете подобралась группа начинающих поэтов и прозаиков, никак не оформленная организационно. Просто собирались по определённым дням, читали свои стихи, юморески, рассказы, обменивались мнениями. Помню Е. Ларина, который до 1951 года был студентом училища, а затем выехал на работу в одну из школ Радищевского района и снова вернулся в Мелекес в 1953 году уже в качестве литсотрудника «Сталинского знамени». В эту группу входили поэты Яков Рогачёв, Геннадий Зимняков, Пётр Безяев, Ирина Беликова, пенсионер Яков Мулярчик и другие. Часто в Мелекес приезжал из совхоза им. Крупской бухгалтер Анатолий Жуков, читавший свои юмористические рассказы. Для литературного роста молодых писателей необходимы, по меньшей мере, два условия: возможность общаться с мастерами и публиковаться в журналах и издательствах. В то время таких условий почти не было. Правда, в областном центре ежегодно выходил альманах «Литературный Ульяновск», но пробиться в него было нелегко.

Например, в декабре 1950 года был подписан к печати четвёртый номер этого альманаха, редактором которого была журналистка Циля Марковна Рабинович. В основном здесь были представлены ульяновские авторы-поэты Н. Благов, Н. Краснов, А. Макаров, Н. Рябинин, Р. Герасимов; прозаики И. Мальцев (повесть «Семь ветров»), Г. Коновалов, Г. Велле, литературовед П.С. Бейсов, критики Н. Григорьев и Д. Белогоров. Из мелекесцев в альманах попали только двое: Е. Ларин (стихотворение «На борьбу за мир») и я (рассказы «Шенбрун» и «Калорийная пища»).

Но развитие местной литературы тормозилось не только ограниченными возможностями для публикаций. Сказывалось сильнейшее давление на молодых поэтов и прозаиков официальной идеологии, культа Сталина.

Вскоре меня попросили стать руководителем мелекесских литераторов. Соглашаясь на эту роль, я испытывал сомнения, правильно ли поступаю и не наживу ли при этом для себя новой беды. Время было тревожное. Мало того, что сразу же после войны вышло постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», осуждавшее поэтессу Анну Ахматову за отход от гражданской тематики в сферу сугубо личных переживаний и клеймившее популярного писателя Михаила Зощенко за мелкотемье и «пошлость» его рассказов, в стране, как я уже говорил, развернулась кампания по разоблачению скрытых «агентов»-космополитов, поощрялись политическая подозрительность, доноительство и шпиономания. В этих условиях самые невинные стихи или рассказы, самые безобидные выступления во время обсуждения литературной продукции начинающих литераторов при желании можно было истолковать как политически сомнительные, а сам факт встреч молодых людей в редакции по вечерам – как «групповщину» и даже сборище «заговорщиков». Беспечные молодые люди вроде Е. Ларина и Е. Лыжина, видимо, этого не чувствовали, но я, старший по возрасту и уже наученный горьким опытом политического преследования, сознавал, чем всё это может обернуться. А ведь мы были в то время ещё молоды, собираясь, рассказывали анекдоты, шутили, веселились. В коридоре редакции стоял бильярдный стол, и после литературных дискуссий мы сражались с киями в руках «на вылет».

Стараясь поддерживать эту непринуждённую и жизнерадостную атмосферу, я в то же время зорко следил за тем, чтобы и в самих стихотворениях или рассказах, и в ходе их обсуждения не было и намёка на «очернительство» нашей послевоенной действительности, на политическую неблагонадежность и другую крамолу. Но вскоре попался сам... После выхода четвёртого номера альманаха «Литературный Ульяновск» в «Ульяновской правде» появилась рецензия на его материалы, где мне досталось на орехи за рассказ «Калорийная пища», навеянный стилем М. Зощенко.

И всё же литературная жизнь в области не замирала. Во всех газетах печатались стихи, басни, рассказы, фельетоны, книжное издательство выпускало сборники местных поэтов и

прозаиков, устраивались литературные вечера, встречи с читателями, семинары. В Мелекесе Е. Ларин публиковал свои стихотворения и сказки, А. Жуков – юморески, Я. Рогачёв, Г. Зимняков и другие – стихи. Газета «Знамя коммунизма» напечатала в нескольких номерах мою первую повесть «Тайна матери».

В один из осенних дней 1951 года меня вызвали из учительской в коридор, где я увидел около окна небольшого роста пожилого, лысого человека, опиравшегося на палку. Поздоровавшись, он сказал:

- Я писатель Лебеденко.

- Очень приятно, – пожал я ему руку, а сам попробовал вспомнить, где я слышал эту фамилию и какие книги написал Лебеденко. Он уловил моё замешательство и добавил:

- Может быть, вам когда-нибудь попадался мой роман о первой мировой войне – «Тяжёлый дивизион»? Если нет, ничего удивительного: роман давно не переиздавался. Мне порекомендовали познакомиться с вами в редакции городской газеты. Я теперь буду жить в Мелекесе.

- А откуда вы приехали? – поинтересовался я.

- Недалеко отсюда... Из Киндяковки. Отсидел там срок в колонии и вот теперь освобождён. А вообще-то я петербуржец, но жить дома пока не имею права.

«Час от часу не легче, – подумал я. – Не хватало в нашей литературной группе только бывшего политзаключённого». Впрочем, один уже был, а именно известный польский журналист Раковский, тоже отсидевший свой срок и хлопотавший теперь о возвращении на родину. К редакции городской газеты он прибился ещё до моего приезда в Мелекес. После двух-трёх посещений нашей группы он больше не появлялся, уехав из города, а затем из СССР вообще.

Разумеется, я ничем не выдал своей обеспокоенности посещением Александра Гервасьевича Лебеденко (у него редкое отчество), а попросил дать мне для прочтения его роман «Тяжёлый дивизион». Он охотно удовлетворил мою просьбу. Читая роман, я всё больше убеждался в том, что передо мной произведение крупного русского прозаика. Бывший офицер царской армии и участник первой мировой войны, А. Лебеденко показал её не в эпическом плане, как, скажем, М. Шолохов, а камерно, изнутри, на примере одного подразделения, с подробностями офицерского и солдатского окопного быта, с драмами и трагедиями русской интеллигенции, брошенной в

эту мясорубку. Я возвратил ему роман с благодарностью, поделился своими впечатлениями, и с этого времени мы с ним довольно часто и откровенно беседовали.

До своего ареста А. Лебеденко занимал видное место среди советских писателей, был дружен с Константином Фединым и другими известными мэтрами литературы 20–30-х годов, много путешествовал, однажды попал в авиационную аварию и с тех пор прихрамывал. Арестован был по доносу из-за самого невинного замечания о перегибах в ходе коллективизации.

В Мелекесе Александр Гервасьевич снял небольшую комнату в деревянном доме и начал писать статьи в местные газеты. Подписывал их не своей фамилией, а псевдонимами. Гонорары были небольшими, и, по моим наблюдениям, жил Александр Гервасьевич стеснённо, хотя время от времени получал небольшие переводы от жены из Ленинграда и, насколько мне известно, из Москвы от К. Федина. На мой намёк, не нужна ли ему моя денежная помощь, Александр Гервасьевич ответил, что у него очень скромные запросы и того, что он получает, ему достаточно. Вообще, в его характере, поведении, манере говорить можно было легко заметить отпечаток той особой петербургской интеллигентности и деликатности, какая формировалась десятилетиями в нашей северной столице. Зная о том, что и он сам, и я находились под наблюдением местных органов безопасности, он старался встречаться со мной наедине не часто. И всё же два или три раза пригласил меня к себе.

В одну из таких встреч он показал мне отпечатанную на машинке объёмистую рукопись и сказал о том, что заканчивает роман о судьбах петербургской интеллигенции накануне и во время Октябрьской революции. Название романа – «Лицом к лицу». Спросил, нет ли у меня желания познакомиться с рукописью. Я охотно согласился и, придя домой, углубился в чтение. Меня сразу же покорило его профессиональное мастерство, но развитие действия показалось замедленным, а внимание к деталям быта и заботам героев избыточным. Возвращая рукопись, я откровенно высказал ему своё мнение на этот счет...

С приездом А. Лебеденко руководство литературной группой перешло к нему. Во время обсуждения наших литературных опытов он был неизменно доброжелательным и тактичным, умея найти в каждом стихотворении или рассказе что-то положительное, крупицу жизненной правды и приметы

дарования, достойные одобрения, а свою критику слабостей и недостатков облакал в необидную форму. Как-то мы с ним разговорились о том, где пролегает грань между литературным дарованием и графоманством, тщеславным стремлением непременно увидеть своё детище напечатанным. Вот что он сказал по этому поводу:

- Я считаю одним из великих достижений нашей революции то, что к художественному творчеству потянулись тысячи людей. Большинству из них не хватает образования и той общей культуры, какая приобретается с детства в подлинно интеллигентных семьях. Это чувствуется даже при наличии таланта в их общем кругозоре в языке, упрощенчестве, в стремлении к заимствованиям у любимых поэтов или прозаиков. Конечно, среди них немало и таких, кто лишён искры божьей. С годами большинство из них это признаёт и выбирает себе другую профессию, но увлечение молодости оставляет хороший след в их духовном развитии. Сама потребность раскрыть перед другими свои переживания, мысли, идеалы, свой душевный мир достойна уважения, но я не могу понять высокомерия тех писателей, редакторов и издателей, которые презрительно третируют таких начинающих авторов как графоманов вместо того, чтобы терпеливо и уважительно объяснить им их просчёты и недостатки. Вы, наверное, заметили, что ни один крупный писатель о графоманах не говорит. Это делают охотно как раз литераторы средней руки, а иногда попросту бездарные сочинители.

А вообще-то было бы неверно представлять себе литературный процесс в виде чередования известных горных вершин и разлива могучих рек. Если бы не было в нём холмов, пригорков, маленьких речушек, затерянных в глубинке, вряд ли появились бы и такие гиганты, как Тургенев, Толстой, Достоевский, Горький.

Наступил 1953 год. Однажды мартовским утром, выйдя из дома на улицу, я узнал о том, что умер Сталин. В педагогическом институте, где я по совместительству с работой шального учителя читал лекции по литературе, созвали траурный митинг... Через день или два встретил Александра Гервасьевича. Он заметно уклонялся от комментариев по поводу смерти великого кормчего, но, как я успел заметить, словно повеселел. И действительно, прошло ещё какое-то время, и ему разрешили вернуться к семье в Ленинград. Говорят, об этом хлопотал всё тот же его верный друг Константин Федин. Настало время

прощания А. Лебеде́нко с Мелекессом. Мы обнялись, и он дал мне свой адрес, пригласив побывать у него в гостях.

Такая возможность у меня появилась года через три. К тому времени уже вышел из печати его роман «Лицом к лицу». Найдя по адресу старый и внушительный дом в центре Ленинграда, позвонил. Дверь открыла пожилая милостивая женщина в странных очках: одна из линз сильно увеличивала её глаз. Это была жена Александра Гервасьевича... Квартира, в которую вошёл, была просторной, с высокими потолками, тяжёлыми дверьми, и тёмной прихожей. Из кабинета вышел в пижаме и комнатных туфлях Александр Гервасьевич. С грустью я заметил, что за прошедшие годы он заметно сдал. Мы прошли в гостиную, жена принесла чай, последовали расспросы о Мелекесе, о нашем литературном объединении «Черемшан», общих знакомых, о моём положении в послесталинские годы, Александр Гервасьевич спросил, не думаю ли я вернуться в Москву... На прощанье он подарил мне с тёплой надписью роман «Лицом к лицу». Просил писать ему. Однако скоро А. Лебеде́нко не стало...

После его отъезда руководителем объединения «Черемшан» снова избрали меня. Но вскоре я стал деканом филологического факультета, а затем и ректором Мелекесского педагогического института. Времени для литературных занятий оставалось мало. В 1972 году институт был закрыт, а оставшиеся студенты и часть преподавателей переведены в Ульяновск.

Вспоминая сейчас это двадцатилетие своей мелекесской биографии, я с удовлетворением могу сказать, что наши литературные встречи и занятия принесли свои плоды; известным в стране писателем стал Анатолий Жуков, выпустил несколько книг и был принят в Союз советских писателей Евгений Ларин, в газетах и сборниках печатались стихотворения Геннадия Зимнякова, Якова Рогачёва и других авторов. Сам я издал сборники рассказов; в «Ульяновской правде» были опубликованы мои повести: «Перемещённые», «Мираж», «Ягода-малина» и около сорока рассказов; в журнале «Волга» – документальная повесть «Месяц с Джоном Стейнбеком».

Активная деятельность мелекесских и областных литераторов в целом в послевоенные годы во многом обязана двум ульяновским писателям тех лет: Григорию Коновалову и Василию Дедюхину. С первым из них я был знаком ещё до Ульяновска по Московскому институту истории, философии и ли-

тературы (известному ИФЛИ). Если не ошибаюсь, весной 1938 года нашей группе искусствоведов сообщили, что отныне мы обязаны посещать кружок политзанятий... Руководителем кружка был назначен аспирант ИФЛИ Григорий Коновалов.

В то время я был студентом четвёртого курса и знал, что Г. Коновалов уже опубликовал несколько рассказов... Знал я также и о том, что он дружил в ИФЛИ со студентом философского факультета Теодором Ойзерманом, впоследствии философом-академиком, а в то время небольшим чернявым и юрким паренёком. Оба они ухаживали за двумя красивыми студентками философского факультета, выделявшимися внешне даже среди других пригожих ифлик, славившихся в этом смысле в Москве. Невесту Григория звали Бетей...

И вот тридцатилетний Григорий Коновалов, невысокий, коренастый, высоколобый парень с полным в то время лицом и внимательным взглядом, приступил к своей первой беседе. Очень скоро разговор от политической тематики перекинулся на литературу...

Вскоре после войны, в 1947 году, вышел первый его роман «Университет». Известный в те годы литературный критик Е.Ф. Усиевич откликнулась на это произведение насмешливой, если не сказать издевательской рецензией. За молодого автора вступилась газета «Правда», и фамилия «Коновалов» стала известной в читательских кругах...

Во время войны я потерял след Григория Ивановича, и вот, приехав в Мелекесс, узнал, что он преподаёт в Ульяновском пединституте историю советской литературы. В одно из моих посещений областного центра мы встретились как старые знакомые, и он пригласил меня к себе. В то время семья Григория Ивановича проживала в комнате студенческого общежития на Венце. Вид на Волгу был великолепный, но теснота и неуютность... В этой комнате я увидел вместо хрупкой студентки Бети уже довольно осанистую молодую женщину, всё такую же красивую, но уже утратившую свое бывшее девическое очарование. У Коноваловых было двое детей: дочь и сын.

Григорий Иванович рассказал мне о том, что в годы войны он был политработником-офицером на Тихоокеанском флоте и показал свою фотографию, где был заснят в морской форме и выглядел прямо-таки бравым молодцом. Сообщил о том, что в общежитии проживает временно, так как в строящемся на улице Гончарова доме ему обещана трёхкомнатная

квартира... Григорий Иванович рассказал о том, что в Ульяновске существует литературное объединение и назвал несколько имен, заслуживающих внимания, в их числе В. Дедюхина и студента Н. Благова, талантливого молодого поэта. Я в свою очередь познакомил его с литературной жизнью мелекесцев.

Через какое-то время он пригласил меня на конференцию ульяновских писателей, где я увидел трёх поэтов Николаев: Краснова, Рябина, Благова. Имена других уже забылись. Дедюхина почему-то не было. В президиуме, кроме Коновалова, сидели председатель облисполкома Владимир Петрович Васильев, инструктор обкома партии, занимавшийся литературными делами, Б.Ф. Иванов и какие-то другие товарищи. Из преподавателей Ульяновского пединститута запомнились доцент П.С. Бейсов и А.М. Абрамов. Григорий Иванович был по-праздничному оживлён, часто вынимал из бокового кармана пиджака небольшой блокнотик, в который записывал просьбы и предложения... Выступления были страстными, свободными, критическими, и у меня сложилось впечатление, что этот демократизм во многом навеян личностью самого руководителя писательской организации Г. Коновалова...

С этого события связь мелекесцев с Ульяновском укрепилась. Время от времени к нам приезжал Григорий Иванович в сопровождении двух-трёх писателей, которые проводили семинары, выступали перед читателями в рабочих клубах и в школах. По традиции после таких встреч устраивались застоля... Однажды мы засиделись допоздна, я пригласил Григория Ивановича на ночлег к себе и познакомил его со своей семьёй. В ответ он и Бетя пригласили Марию Фёдоровну и меня в свою новую квартиру на улице Гончарова. И тут Григорий Иванович показал мне рукопись своего заветного романа «Истоки», над которым ещё продолжал работать...

В новой квартире Г. Коновалов прожил недолго. Вскоре до меня дошел слух о том, что он переехал в Саратов, где издавался поволжский литературно-художественный журнал «Волга» и где начали печатать его «Истоки». Роман сразу же покорила меня эпической широтой охвата предвоенной жизни и характерами героев из рабочей среды, а в описании военных событий – стремлением художественно осмыслить историческую роль Сталина и его ближайшего окружения в руководстве страной в эти трагические и героические годы...

Более поздние произведения Г. Коновалова оставили у меня двойственное впечатление. С одной стороны, они нравились мне знанием народной жизни, некоторыми колоритными характерами, с другой, их прочтение тормозилось избыточной образностью языка, пережитками той самой «орнаментальной прозы», которая была популярной в нашей литературе 20-х годов. Для меня это было неожиданностью. И в беседах наедине, и в групповых Григорий Иванович часто приводил примеры из творчества Л. Толстого, в которого он был прямо-таки влюблён.

Но как раз Л. Толстой меньше всего заботился о лингвистическом украшательстве своих текстов, а в поздних повестях и рассказах стремился к предельной простоте стиля. Видимо, тяготение Г. Коновалова к словотворчеству было своего рода реакцией на обезличенность языка во многих произведениях его современников.

После переезда Г. Коновалова в Саратов руководство ульяновским отделением Союза писателей перешло к Василию Аполлоновичу Дедюхину. В моей памяти он остался как человек редкого мужества. На фронте он был тяжело ранен в голову, хирурги его отходили, но лицо Василия Аполлоновича осталось навсегда изуродованным. Вероятно, многие другие в его положении почувствовали бы свою ущербность, впали в мрачное состояние, спились и утратили работоспособность. Ничего похожего с ним не случилось. Не знаю, как он себя чувствовал наедине, но на людях был неизменно бодрым, энергичным и деятельным, тонко чувствовал юмор, часто хохотал и, вообще, выглядел оптимистом. Когда я с ним познакомился, он был уже во втором браке, имея взрослого сына. Второй его женой была доцент ульяновского пединститута, физик Циля Марковна Рабинович. Она же была активной журналисткой, часто выступавшей в «Ульяновской правде»...

Кроме рассказов, он написал пьесу «Нет прекрасней назначенья», посвящённую педагогической деятельности И.Н. Ульянова. Она долгое время с успехом шла в Ульяновском драмтеатре. Не без влияния Василия Аполлоновича я к столетию со дня рождения Ленина тоже написал драму, которую назвал «Да будет свет!» Пьеса была посвящена просветительской деятельности Н.К. Крупской...

Ещё до этого в 1969 году другая моя пьеса – «Кактус» – была поставлена, правда, не в театре, а на телевидении, но при участии почти всей труппы драмтеатра. В пьесе расска-

зывалось о драматической судьбе американского писателя, преследуемого за свои прогрессивные взгляды. Беседуя со мной о «Кактусе», Василий Аполлонович положительно отзывался о сюжете и фигуре главного героя, но посоветовал не увлекаться иностранной тематикой...

Как и Г. Коновалов, Василий Аполлонович довольно часто бывал в Мелекесе, проявляя заботу о местных литераторах. После моего переезда в Ульяновск мы нередко встречались с ним на площади Ленина, где он прогуливался рядом с домом, в котором жил. Беседовали о местных литераторах. Некоторые его оценки были суровыми... Вскоре я стал замечать, как он постепенно увядает, теряя интерес к литературным делам и свой оптимизм. Единственное, что его заметно радовало, были литературные успехи его сына, публиковавшего свои произведения в «Волге». А ещё через некоторое время Василия Аполлоновича не стало. Ненадолго пережила его и Циля Марковна, продолжавшая выступать как журналистка до последних дней своей жизни...

Если с Г. Коноваловым и В. Дедюхиным мы были почти ровесниками, то Николай Благов по возрасту годился мне в сыновья, и, видимо, поэтому эта разница мешала нашему личному сближению. Да и вообще, по моим наблюдениям, он был человеком довольно замкнутым, погружённым в себя и немногословным. Встречались мы лишь по делам. Одним из таких поводов была моя просьба к отделению Союза писателей дать отзыв о рукописи моего большого романа «Сполохи», который я писал урывками, не оставляя преподавательской работы, больше пяти лет. Роман был задуман как первая книга многоплановой эпической трилогии о подготовке второй мировой войны и начале Великой Отечественной...

Николай Благов, ставший к тому времени руководителем областной писательской организации, передал рукопись члену Союза писателей Д.К. Дудкину, опытному в литературных делах и принципиальному человеку. Через некоторое время я получил от него обстоятельную рецензию самого лестного содержания.

Обрадовавшись такой оценке, я с некоторой тревогой стал ждать, что скажет сам Николай Благов... Однако мои опасения оказались напрасными. Прочитав «Сполохи», Н. Благов тоже одобрил роман, хотя и высказал некоторые замечания об излишней неторопливости повествования и затянутости в нём действия. Продумав их, я перепланировал располо-

жение некоторых глав и постарался убрать длинноты. На это ушло больше года. К тому времени Н. Благов, как и Г. Коновалов, переехал в Саратов, где начал сотрудничать в журнале «Волга». Я отвёз рукопись в журнал. Н. Благов сказал мне о том, что он лично рекомендовал рукопись напечатать. Но члены редколлегии колебались. Прежде всего, их смущал всё тот же 1937 год... В конце концов редакция сочла тему романа неактуальной.

Через короткое время Н. Благов вернулся из Саратова в Ульяновск и при нашей встрече посоветовал мне обратиться в издательство «Советский писатель», где одним из редакторов был Анатолий Жуков, тот самый бухгалтер из совхоза Крупской, который начинал свой литературный путь в «Черемшане». Н. Благов и Е. Ларин были дружны с А. Жуковым, переписывались с ним и дали мне адрес Анатолия, жившего в то время в Люберцах, под Москвой. Отослав письмо с вопросом, стоит ли мне обращаться в это издательство и как это лучше сделать, я вскоре получил дружеский ответ. Жуков, правда, сообщал, что уже не работает в «Советском писателе», так как перешёл в редакцию «Нового мира», но посоветовал привезти рукопись в издательство.

Однажды жарким июльским днём я сел за руль своей «пятёрки» и отправился вместе с сыном в столицу. На другой день уже был на улице Воровского в особняке «Советского писателя», оставил там свой «кирпич» и отправился на Пушкинскую площадь в тесное помещение «Нового мира». Анатолий Жуков, бывший, кроме всего прочего, секретарём Московской партийной организации писателей, встретил меня радушно и пообещал посодействовать тому, чтобы рукопись моя в издательстве не залежалась...

Подробно рассказываю о своих «хождениях по мукам» с рукописью, чтобы подчеркнуть внимательность и доброжелательность Николая Благова и Анатолия Жукова к моему литературному труду. И эта доброжелательность Николая проявлялась не только ко мне. На семинарах, где обсуждались стихотворения и рассказы местных литераторов, он подмечал малейшие проблески таланта и почти с восторгом отмечал их в своих выступлениях.

Что касается его собственной поэзии, то, как это ни странно, мы о ней с ним никогда не беседовали. И не потому, что я относился к его творчеству критически. Напротив, мне его стихи не просто нравились, я в них открыл для себя нечто

новое, о чём трудно говорить. Вначале я было отнёс их к традиционной деревенской поэзии, но потом почувствовал за отчётливыми приметами волжского колорита, знанием народных характеров и деревенского быта некую самобытную философскую глубину восприятия народной жизни, трудно поддающуюся литературоведческому анализу...

Очень мне нравилась сама внешность Николая. От него веяло чем-то богатырским: высокий рост, могучее сложение, копна светлых волос, не поддающихся расчёске, добродушное выражение крупных черт истинно русского лица, твёрдая и неторопливая поступь.

И вдруг узнаю: у Николая инсульт... Долгое время он не выходил из дома. Затем однажды я его встретил недалеко от двухэтажного особняка на улице К. Либкнехта, где он жил. Медленно переставляя ноги, он с трудом продвигался по тротуару, погружённый в какие-то свои думы. Мы остановились, обменялись рукопожатием. Тяжело было видеть его погасший взор и мрачное выражение лица. Бестактно было расспрашивать о его самочувствии...

А ещё через какое-то время небольшая группа ульяновских писателей во главе с Е. Мельниковым и родственники провожала Николая Благова в последний путь. Помню, был погожий летний день, и никак не хотелось верить в то, что этот большой русский поэт так рано ушёл из жизни.

Недавно в клубе учителей-ветеранов выступала с воспоминаниями о Николае вдова поэта Ляля Ибрагимовна. С собой она привела внука Максима, крупного двенадцатилетнего подростка, рассказавшего о том, как он и его товарищи пополняют музей его дедушки. Слушал я его, и что-то отрадное откликнулось в душе. Значит, жива благодарная память об этом замечательном поэте, несмотря на тяжёлые испытания, какие переживает сейчас наша Россия.

Месяц с Джоном Стейнбеком

Особняк на Большой Грузинской.

- Вас вызывает Владимир Семёнович.

- Хорошо, сейчас я спущусь.

Между собой мы называли председателя Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКСа) Кеменова по его инициалам: «ВэЭс», но его помощник, человек неизмен-

но серьёзный и официальный, никаких фамильярностей с нами, заведующими отделами, себе не позволял. Вот и его обиталище – отделанная морёным дубом, как и все кабинеты на нижнем этаже, приёмная, с её массивным столом, телефонами, высокими, как в готическом соборе, спинками стульев, дорогим ковром на полу, зеркальным окном и прочими приметами престижности этого особняка на Большой Грузинской.

В 30–40-е годы его знала вся художественная и научная интеллигенция Москвы, знали и многие за рубежом, ибо ВОКС в то время был, пожалуй, единственной неправительственной организацией, поддерживавшей культурные связи с границей и принимавшей у себя именитых гостей из других стран. В дни приёмов здесь собирались самые известные у нас писатели, артисты, художники, музыканты, кинематографисты, учёные; в прекрасном беломраморном зале проводились на самом высоком уровне концерты вокальной и инструментальной музыки; в соседнем холле и кабинетах столы ломились от закусок, а над всей этой гудящей толпой знаменитостей возвышалась почти двухметровая фигура хозяина особняка, молодого, но уже известного искусствоведа и философа, заявившего о себе ещё до войны.

Когда ВэЭс бывал в отъезде или болел, гостей принимал его первый заместитель – Александр Васильевич Караганов, выпускник ИФЛИ, литературовед и комсомольский работник, тяжело раненный в годы войны. Обоих я знал ещё по студенческим годам: до войны Кеменов был аспирантом ИФЛИ, а Караганов – студентом филологического факультета. Вообще, ВОКС в те годы был густо заселён выпускниками этого вуза, собравшего в своих стенах цвет московской профессуры и подарившего нашему обществу немало видных деятелей в науке, искусстве, политике, дипломатии. Впоследствии ИФЛИ волился в МГУ.

ВэЭс уже ждал меня посреди просторного кабинета, оформленного в стиле русского модерна начала века. Протянув мне длинную и прямую, как шлагбаум, руку, он без всяких предисловий сообщил:

- Вчера прилетел Джон Стейнбек. Вместе с ним Роберт Капа, фоторепортёр. Оба от газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Пробудут около месяца, так что хлопот у вас будет предостаточно.

- Значит, он всё же достался нам? – спросил я.

Кеменов неопределённо пожал плечами: дескать, что поделаешь, вопрос решён, и сейчас говорить об этом поздно.

О том, что Стейнбек собирается в СССР, американский отдел ВОКСа знал до его приезда от А.В. Караганова. Неясно было до последнего момента только одно, кто будет его принимать: Союз писателей или ВОКС? В конце концов, то ли в международном отделе ЦК ВКП(б), то ли в Министерстве иностранных дел спор решили в нашу пользу. От Стейнбека не ускользнула заминка с его приглашением, и впоследствии в своём «Русском дневнике» он не без иронии заметил: «Но всё же вокруг нашей поездки шла молчаливая борьба. В настоящее время в Советский Союз можно приехать только в качестве гостя какой-то организации или для выполнения какой-то определённой работы. Мы не были уверены, занимается ли нами Союз писателей или ВОКС, и не были уверены, что они сами это знают. По всей вероятности, обе организации стремились свалить эту сомнительную честь друг на друга».

Когда позже мы познакомились со Стейнбеком поближе, он однажды с озорным блеском в глазах сказал, что от души сочувствует мне, так как понимает, что в схватке с Союзом писателей ВОКС проиграл и поэтому он, Стейнбек, достался нам. Но в утешение мне он и Капа обещают вести себя в этой поездке примерно, дабы ничем не огорчить столь гостеприимных хозяев. Мне осталось только чистосердечно рассмеяться в ответ, признав, что наша маленькая тайна разгадана.

Сейчас всё это выглядит по меньшей мере странным: казалось бы, соперничество между Союзом писателей и ВОКСом должно было идти как раз за право принять у себя известного во всём читающем мире американского романиста, но в 40-е годы существовала своя логика и свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Начать хотя бы с того, что все зарубежные визитёры классифицировались в верхах по трём главным политическим категориям: друзья Советского Союза, нейтралы и чужаки. Оттенки обычно в расчёт не принимались. Стейнбек в этом смысле для руководящих товарищей был фигурой довольно размытой. С одной стороны, автор нашумевшего романа «Гроздь гнева», повествующего о трагедии согнанных банками с земли американских фермеров, а значит, писатель, обличающий порочную социальную систему в США, о чём неустанно пеклась и наша пропаганда. С другой – приверженец каких-то завиральных биологических идей в духе буржуазного философа Спенсера и этого путаника Фрей-

да с его психоанализом и прочими антимарксистскими выкрутасами, литератор, пытающийся подменить изображение классовой борьбы в США ссылкой на какие-то извечные законы, первобытные инстинкты и прочую чепуху. Не отсюда ли его подозрительно повышенное внимание к сексу и низким проявлениям человеческой природы, чему, собственно говоря, и посвящён роман «Заблудившийся автобус», опубликованный как раз в 1947 году, перед приездом автора в СССР.

Наконец, каково его политическое лицо? Ни публичных изъяснений в любви к первому в мире государству победившего социализма, ни зафиксированного где-либо благоговения перед вождём мирового пролетариата и гениальным полководцем, положившим на лопатки Гитлера, ни ярко выраженных симпатий к компартии США. Право же, было над чем призадуматься. А вдруг он выкинет какой-нибудь политический фортель, как это сделал в своё время Андре Жид, который, приехав к нам, рассыпался в своих симпатиях к советским людям, а возвратясь домой, взял да и пожаловался на то, что у нас нет туалетной бумаги...

- Надо будет его как следует прощупать, – напомнил мне ВэЭс. – Говорят, он после «Гроздьев гнева» качнулся вправо. В общем, не поддавайтесь гипнозу имени, а последовательно отстаивайте нашу линию на разоблачение американского империализма и зачинщиков холодной войны.

Я согласно кивал, но из кабинета председателя вышел в немалом смятении, теряясь в догадках, как поведёт себя у нас американский гость, и, готовясь, так сказать, во всеоружии защищать наши духовные ценности от возможных посягательств с его стороны.

Поскольку, по прихоти судьбы, я оказался вовлечённым не только в историю поездки Стейнбека в нашу страну, но и в некоторые другие эпизоды, связанные с советско-американскими культурными связями тех лет, хочется немного рассказать о своём отношении к этой стране ещё до того, как я стал заведующим американским отделом ВОКСа. Впервые слово «Америка» я услышал в детстве во время страшного голода весной 1922 года, когда наша семья вместе с другими жителями большого украинского города Пологи ещё не была уверена, сможет ли она дотянуть до лета или вымрет, как это случилось с нашими соседями. Кормились мы лепёшками из отрубей, жмыха и размолотых листьев шелковицы, сушёными вишнями, яблоками и ещё бог знает чем. И вдруг в пасхаль-

ные дни разнеслась весть о том, что детям будут выдавать продукты, присланные из какой-то далёкой Америки. В назначенный день мать повела меня к просторному общинному подворью, размещённому на главном шляхе, пересекавшем село, где уже собралась большая толпа взрослых и детей, и пристроила в конце длинной очереди. Пошатываясь от слабости, я медленно передвигал ноги, приближаясь к заветному столу. За ним сидел какой-то дядько и что-то отмечал в большом журнале, рядом стояли две молодые женщины в белых халатах. Одна из них зачерпнула из большого бидона кружку горячего какао, другая протянула ломоть неправдоподобно белого рыхловатого хлеба, издававшего полузабытый запах жизни, от которого у меня сладко закружилась голова. Отойдя с матерью в сторонку, я робко откусил от ломтя и с опаской отхлебнул из кружки незнакомого мне напитка. И тут же в глубине сознания забились радостная мысль: теперь не умру, продержусь до нового урожая. Мать со слезами на глазах наклонилась и поцеловала меня в голову. Я догадался протянуть ей оставшийся кусочек хлеба, она отщипнула крошку, осторожно положила в рот, а остальное вернула мне...

Сколько бы уже взрослым я ни читал впоследствии о том, что американская организация по оказанию помощи голодающим России (АРРА) была якобы пристанищем заокеанских шпионов и врагов молодого советского государства, в душе моей никогда не угасал светлый детский уголок, и назывался он «Америка», бесконечно далёкая, почти фантастическая страна, где вдоволь белого хлеба и сладкого какао. Надо ли говорить о том, как не терпелось мне, уже юноше, узнать побольше о реальной Америке, с какой жадностью я впитывал в себя книги Фенимора Купера, Марка Твена, Джека Лондона, как искренне негодовал по поводу тяжёлой жизни американского народа, безработицы, бездомности, расизма, империалистических происков реакционных политиков США и всего прочего.

Став после войны заведующим американским отделом ВОКСа, я довольно смутно представлял себе, какие возможности передо мной открываются, но мысленно дал себе обещание сделать всё, что удастся, для расширения культурных связей с США, для взаимного общения, обмена книгами, фильмами, живописью. Правда, ещё до прихода в ВОКС меня многое настораживало в той официальной политике по отношению к США, какая пришла на смену сотрудничеству в годы войны.

Первые месяцы работы в ВОКСе показались мне обнадеживающими. Перелистывая переписку отдела с американскими организациями и деятелями, беседуя со старыми сотрудниками и членами правления, я убедился, что сделано уже немало. Благодаря ВОКСу, установились контакты наших писателей А. Толстого, М. Шолохова, К. Симонова, И. Эренбурга и других с американскими литераторами; К. Симонов и И. Эренбург побывали в США, поддерживалась переписка с Ч. Чаплиным, была проведена встреча с американскими корреспондентами и т. д. Активно работала секция кино. Частыми гостями ВОКСа бывали С. Эйзенштейн, С. Герасимов, Г. Александров, В. Пудовкин, другие наши известные режиссёры и актёры. Кое-чего удалось достичь моим предшественникам по отделу также в развитии научного обмена. Издавался советско-американский медицинский журнал, поддерживались связи с некоторыми учёными США, в том числе с известным биологом Ваксманом, который в годы войны прислал нам культуру пеницилина, а позже и стрептомицина. Во многом такая относительно спокойная и деловая обстановка в ВОКСе сложилась благодаря международному отделу ЦК партии, который долгое время возглавлял Г. Димитров.

Положение начало заметно меняться к худшему, когда к руководству международным отделом пришёл М. Суслов. Разумеется, дело было не только в нём, а в том общем ухудшении советско-американских отношений, которое наша печать связывала со стремлением империалистических сил США к мировому господству, раздуванием в Америке антисоветских настроений, намечающихся атомным шантажом и другими проявлениями «холодной войны». Как это ни парадоксально, неприязнь сотрудников международного отдела к реакции в США начала косвенно отражаться и на их подозрительном отношении к деятельности ВОКС. Время от времени со Старой площади к нам приезжал инструктор, курирующий американский отдел, и, надолго усевшись за столом, с осуждающей grimасой просматривал нашу переписку, а затем учинял настоящий допрос с пристрастием. Почему в советско-американском журнале помещена статья об опыте лечения огнестрельных ран советскими хирургами? Перепечатана из нашего журнала? Ну и что? Зачем же снабжать американцев информацией, имеющей оборонное значение? Почему среди посланных в США выставочных материалов о Великой Отечественной войне только один портрет товарища Сталина и та-

кого же размера, как и портреты Рузвельта и Черчилля? Разве вам не известно, что Советский Союз под гениальным руководством товарища Сталина внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией? И дальше в том же роде.

Не забывали нас работники МГК и сотрудники Советского райкома, которому мы были подотчётны по партийной линии. К этому надо добавить опеку со стороны самого воксовского партбюро.

Такова была атмосфера советско-американских отношений и наших культурных связей к моменту приезда Стейнбека в СССР. Естественно, она оказала влияние на его впечатления и о нашем политическом режиме, и о наших порядках, а точнее, послевоенных беспорядках, где перемешалось всё: и разруха, и неорганизованность, и упадок дисциплины, и распространение пьянства, и многое другое. Отсюда же его отношение к ВОКСу и официальным лицам, с которыми ему пришлось встречаться, к нашей интеллигенции вообще и к писателям в частности. Но главное, для чего он приехал, было желание узнать, «как русские живут, во что одеваются, что едят, как любят. Никакой политики, только частная жизнь». Ниже я постараюсь показать, насколько Стейнбеку удалось уйти от этой вездесущей ведьмы – Политики, но одно можно сказать твёрдо: главным героем его «Русского дневника» стал рядовой труженик, ему отданы всё внимание и все симпатии автора «Гроздьев гнева», а в этом отношении он и здесь верен своему творческому кредо.

Прихрамывая и опираясь на палку, по мраморной лестнице фешенебельного отеля «Савой», где проживали только иностранцы, медленно спускался рослый, грузный краснолицый мужчина с рыжими усами и острым не то пытливым, не то насмешливым взглядом голубоватых глаз. Я был разочарован: почему-то ожидал увидеть стройного, худощавого брюнета с одухотворённым лицом или даже красавца в голливудском стиле, а этот скорее напоминал дебелого лесоруба или фермера; во всяком случае, никакого внешнего намёка на причастность к литературе и на духовное начало, а сплошная заурядная плоть. Вообще же, в его фигуре было что-то от крупного хищника из породы кошачьих: неторопливые, даже ленивые движения мощного тела, пристальный взгляд и где-то там внутри готовность к молниеносному прыжку.

Представившись, я спросил:

- Мистер Стейнбек, что у вас с ногой?..

- Перелом колена. Сейчас уже получше, но немного стягивает.

Только много позднее я узнал, что в нью-йоркском доме Стейнбека после ремонта обрушилась ограда балкона на втором этаже, и как раз в то время, когда на неё облокотился хозяин...

Рядом со Стейнбеком шёл плечистый черноволосый парень среднего роста, увешанный сумками и фотоаппаратами. Оба в дорожных куртках и брюках песочного цвета. Мы сели в воксовский «ЗИЛ» и поехали по пустынным утренним улицам Москвы во Внуково. Только-только рассвело. В те годы самолёты нашей гражданской авиации летали исключительно днём, поэтому рейсы начинались очень рано. Стейнбек, любивший засиживаться допоздна со знакомыми американскими и английскими журналистами, обычно не высыпался и впоследствии добирал упущенное либо в самолёте, либо в отеле на новом месте. Разрешения на поездку и фотографирование пришлось ждать почти неделю, хотя А.В. Караганов и предпринимал энергичные меры, чтобы ускорить ход бюрократического механизма. В эти дни гостей сопровождала по столице Светлана Литвинова, любимица нашего отдела, миловидная девушка с копной чёрных волос и серыми близорукими глазами на худеньком задумчивом лице. Та самая Sweet Lana, о которой с такой симпатией и с такой мягкой иронией пишет Стейнбек в своём «Дневнике». Но сопровождать гостей-мужчин в поездке по стране поручили мне. Я тут же попросил В.С. Кеменова для подстраховки в языке прикрепить к нашей группе и Светлану, которая знала английский лучше всех в отделе, но, видимо, такие расходы не укладывались в смету, и мне отказали, о чём впоследствии я не раз пожалел. Мой собственный английский в ту пору изрядно хромал, хотя за плечами и была переводческая практика на заседаниях четырёхстороннего политического отдела в Вене. Там я чувствовал себя довольно уверенно: во-первых, обкатанные политические обороты переводить легче, чем практически неограниченный круг предстоящих нам в поездке тем; во-вторых, там, рядом со мной находилась переводчица английской делегации Пушина (да, да, правнучка друга Пушкина), владевшая обоими языками в совершенстве. В затруднительных случаях она меня выручала. Здесь же предстояло один на один говорить с тем самым Стейнбеком, который уже при жизни был признан одним из классиков английского художественного языка в его

американском варианте. К чести Стейнбека, он был в этом отношении ко мне снисходителен и доброжелателен; лишь изредка между нами возникали недоразумения по поводу непонимания мной какого-то американского, а им русского выражения.

Финансовая сторона поездки была согласована ещё в Вашингтоне через уполномоченного ВОКСа Ермолаева. В те годы наша страна ещё не присоединилась к Всемирной организации по авторским правам (ВОАП), поэтому зарубежных авторов, будь то писатели, композиторы или учёные, мы издавали «за так», не выплачивая им гонорара. Помню, как Имре Кальман, проживавший тогда в США и, как видно, испытывавший финансовые трудности, горько сетовал в послании ВОКСу на то, что не получает вознаграждения за свои оперетты, идущие в советских музыкальных театрах. Обычно в таких случаях наша сторона объясняла дело с поистине детской непосредственностью: поскольку СССР не является членом ВОАП, то и претензии по авторским правам мы не принимаем. Исключение допускалось для прогрессивных и дружественных нам авторов, приезжавших в Советский Союз. Стейнбек попал под эту категорию, и ему выплатили за издание «Гроздьев гнева», если мне не изменяет память, двадцать тысяч рублей (в дореформенном исчислении). Разумеется, «Нью-Йорк Геральд Трибюн» со своей стороны финансировала поездку, так что недостатка в деньгах он не испытывал. Забегая вперёд, скажу, что при тогдашних ценах эти тысячи растаяли довольно быстро, в чём Стейнбек с усмешкой признался мне перед возвращением в Штаты. Мне бухгалтерия ВОКСа выдала пять тысяч командировочных с оговоркой, что я могу тратить их и на угощение своих спутников, но в разумных пределах и при условии, что такие расходы будут подтверждаться счетами или чеками. Набегался я с этими счетами...

Мы летели в Киев. С самого первого знакомства всё моё внимание, естественно, было приковано к Стейнбеку. Что касается фотокорреспондента Роберта Капы, то я впервые услышал о нём только неделю назад и неосознанно рассматривал его как своего рода тень литературной знаменитости, да к тому же и довольно тягостную обузу, поскольку предчувствовал, какие трудности и неприятности ожидали нас всех троих, несмотря на полученное разрешение фотографировать. Иностранец с фотокамерой в те времена обычно ассоциировался с агентом чьей-то разведки, и его появление на улице в Москве

вызывало примерно такое же недоумение, как прогулка жирафа по Садовому кольцу. Взгляд на Р. Капу как на гостя второго разряда был одной из моих ошибок во время наших поездок, и хотя впоследствии у нас с ним установились добрые отношения, он так и не смог простить мне пренебрежительного отношения к фотоаппарату. В частности, я не поинтересовался заранее биографией Р. Капы, а она заслуживала внимания: вырос он в хортистской Венгрии, стал антифашистом, вынужден был эмигрировать, во время гражданской войны в Испании отправился туда в качестве фотокорреспондента, сблизился в рядах республиканцев со многими известными журналистами и писателями, в том числе с М. Кольцовым и В. Вишневским. Переехав в США, он начал сотрудничать как фотокорреспондент в популярных газетах и журналах, сам взялся за перо, стал автором нескольких книг. Стейнбек ценил его как профессионала высокого класса и относился к нему как одному из близких друзей, что, впрочем, не мешало ему подтрунивать над некоторыми привычками и слабостями своего компаньона: любовью к чтению в ванне, «рассеянностью» в пользовании чужими книгами, выдающимися лингвистическими способностями и т. п.

Привыкший к американской свободе печати, Капа никак не хотел понять, что разрешение на съёмку у нас «закрытых» объектов (заводов, аэродромов, вокзалов и многого другого) меньше всего зависело от моих ходатайств и просьб; ему всё казалось: прояви я побольше усердия – и перед ним зажётся бы зелёный свет. Наивное заблуждение! Царившая в те годы система запретов касалась не только объектов оборонного значения, порой она принимала такие анекдотические формы, что сейчас об этом даже неловко рассказывать. Например, в день празднования 800-летия Москвы иностранных гостей пригласили на главный в то время стадион столицы – «Динамо», где был подготовлен грандиозный спортивный праздник. День выдался отменный, из репродукторов гремели песни и марши, настроение у нас было приподнятое. Капа приготовил фотоаппараты... На местах, отведённых для зарубежных гостей, мы оказались рядом с Луи Арагоном и Эльзой Триоле. Стейнбек и Арагон изредка перебрасывались между собой замечаниями по-английски. Кстати о французском языке Стейнбека. Он им владел, но, видимо, стеснялся своего произношения, так как за весь этот месяц только раз или два переходил на французский в тех случаях, когда собеседник знал

только этот язык. Уже в старости в своей книге «Путешествие с Чарли. В поисках Америки», описывая встречу в штате Мэн с сезонными рабочими французского происхождения из Канады, он замечает: «Если возвышенный тон нашей беседы натолкнёт вас на мысль, что она велась по-французски, вы ошибаетесь. Вожак говорил на чистом, правильном английском языке... Что касается моего французского, то он вообще немислим».

И вот слева от нас внизу появились первые колонны физкультурников, крепких парней и девушек, которые через ворота вступали с многоцветными флагами на стадион. Капа щёлкнул пару раз с места, затем пробежал между рядами вниз, намереваясь заснять шествие крупным планом. И сразу же натолкнулся на лейтенанта в форме МВД, который начал объяснять ему, что приближаться к колонне запрещено. Капа предъявил разрешение – лейтенант был непреклонен. Тогда он оглянулся на меня, я подошёл и перевёл ему слова лейтенанта: снимать можно только с трибуны, с того места, где мы сидим.

- Но почему? – удивился он. – Я хочу снять их снизу. Объясните ему.

Я попробовал убедить лейтенанта, тот посоветовал обратиться к своему начальнику. Строгий под- или полковник, озабоченно ходивший вдоль цепочки охраны, сердито приказал:

- Идите на своё место, не мешайте нам работать!

- Это американские журналисты, у них есть разрешение, – попробовал я вразумить его, но он гневно прикрикнул:

- Уведите его отсюда немедленно!

Я оглянулся... Ба, мой Капа уже шнырял среди солдат сбоку колонны, приседал, целился объективом то в одну, то в другую шеренгу, отмахиваясь, как от назойливой мухи, от какого-то офицера, дёргавшего его за локоть. «Ей-богу, сейчас нас обоих арестуют», – успел подумать я и, схватив его за другой рукав, чуть не силой потащил на место. Он же продолжал возмущаться, повторяя свой наивный и естественный вопрос: «Почему?» Стейнбек с полупрезрительной усмешкой ждал нашего возвращения. У Арагона выражение было скорее задумчивое и немного грустное.

- Это так опасно для спортсменов, когда их фотографируют? – спросил Стейнбек, когда мы уселись на свои места.

- Видимо, милиция боится, что репортёры могут помешать движению колонн, – ответил я, избегая глядеть на гостей. Настроение у всех было испорчено.

Капа продолжал бубнить:

- Для чего же в таком случае я сюда приехал? Или стадион тоже военный объект?

- Поверьте, Роберт, здесь я бессилен, – проговорил я со всей искренностью.

Я понимаю, но всё же...

Уже без прежнего энтузиазма он продолжал снимать с места. Стейнбек время от времени комментировал происходящее ироническими репликами. Известная в те годы солистка Большого театра, напрягая до предела перед микрофоном и без того мощное контральто, восхваляла на всю округу Москву:

Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

«Ужасный голос», – проворчал он про себя. Арагон дипломатично промолчал. Впоследствии Стейнбек в «Дневнике» запишет: «У нас сложилось мнение, что русские – худшие в мире пропагандисты собственного образа жизни, что у них самая скверная реклама. Взять, к примеру, иностранных корреспондентов. Обычно журналист едет в Москву с доброй волей и желанием понять то, что увидит. Но он сразу же подвергается всяким ограничениям и просто не в состоянии выполнять свою работу. Постепенно у него меняется настроение, и он начинает ненавидеть систему не как саму систему, но как препятствие для своей работы».

На киевском аэродроме нас встретил писатель А. Полторацкий, уполномоченный ВОКСа на Украине, высокий, симпатичный, приветливый молодой человек, который сразу же понравился Стейнбеку. Вообще, оказавшись в украинской столице, Стейнбек то открыто, то намёками стал сравнивать москвичей с киевлянами: первые показались ему озабоченными, хмурыми, лишёнными чувства юмора, вторые – раскованными, жизнерадостными, остроумными, несмотря на пережитые годы оккупации и разруху. Можно было уловить в этом сопоставлении намёк не только на национальные различия, но и на то исходившее из Кремля политическое и нравственное давление, какое испытывали, по мнению Стейнбека, жители Москвы, так сказать, непосредственно, в отличие от украинцев, пользовавшихся относительно большей независимостью.

В первый день, когда мы познакомились с городом, на Стейнбека особенно гнетущее впечатление произвело разрушение древнейшего на Руси Софийского собора; с другой стороны, он был приятно удивлён общим настроением оживления и подъёма, царившим среди киевлян, и прямо-таки покорён красотой и грацией местных девушек. И всё же он рвался на село, чтобы поскорее встретиться с теми, ради кого он приехал в нашу страну. Я заметил, что его интерес к так называемым «простым людям» был совершенно лишён какой бы то ни было рисовки, а исходил из глубокого внутреннего убеждения в том, что именно те, кто создаёт материальные условия жизни, являются сердцевинной нации и наиболее полно воплощают в себе естественное начало в человеке. Иногда это подчёркнутое уважение к рядовым труженикам сопровождалось у него скептическими отзывами о тех или иных представителях интеллигенции, в частности о писателях, как американских, так и советских, но об этом позже. Культ «естественного человека», живущего в гармонии с природой, в условиях патриархальной семьи и трудовых устоев, освящённых вековой моралью, видимо, брал у него истоки и в философии европейского руссоизма, и в традициях американской литературы, и в распространённом в США влиянии фрейдистского учения о роли биологического начала и первобытных инстинктов в современном цивилизованном мире. Разумеется, этот сплав влияний был процежен у него через личный жизненный опыт и через собственный характер, поэтому взгляды, пристрастия, идеалы Стейнбека в их конкретном преломлении отличались самобытностью. Более того, стремление к оригинальности, непохожести на других стало для него предметом известной гордости, своего рода выражением духовной независимости, отражало осознание своего места в этом мире. Возможно, отсюда его потребность всегда плыть против течения, противопоставлять себя большинству, порой дразнить читателя, привыкшего к стандартному уровню понимания событий и к стереотипам. Иногда эта страсть к самоутверждению приводила его к конфликтам с обществом, читателями, друзьями. Так случилось впоследствии с его печально известными «Письмами Алисе», оправдывавшими американскую агрессию во Вьетнаме.

Сужу об особенностях мировоззрения и характере Стейнбека не только по некоторым его прямым признаниям в наших беседах, но и по отдельным репликам, оценкам, какие он давал другим, по бытовым штрихам в его поведении.

Например, он уважал физически сильных людей, сам относил себя к этой породе и при случае готов был помериться силой с тем, кто казался ему достойным соперником; ещё больше восхищался он проявлением в людях независимости, смелости в суждениях и в поведении; в рассуждениях о любви заметно подчёркивал её сексуальную сторону и т.п.

Его интерес к рядовым советским людям подогревался и тем историческим положением, в каком оказался наш народ в послевоенные годы. Из печати он знал об огромных жертвах, принесённых советскими людьми для достижения победы, но ему хотелось узнать, как отразилось это событие на послевоенной жизни и настроениях в народе, как у нас люди относятся к власти, что знают о Соединённых Штатах, что думают об американцах, какое будущее ожидает такую огромную страну.

На другой день после прилёта в Киев мы отправились на машине в колхоз им. Шевченко и после беседы с председателем, лишившимся на войне руки, поехали прямо в поле, где женщины собирали огурцы. Колхозницы были уже предупреждены о том, что к ним приедут американцы, и когда мы подошли к большой куче огурцов на вытоптанной площадке, хлопчик лет семи с ребячьим удивлением крикнул своей сестрёнке:

- Ты дывысь! Американцы, а таки ж люды, як и наши!

- Что он сказал? – спросил Стейнбек.

Я перевёл.

- В самом деле! Это надо непременно записать.

Позже он несколько раз вспоминал этого мальчика Гришу, находя в его простом детском восклицании глубокий взрослый смысл: наши народы так разъединены, так мало знают друг друга, что американцы представляются детям чуть ли не инопланетянами.

Перебрасываясь шутками с женщинами, Стейнбек взял из кучи большой огурец, вытер его о свои песочные штаны и начал смачно хрустеть. Колхозницы одобрительно заулыбались: дескать, это по-нашему. Завязалась беседа: какой урожай собирают, куда сдают огурцы, как оплачивается работа. Прокопчённые солнцем, преждевременно постаревшие, плохо одетые женщины отвечали бодро, давая понять, что им грех жаловаться на свою жизнь; главное, война окончилась, и теперь будет легче. В свою очередь они начали расспрашивать гостя, как живут люди в американских сёлах. Вряд ли кто из них читал роман «Гроздь гнева», но чувствовалось, что кто-то

из местных пропагандистов уже с ними предварительно поработал, потому что в вопросах и замечании прозвучало искреннее сочувствие к бедственному положению американских фермеров... Смущённый Стейнбек ответил, что сейчас их положение изменилось к лучшему.

Между тем Капа отправился в поле, где работало несколько женщин, не принимавших участия в беседе. Он остановился около пожилой колхозницы, которая, стоя на коленях, раздвигала огуречную ботву, и сделал несколько снимков. Месяца через три и увидел на обложке известного американского журнала для женщин «Лейдиз хоум мэгезин» цветную фотографию: измученная колхозница среди поля под палящим солнцем на коленях не то молится, не то жалуется на свою судьбу. Подпись уточняла эту рабскую позу: таково положение женщины в Советском Союзе. Признаться, тогда у меня возникло сильное желание ещё раз встретиться с Р. Капой и показать ему этот журнал. В беседах со мной он не раз заверял, что ничего, компрометирующего нашу страну, он снимать не будет.

Простившись с колхозницами, мы поехали на ток, где под грохот молотилки, в туче пыли, обливаясь потом, трудилась толпа мужчин, женщин и подростков. Я обратился к работающим по-украински:

- Извините, что отрываем вас от работы, но вот к нам прилетели из Америки писатель Джон Стейнбек и фотокорреспондент Роберт Капа, которые интересуются тем, как вы живёте. В Америке много пишут о том, что Советский Союз якобы готовится к новой войне. Что бы вы сказали по этому поводу?

Вперёд выступил моторист и, подняв над головой руку без пальцев, крикнул:

- Вот смотрите! Как я могу хотеть новой войны?

В толпе оказалось несколько инвалидов. Один тряс в воздухе палкой, другой показывал культю, третий – шрам на груди. Крик, ругань по адресу американского правительства, некоторые женщины были близки к истерике. Стейнбек слушал со скорбным вниманием, кивал, бормотал:

- Я понимаю, я понимаю.

А выкрики и вопросы продолжались. Я еле успевал переводить:

- Вас война коснулась боком, а по нас она проехала колесом.

- В нашей семье не вернулось трое: отец и два брата.

- За что вы нас ненавидите?

Не знаю, было ли это всё заранее подготовлено по просьбе А. Полторацкого или такой накал враждебности к реакционной политике США был результатом нашей пропаганды, но на Стейнбека всё это произвело тяжёлое впечатление. Горячий разговор о наших обидах продолжался во время угощения, которое устроил в честь гостей во дворе правления председатель колхоза. За сдвинутыми столами собралось десятка два колхозников. А. Полторацкий шепнул мне, что здесь же находятся секретарь райкома партии и работники его аппарата. Вскоре я заметил, что они пытаются незаметно дирижировать беседой, подсказывая соседям вопросы и реплики, причём делают это довольно неуклюже. Опасаясь, как бы Стейнбек не заметил этой театральщины, я попросил секретаря умерить своё усердие. Он обиделся и впоследствии лишь однажды обратился ко мне, предложив задать вопрос: как живут американские фермеры?

- Его уже об этом спрашивали, – ответил я.

- Ну и как?

- По-разному: одни лучше, другие хуже.

Секретарь был явно разочарован. Вообще, было два вопроса, которые задавали Стейнбеку почти на каждой встрече: уже упомянутый об американских фермерах, навеянный его романом, и о Форде. Сначала я не мог понять причину такой популярности Форда в нашем народе, а потом догадался, что он стал для нас собирательным образом американского миллионера. Логика вопросов была примерно такова: в США власть захватила кучка миллионеров, в конгрессе нет ни одного рабочего.

- У нас свободные выборы и все равны перед законом, – отвечал Стейнбек.

- Если у вас все равны, почему же Форд не поделится своими доходами с рабочими?

- Форд – гениальный организатор производства, он достиг всего своим умом, своей энергией и имеет законное право на вознаграждение.

Стейнбек начинал тоже горячиться. Сам политический характер вопросов нередко его раздражал. Как ни пытался он убедить наших людей в том, что приехал в СССР как журналист, а не как политик, для них он был американцем прежде всего, а значит, отвечал за всё, что происходило в этой стране.

Разумеется, на столах появилась в изобилии водка, которая ещё больше подогрела страсти. За время совместных поездок я имел возможность убедиться, что Стейнбек не чурался умеренной выпивки. У него даже на этот счёт была своя теория; однажды он сказал мне, что ему известны только два народа, которые совершенно не знали алкоголя, и оба они не слишком преуспели в общечеловеческом прогрессе. К сожалению, удержаться в рамках ему иногда не удавалось: гостеприимные хозяева наливали по полному стакану и требовали, чтобы он опустошался до дна. После застолья на воздухе один из колхозников пригласил гостей в свою вновь отстроенную хату. Тосты следовали один за другим, постепенно обмен колючими вопросами и репликами сменился более миролюбивыми пожеланиями взаимного понимания и дружбы. Чем дальше длилось застолье, тем добродушнее становились речи, и уже кто-то, фамильярно положив романисту руку на плечо, говорил:

- Ни, тут, товариш Стейнбек, ты трошки помыляешься, бо империялизм, вин дуже поганый. Це я тобы кажу, як другу...

Поняв, что он крепко перебрал, Стейнбек попросил об отъезде. Мы простились с гостеприимными хозяевами и возвратились в Киев. Я и Полторацкий чувствовали себя виноватыми за то, что не сумели убедить колхозников быть поумереннее с угощением, но до сих пор не знаю, как это можно было сделать: война с её «наркомовскими» ста граммами, утратами, трагедиями, гордостью победителей дала такой мощный толчок для оправдания и распространения пьянства, что каждый, кто призывал в этом смысле к воздержанности, рассматривался многими как трусливый перестраховщик, а то и как сопливый интеллигент, который гнушается славными народными традициями и отгораживается от коллектива.

На другой день в киевском отделении ВОКСа мне вручили телеграмму о том, что мою жену положили в подмосковный туберкулёзный институт. Я не мог понять, что случилось: жена страдала с детских лет болезнью почки, и вдруг туберкулёз... Позвонил А. Караганову, тот немного успокоил, сказав, что о жене заботится мой фронтовой друг фотокорреспондент «Красной Звезды» А. Дмитриев, но если я считаю, что надо срочно вернуться в Москву, то могу это сделать, оставив Стейнбека на попечение А. Полторацкого. Я тут же заказал билет на завтрашний поезд в Москву. Узнав, что случилось, Стейнбек и Капа выразили мне сочувствие и попросили лишь

помочь им с переводом на встрече с А. Корнейчуком и В. Василевской (А. Полторацкий английского не знал, а немного говорил по-французски). Такая встреча состоялась в уютном кирпичном доме Корнейчука на одной из спокойных киевских улиц. Оба писателя находились в зените своей литературной славы, Стейнбек об этом знал, хотя не могу с уверенностью сказать, читал ли он что-нибудь из их произведений. Ванду Василевскую я впервые увидел весной 1944 г. на 1-м Белорусском фронте, и она запомнилась мне высоким, красивым, энергичным полковником в гимнастёрке и бриджах, которой оказывали почтительное внимание в штабе воздушной армии. Ныне она выглядела худой и бледной, с тяжёлыми мешками под глазами, можно было только догадываться: какой-то серьёзный недуг подтачивал её здоровье. Что-то грустное и торжественное застыло в выражении её удлинённого красивого лица, звучало в медленной и тихой речи. Корнейчук, напротив, излучал обаяние жизнерадостности, остроумия, юмора. Беседа началась с общих расспросов: где уже успели побывать гости, что им запомнилось, каковы их планы. Затем хозяйева рассказали о том, как совсем недавно вынуждены были прервать свою поездку в США, а точнее – вернуться из Нью-Йорка, куда их пригласила одна из прогрессивных американских организаций, только потому, что отказались дать отпечатки пальцев, согласно недавно принятому закону о регистрации иностранных агентов. Корнейчук не скрывал своего возмущения и презрения к администрации Трумена, разжигавшей антикоммунистическую истерию и враждебность к СССР. Стейнбек попытался объяснить, для чего был принят такой закон, однако выглядело это не очень убедительно, чувствовалось, что он и сам мало с ним знаком.

А. Корнейчук тактично перевёл разговор на менее неприятные для Стейнбека темы, коснулся некоторых украинских обычаев и особенностей национального характера, рассказал в связи с этим несколько анекдотов, в том числе о запорожцах и чумаках, которые очень понравились американцам. Обед, приготовленный В. Василевской, оказался необыкновенно вкусным; после него хозяйева провели нас по своему огороду и саду, которым, судя по всему, немало гордились. В завершение встречи А. Полторацкий рассказал о том, что ему пришлось пережить во время Сталинградской битвы. Уезжали мы в гостиницу, совершенно очарованные этой супружеской парой, её скромностью в том, что касалось упоминания о соб-

ственных произведениях, естественностью и простотой в быту, непринуждённой приветливостью в обращении.

У Стейнбека возникло желание отблагодарить Корнейчука и Василевскую за гостеприимство. С помощью Полторацкого они заказали в кафе на Владимирской горке ужин. Мы приехали туда несколько раньше назначенного времени, и пока Полторацкий с Капой распоряжались у столиков, Стейнбек и я отошли в сторонку, уселись на траве и залюбовались открывающимся внизу видом на Днепр и заднепровские дали. Дневной зной спал, вокруг был разлит благостный августовский покой, располагавший к миролюбию, раздумьям, мечтам. Я почувствовал, что Стейнбеку хочется поговорить со мной наедине. Откровенно сказать, и мне уже порядком надоело участвовать в идеологических перепалках и гнуть линию на разоблачение американского империализма. Я, конечно, догадывался, что и Стейнбек и Капа видят во мне одного из официальных советских чиновников, цель которого скрывать, «не пущать», приукрашивать, и ждал только случая, чтобы раскрыть свои дружественные чувства к американскому народу и свою любовь к американской литературе. Мы некоторое время помолчали, затем я сказал:

- Мистер Стейнбек, если я бывал с вами иногда резким, прошу меня извинить.

- Оставим об этом, – отозвался он. – Я понимаю ваше положение. Вероятно, я тоже не всегда бываю прав. Ваша жена серьёзно больна?

- Да. Ещё школьницей рыла в поле картошку в колхозе и застудила почку.

- Будем надеяться, что в больнице ей помогут. Я хочу поговорить с вами на щекотливую тему. Не возражаете?

- Пожалуйста.

- Вы ведь марксист?

- Да!

- Как вы относитесь к роли личности в истории? Допускаете ли вы возможность культа какого-нибудь выдающегося деятеля?

- Всё зависит от того, кто этот деятель, – уклончиво ответил я.

Но культ в любом случае означает обожествление человека, то есть религиозное поклонение. Для христиан культ Иисуса – источник их веры в добро, справедливость, милосердие.

Однако марксисты отвергают религию. Как же можно примирить обожествление чьей-то личности и атеизм?

- В этом смысле марксисты действительно отвергают культ. Но он у вас существует. Например – поклонение покойному Ленину и ныне живущему Сталину. В 1937 году Фейхтвангер, побывав в СССР, написал книжку «Москва 1937 года». В ней он рассказывает о том, что в Москве повсюду висят портреты Сталина, в том числе в музеях, что при живом человеке кажется странным. Прошло десять лет, но ничего не изменилось. Чем вы это объясняете?

«Дорогой Стейнбек, – подумал я. – Нельзя ли спросить о чём-нибудь полегче». Собравшись с духом, я начал объяснять. Доводы в ту пору были известные: Сталин – великий продолжатель дела Ленина, оба они пользуются огромной любовью в народе, и люди хотят видеть их изображение повсюду. Но это не культ, не религиозное поклонение, а выражение глубокой благодарности народа за те исторические завоевания, каких достигла некогда отсталая царская Россия под мудрым руководством тов. Сталина, и т. п. Был ли я искренним? Со всей откровенностью отвечу: в том, что касается слова «культ», – да. Как и миллионы других молодых людей в те годы, я попросту не принимал это понятие, считая его оскорбительным и для «вождя», и для себя. Мы настолько свыклись с портретами, бюстами, статуями Сталина, с его длинными и пышными, как у испанских грандов, титулами (великий, мудрый, гениальный, вождь, учитель, отец, друг, кормчий, орёл и т.п.), с самим ритуалом поклонения на собраниях и митингах, что воспринимали всё это как необходимое условие нашего повседневного бытия, хотя в то же время потешались над обожествлением «фюрера» в Германии в довоенные годы и в пору военных успехов Гитлера, над массовым психозом немцев, сокрушаясь по поводу падения великой нации, давшей миру Гёте, Шиллера и других гениев человечества. Истоки этой социальной слепоты следует искать всё же в самом благородном стремлении людей моего поколения построить первое в мире справедливое человеческое общество на основах свободы, изобилия и гуманности. Ради этой великой цели мы закрывали глаза на многое другое, в том числе на сомнения, которые закрадывались в души многих по поводу репрессий, на поклонение Сталину, на полукрепостное положение крестьянства.

Стейнбек с терпеливым вниманием слушал то, что я говорил, ожидая, когда иссякнет моё красноречие.

- Но, разумеется, случаются и преувеличения, и крайности, – добавил я. – Сам товарищ Сталин осуждает такие случаи.

- Есть примеры? – оживился Стейнбек.

- Да, недавно один военный историк опубликовал статью, в которой попытался оценить вклад товарища Сталина в мировую военную науку. Сталин направил в этот журнал письмо, где он поправляет учёного, допустившего некоторые преувеличения.

- Вы могли бы достать для меня этот журнал?

- Конечно. Как только вы вернётесь в Москву.

Речь шла о письме Сталина военному историку Р., который в угодническом порыве поставил нашего генералиссимуса над всеми военными теоретиками прошлого и настоящего. Видимо, даже Сталина покорило это избыточное восхваление, и он, проявив редкую «скромность», умилявшую нас в те годы до слёз, приписал себе всего-навсего всё то, что было открыто в военной науке Тухачевским, Уборевичем, Жуковым и другими выдающимися полководцами, разумеется, не упомянув ни одного из них, а великодушно отказался от каких-то положений в пользу мировой науки. Возвратившись в Москву, я попросил одну из сотрудниц отдела найти этот номер журнала и послать его Стейнбеку. В «Русском дневнике» он глухо упоминает и о нашей беседе по поводу культа Сталина: «Мы разговаривали об этом с некоторыми русскими и получили разные ответы. Один ответ заключался в том, что русский народ привык к изображениям царя и царской семьи, а когда царя свергли, то необходимо было чем-то его заменить. Другие говорили, что поклонение иконе – это свойство русской души, а эти портреты и являются такой иконой. А третьи – что русские так любят Сталина, что хотят, чтобы он существовал вечно. Четвёртые говорили, что самому Сталину это не нравится, и он просил, чтобы это прекратили. Но нам казалось, что то, что не нравится Сталину, исчезает мгновенно, а это явление, наоборот, приобретает более широкий размах».

Передо мной же тогда стояла непростая задача: как записать нашу беседу в дневнике? Поработав над черновиком, я в конце концов сочинил, как мне казалось, наиболее безобидную версию, из которой следовало, что известный американский писатель находится в плену буржуазной пропаганды, повторяя клеветнические измышления о якобы имеющем место в нашей стране культе личности товарища Сталина; что он об-

ратился с этим вопросом ко мне, и я умело разъяснил ему суть этого заблуждения, приведя в доказательство скромности товарища Сталина его письмо в военный журнал. Сдав дневник в спецотдел ВОКСа, я всё же несколько дней провёл в тревоге, ожидая нагоняя за то, что пустился в разглагольствования и оправдания по поводу гнусной клеветы на нашего любимого учителя, вместо того чтобы оскорбиться и прекратить этот недостойный разговор в зародыше. По счастью, на этот раз судьба меня помиловала: то ли никто из заинтересованных товарищей не заглянул в дневник, то ли заглянул и нашёл моё объяснение вполне удовлетворительным. Вскоре, однако, все воксовские дела отошли для меня на второй план. Навестив жену в больницу, я узнал, что у неё обнаружены симптомы туберкулёзного менингита, мучительной и неизлечимой болезни головного мозга.

Стейнбек и Капа вернулись в Москву. Несколько дней в сопровождении Светланы они продолжали знакомиться с достопримечательностями столицы, затем мы вылетели в Сталинград. Начался самый трудный этап наших совместных поездок. Ещё на Украине Стейнбек посмеивался над полуразбитыми машинами, в которых нас возили, над старыми самолётами, в которых ему приходилось у нас летать, над разного рода сбоями в графиках, опозданиями и другими неполадками. В Сталинграде не было уполномоченного ВОКСа, и почти все предварительные согласования по телефону и телеграфу нарушались должностными лицами. Стейнбек иронически объяснял все эти сбои происками «злых духов Хмарского» – гремлинов, и так как слово Gremlin звучало почти одинаково со словом Kremlin, то политический подтекст такого истолкования источников неорганизованности и беспорядков становился понятным. Мне удалось всё же добиться разрешения на посещение гостями тракторного завода, однако фотографировать в цехах категорически запретили, хотя там было установлено американское оборудование и вместе с нашими работали американские специалисты.

О своих впечатлениях от разрушенного Сталинграда, о людях, с которыми ему пришлось встречаться, Стейнбек достаточно подробно пишет в «Русском дневнике», однако одна из записей нуждается в комментарии. Речь идёт о нашей неудавшейся попытке улететь из города. Несмотря на то что места в самолёте были забронированы, он улетел без нас... Стейнбек пишет: «Гремлин Хмарского действовал настолько

сверх меры, что сам он тоже занервничал и, боюсь, мы с ним немного поцапались». Что произошло? Вернувшись с аэродрома в гостиницу, кстати, едва ли не единственное уцелевшее и отремонтированное здание в разрушенном городе, мы в самом подавленном настроении начали обсуждать случившееся. Я понимал справедливость возмущения гостей, когда дело касалось нерасторопности, забывчивости, бюрократизма наших служащих, но когда Стейнбек и Капа заговорили об отсталости нашей страны в целом, о жалком состоянии нашей авиации, наших машин, дорог, вокзалов, я напомнил им, что только два с лишним года назад закончилась война с Гитлером, разруха коснулась всего, и они сами могли бы проявить больше понимания нашего положения; постепенно спор перешёл на более общие вопросы. Стейнбек дал понять, что дело не только в прошедшей войне, но и в нашей политической системе. Тогда я в запальчивости спросил, считает ли он капитализм идеальным социальным строем. Он ответил: нет.

- Вы отвергаете и капитализм и социализм. Где же истина?

- Не знаю, – серьёзно ответил он. В философии такая уклончивая позиция называется релятивизмом.

Он с усмешкой оглянулся на Капу.

- В самом деле? Мы – релятивисты? Вот уж не подозревал.

Спор продолжался, в отместку за «релятивистов» Капа назвал меня «хмарксистом», и мы все рассмеялись. Осознавал ли я тогда дистанцию, разделявшую всемирно известного писателя и скромного служащего общества культурных связей, не слишком ли самонадеянно вступал с ним в дискуссии, не испытывал ли какого-то комплекса неполноценности? Признаться, в то время такие сомнения мне просто не приходили в голову. Обдумывая свою тогдашнюю позицию сейчас, четыре десятилетия спустя, я понимаю, что для такой уверенности были веские причины. Во-первых, я был убеждён, что защищая престиж своей страны от попыток бросить тень на её безупречную репутацию. Во-вторых, моё поколение выросло в неколебимом убеждении в правоте поэтического изречения Маяковского: «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока».

Была и чисто субъективная причина того, что я совершенно не ощущал упомянутую дистанцию. Давно замечено, что писатели в своих книгах и в быту – во многом неравно-

ценные партнёры: в духовном смысле первый всегда выше второго. Это естественно. Иногда различие бывает настолько велико, что мы с трудом верим воспоминаниям и свидетельствам современников, рассказывающих о тех или иных штрихах характеров классиков и случаях из их жизни. Вспомним хотя бы воспоминания Панаевой о Некрасове и Тургеневе... Стейнбек не был в этом отношении исключением, то есть в быту он выглядел гораздо обыденнее, иногда мельче, чем в своих лучших романах. Правда, всё это искупалось его искренностью. Я уже упоминал о том, что всякая поза, рисовка, всякое внешнее проявление своего положения в литературном мире были органически ему чужды. Иногда мне даже казалось, что он сознательно подчёркивает свою заурядность, чтобы не дай бог кто-нибудь не приписал ему этой ложной многозначительности или жалкой напыщенности, которыми страдают некоторые известные литераторы. С ним легко было беседовать обо всём... кроме литературы. Чувствовалось, для него это настолько интимная тема, что он предпочитал её не касаться. Поэтому беседы его с нашими писателями обычно не получались, кроме встречи с А. Корнейчуком и В. Василевской, где о литературе почти не говорилось. В тех же случаях, когда он вынужден был говорить о литературе, планка его требований к писателям была необыкновенно высокой. Как-то я спросил его, как он относится к книгам Т. Драйзера. Ответ был обескураживающим:

- Он плохо знал английский.
- Возможно ли это?
- Он знал английский как репортёр, корреспондент, социолог, но не как художник.

К советской литературе отношение у Стейнбека было однозначно сдержанное. Проводя различие между американскими и советскими писателями, он подчёркивал, что первые не связаны никакими официальными путями и всегда находятся в оппозиции к государственной власти; вторые, так сказать, литературно реализуют официальные установки, поэтому ограничены в выборе тем, героев, способа изложения.

В целом поездка в Сталинград оставила и у американцев, и у меня гнетущее впечатление. Мы в ВОКСе, и прежде всего я как заведующий отделом, оказались ещё не готовы к тому, чтобы раскрыть для гостей в полном масштабе подвиг народа в этой грандиозной битве. Надо учесть и то обстоятельство, что ещё не были опубликованы мемуары полководцев об этом

события, а также не были известны многие документы, имена и факты.

В Грузии

Короткая передышка в Москве – и снова в путь, на этот раз в Грузию. Часа четыре воздушной болтанки, особенно сильной над Кавказским хребтом, и внизу открылась захватывающая дух морская синь. Самолёт сел на сухумском аэродроме поблизости от берега. После августовской московской духоты нас обволокло влажным воздухом субтропиков, запахом меняющих кору эвкалиптов, южных трав и цветов. Спустившись с самолёта, Стейнбек удивлённо и обрадованно воскликнул:

- Калифорния!

Попав в привычный с детства климат, он заметно оживился, повеселел, стал разговорчивее. Роберт сразу же занялся своими аппаратами. Лётчики отправились купаться, а мы на рынок – покупать груши, инжир и персики. В Тбилиси прилетели в тот же день. На аэродроме нас встретил невысокий худенький Микава, писатель, уполномоченный грузинского общества культурных связей. Забегая вперёд, скажу, что благодаря его стараниям пребывание гостей в Грузии было организовано отлично, мы смогли многое посмотреть и со многими встретиться. С Микавой, как и с Полторацким в Киеве, у меня сложились самые дружественные отношения, хотя, как он впоследствии мне признался, в республике недолюбливали визитёров из московских учреждений, многие из которых во время служебных командировок проявляли столичное высокомерие и чиновную спесь, оскорбительную для национального достоинства местных работников.

В Грузию я попал впервые. После Москвы, Киева и Сталинграда мне показалось, что я внезапно очутился в каком-то другом государстве, которое, по счастливой судьбе, избежало военного лихолетья и все эти годы жило мирной, счастливой жизнью. Хотя и в Москве разрушений не было заметно, и в Елисеевском и в других магазинах на улице Горького можно было по коммерческим ценам купить копчёные колбасы нескольких сортов, зернистую икру, крабов, сёмгу и другие деликатесы, многие москвичи жили впроголодь, носили поношенную одежду, среди прохожих часто попадались бывшие фронтовики в гимнастёрках без погон, то и дело встречались инвалиды, исхудавшие, больные люди, на всех лежал отпеча-

ток озабоченности, все куда-то торопились. Тбилисцы же, как правило, выглядели ухоженными и жизнерадостными, молодёжь одевалась по последней моде, везде царило оживление, полки магазинов и ларьков ломились от фруктов и овощей. Правда, и здесь встречались мужчины старшего возраста, покалеченные войной, но гораздо реже, чем в Москве и Киеве. На другой день Капа обратил внимание на то, что на проспекте Руставели прогуливалось много празднично одетых парней, которые, как видно, собирались здесь ежедневно, знали друг друга и весело о чём-то переговаривались.

- Почему они не на работе? – спросил он.

Микава улыбнулся:

- Вероятно, за них работают родители.

- Местные денди, – заметил Стейнбек.

Одетые по-дорожному американцы почувствовали себя среди этой шикарной толпы даже до некоторой степени неловко, и впоследствии перед приёмом у писателей Стейнбек облачился впервые за нашу поездку в тёмный костюм. Грузины понравились ему необыкновенно: и своим цветущим видом, и своей любовью к Тбилиси (Тогда Тифлису), который радовал опрятностью, заботой о памятниках старины, чудесными парками и скверами, а главное – внутренней раскованностью, заметной здесь ещё в большей степени, чем в Киеве. Программа пребывания включала посещение музеев, школы, винного завода, церкви св. Давида, действующего православного собора, древней столицы Грузии Мцхеты и, конечно же, родины Сталина – Гори. Туда мы отправились через день на джипе в сопровождении симпатичной молодой женщины, сотрудницы грузинского общества дружбы. За рулём сидел рослый красавец шофёр с классическими кавказскими усиками, который, рванув с места, погнал машину по горным дорогам с такой скоростью, что мы запрыгали на своих местах, и я начал уже серьёзно беспокоиться, привезём ли мы своих гостей в целости. Время от времени он оборачивался к гостям, подмигивал и улыбался, как бы спрашивая: ещё не выпали? Стейнбек одобрительно кивал, хотя иногда и покручивал с удивлением головой. Наша спутница предупредила шофёра-лихача по-грузински, тот на минуту сбавил скорость, но тут же заложил такой крутой вираж, что все мы судорожно вцепились друг в друга и только поэтому не свалились. Мимо проплывали величественные и суровые горные виды с редкими селениями, одинокими монастырями и крепостями. Но вот и

Гори, небольшой посёлок, главная достопримечательность которого – старая крепость и мраморный павильон с навесом из цветного стекла – музей Сталина. Мы вышли из джипа... Об отношении Стейнбека к Сталину я уже знал. Скользнул взглядом по его лицу: никаких эмоций, кроме сдержанного любопытства. И вопросы к девушке-гиду главным образом практические: как удалось сохранить подлинные вещи Сталина, откуда завезли мрамор для сооружения мемориала? и т. п. Капа деловито снимал. Только много лет спустя прочитав «Русский дневник», я узнал, о чём думал в эти минуты Стейнбек: сравнивая культ Сталина с обожествлением Августа, он заметил: «Нет, во всей истории мы не знаем чего-либо вполне сравнимого с этим. И вы сможете уловить смысл этой силы поклонения только тогда, когда услышите, как слышали мы много раз, замечание: „Сталин никогда не ошибался. За всю свою жизнь он ни разу не был неправ“.

Мы вернулись в Тбилиси. Из всего увиденного в этой поездке, пожалуй, самое сильное впечатление на Стейнбека произвёл наш шофёр-лихач. «Настоящий национальный тип, – со сдержанным восхищением говорил он мне и Капе. – Какая мужская отвага и какое открытое лицо!» Это же восхищение отразилось и в «Русском дневнике»: «Он вёл машину, как сумасшедший, и никого не боялся. Мы его полюбили. Он был первый человек, встреченный нами в России, который испытывал те же чувства по отношению к полицейским, что и мы».

Микава, которому я об этом рассказал, с усмешкой признался мне в том, что наш лихач был просто-напросто сотрудником органов госбезопасности, и я догадался, что его сумасшедшая езда была одним из психологических приёмов воздействия на зарубежных туристов. Он, так сказать, лепил на глазах ошеломлённых гостей национальный образ, исключавший всякое подозрение в его истинном служебном призвании. Должен с грустью признаться, что Стейнбек и Капа не однажды оказывались не по своей вине в положении простаков за границей, принимая за чистую монету то, что было заранее подготовлено и инсценировано на местах без моего ведома. При всей его проницательности он был доверчив, особенно когда дело касалось «простых людей», более того, сам был склонен в этом отношении к культу, но культу народного героя, такого удальца, смельчака и бунтаря в духе бёрнсовского Джона Ячменное зерно.

Грузинские писатели пригласили американских гостей на встречу. Вёл её Абашидзе. Я уже упомянул о том, что Стейнбек неохотно говорил о литературе. Встреча получилась скромканной. И потому, что кто-то начал читать на английском языке обзор грузинской литературы с древнейших времён, и с таким ужасным произношением, что Стейнбек ничего не понял, и потому, что ему предложили послушать в переводе стихотворения грузинских поэтов, а он плохо воспринимает поэзию на слух, и потому, что сам американский романист разочаровал хозяев своей слабой информированностью о том, над чем работают известные писатели в США. Стейнбек объяснял своё неведение разобщённостью литераторов на его родине: каждый действует на свой страх и риск и не очень вникает в дела других.

Для того чтобы понять, в какой атмосфере происходила встреча, необходимо вспомнить о партийных постановлениях 1946–1947 годов по вопросам литературы и искусства. Причём если в постановлении «О журналах „Звезда" и „Ленинград"» осуждению подверглись главным образом два автора – Ахматова и Зощенко, то в докладе, А. Жданова и постановлении ЦК о состоянии музыкальных дел его составители пошли ещё дальше, по сути дела перечеркнув творчество самых известных у нас и за рубежом советских композиторов: Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мурадели и других. Вскоре после опубликования этого разгромного документа в библиотеку ВОКСа начали приходить из США газеты и журналы с негодующими откликами американских музыкантов. В их числе было и резко критическое интервью известного скрипача Егуди Менухина, который перед этим приезжал в СССР на гастроли. В.С. Кеменов попросил меня подобрать несколько таких откликов и познакомить с ними секретаря Союза композиторов Т. Хренникова. Для меня до сих пор остаётся загадкой, для чего он предпринял такой шаг: то ли для того, чтобы предостеречь Союз от раздувания кампании преследования наших выдающихся композиторов, что ещё больше компрометировало бы нашу культурную политику за рубежом, то ли для того, чтобы Союз композиторов отреагировал на эти наскоки и дал необходимые пояснения через ВОКС. Как бы там ни было, подобрав несколько номеров американских газет, я отправился в Союз композиторов и, поднимаясь на второй этаж, неожиданно увидел спускавшегося навстречу Д. Шостаковича, маленького и щуплого, но, как мне показалось, удивительно беззабот-

ного и даже как будто весёлого. Что за дьявольщина? Ему бы ходить, понутив голову, с покаянным выражением, а он чему-то посмеивается. После телефонного звонка Кеменова Хренников уже меня ждал. Я прочитал ему несколько интервью и заявлений.

- Этого следовало ожидать, – заметил он довольно спокойно. – И Менухин туда же? Вот как! – почему-то удивился он. – Спасибо, оставьте это у меня, я познакомлю членов правления.

Учитывая обстановку, я ждал, что Стейнбек может затронуть в беседах с нашей интеллигенцией и эту тему. Так оно и случилось. Как известно, в своих романах и повестях он часто пишет о музыке. Вспомним хотя бы мелодии, звучавшие в душе героя его «Жемчужины». О музыке он часто заговаривал и во время наших поездок, слушая народные песни, джазовые ансамбли в ресторанах и кафе, симфонические произведения на концертах. Жена его была преподавателем музыки и, судя по всему, музыка в их семье занимала особое место. Вероятно, поэтому он так близко принял к сердцу именно постановление ЦК «Об опере В. Мурадели «Великая дружба», тогда как постановление о ленинградских журналах почти не упоминал. Может быть, и потому, что не был знаком ни с поэзией Ахматовой, ни с рассказами Зощенко.

Среди приглашённых на встречу с грузинской интеллигенцией находился композитор Баланчивадзе, брат которого, тоже деятель искусства, проживал в США и был знаком со Стейнбеком. Передав композитору привет от его брата, Стейнбек почти тотчас заговорил о постановлении ЦК, не скрывая насмешливого удивления по поводу непрофессионализма содержащихся в нём суждений и оценок, в том числе оценки атональной музыки. Баланчивадзе, естественно, был сдержан, а несколько человек, которые заинтересовались было беседой, услышав, о чём идёт речь, поспешно отошли. Подойдя к роялю, Баланчивадзе сыграл не то этюд, не то прелюдию собственного сочинения, красивую вещь, полностью построенную на атональных созвучиях. Стейнбек одобрительно закивал и, обращаясь ко мне, в обвинительном тоне, как будто я был автором постановления, спросил, признаю ли я такую музыку или нет. Этюд мне понравился, и я вполне искренне об этом сказал.

- В таком случае как можно соглашаться с этим нелепым постановлением?

- Мне трудно судить о его деталях, так как я не музыкант, но я понял его как призыв к композиторам писать более доступную народу музыку, – ответил я как можно спокойнее.

Однако Стейнбека ответ не удовлетворил, и он продолжал доказывать, что простота и доступность в литературе не всегда признак талантливости. К тому же в Советском Союзе постановления одобряют и те, кто вообще не имеет к музыке никакого отношения. На это мне нечего было возразить. Неизгладимое впечатление на моих подопечных произвела поездка в Батуми. Выехали мы ночным поездом, а утром оказались в субтропиках: голубые горы вдали и сочные луга со стадами коров и отарами овец сменились холмами с чайными плантациями, мандариновыми рощами, зарослями бамбука, пальмами, тенистыми коридорами подступающих к полотну кипарисов, платанов, гранатовых деревьев; всё это мело в лучах ослепительного солнца, выглядело неправдоподобно красивым, и казалось, весь этот райский край населяют люди, не знающие, что такое заботы, нужда, страдание, горе. В коридорах вагонов мальчишки-аджарцы разносили груши, инжир, персики; пассажиры-кавказцы, преимущественно мужчины, выглядели свежими, крепкими, и лишь изредка встречались строгие женские лица в чёрных платках, напоминавшие о том, что и здесь во многих семьях затаилась боль утрат.

Батуми встретил нас всё тем же ярким солнцем, морским воздухом, пёстрыми толпами загорелых людей на бульварах, в скверах и пляжах. Мы остановились в прекрасной гостинице «Интурист», где балконы в номерах выходили на море. Передохнув, отправились в сопровождении Микавы осматривать город, его порт, санатории, проспект Сталина, парк. На другой день побывали на чайной фабрике и в близлежащем колхозе. Стейнбек был человеком любознательным, интересовался многим, в том числе и растительностью юга. За время нашей поездки он много раз спрашивал гидов о тех или иных деревьях, кустарниках, травах, сравнивая кавказскую флору с калифорнийской и обнаруживая немалые познания в ботанике. Я заметил, что к природе вообще он относился двояко, растения, звери, птицы, рыбы интересовали его во многом как натуралиста, и у меня даже возникла мысль, не теснит ли в нём потенциальный учёный художника. В то же время его книги проникнуты духом пантеизма, который изначально опирается на философское и эстетическое восприятие природы. В «Гроздьях гнева», «Жемчужине», «Небесных пастбищах»,

почти во всех других романах и повестях Стейнбека то явно, то подспудно звучит тема биологического и духовного родства человека и природы. Чем ближе его герои соприкасаются с окружающим их естественным миром, тем заметнее в них проявляются здоровье и вечные начала жизни. В свою очередь природа и весь вещный мир нередко наделяются человеческими признаками, одухотворены, изменчивы, подвижны, порой необычны в, казалось бы, привычном своём существовании.

Близко наблюдая Стейнбека в то лето, я всё больше убеждался в том, что и его любознательность «натуралиста», и его пантеизм, вобрав в себя в какой-то мере мировой опыт духовного освоения материального мира, в то же время отражали национальные традиции литературы США, а в более широком смысле – национальные особенности американского сознания, как оно сложилось в условиях особой близости первых поселенцев к дикой природе западного полушария и необходимости выживания в этой среде. Отражали они и романтическое преклонение пришельцев перед величием нетронутых цивилизацией лесных дебрей, прерий, рек, озёр. Отсюда во многом берёт истоки и тот традиционный для американских писателей конфликт между патриархальной близостью к природе героев – охотников, фермеров, пастухов, рыбаков и поступью индустриализации с её ростом городов, теснящих естественную среду обитания. В этом смысле Стейнбек, как и Хемингуэй, – прямой продолжатель традиций Ф. Купера, Г. Торо, М. Твена, Д. Лондона, других своих предшественников. В уже упомянутой книге «Путешествие с Чарли. В поисках Америки», вышедшей в 1962 году, он поражается переменам, происшедшим за два десятилетия в знакомых ему штатах, в том числе в родном городе Салинасе. Технический прогресс и успехи бытового комфорта словно парализуются издержками цивилизации: города окружены свалками и кладбищами старых машин, воздух отравлен химикалиями, реки забиты брёвнами, хищнически вырубается леса, а пища в стерильно чистых пакетах утратила свой естественный вкус.

В какой-то мере эту тревогу об утрате естественной среды обитания человека писатель ощущал уже и в то время, когда приезжал к нам. Сужу об этом по тому, с каким удовольствием он пользовался каждой возможностью выпить родниковой воды, кружку молока в деревне, съесть яблоко, сорванное с ветки, как радовался тому, что казалось ему здоровой,

народной основой жизни. Особенно запомнилось мне посещение в окрестностях Батуми семьи председателя колхоза, в котором мы до этого побывали. Под вечер мы въехали в селение, напоминавшее сплошной сад, и остановились у просторного дома, рядом с которым росли хурма, грушевые, гранатовые и персиковые деревья. Нас встретила пожилая чета – родители председателя; во дворе уже собралось десятка два гостей. Никогда до этого я не встречал таких красивых стариков: смуглые, словно отчеканенные из бронзы, худощавые лица, благородная седина голов, гордая осанка горцев; спокойное достоинство в движениях. Вероятно, так выглядели Филемон и Бавкида в известном античном предании о супружеской паре, которую навел в их убогой хижине Зевс, даровав хозяевам на прощание долголетие и возможность умереть в один и тот же день. Только обитала эта чета не в хижине, а в добротном каменном доме с навесом и верандой, увитыми виноградной лозой. По-русски они не говорили. Кстати, в Грузии мне не раз приходилось пользоваться двойным переводом: сначала Микава или кто-нибудь ещё переводил на русский язык, а затем я – на английский. Стейнбек был восхищён увиденным. Я почувствовал, что для него эта семья была своего рода кавказским вариантом Джоудов, но не изгнанных с земли, а обретших на ней счастье в труде, достаток и покойную старость.

Стол, приготовленный для ужина, поражал изобилием: были тут и национальные кавказские блюда, и такое, что явно не входило в рацион колхозников: икра нескольких сортов, затейливые салаты, колбаса салями. Судя по тому, что среди гостей находился и директор гостиницы «Интурист», легко было догадаться, откуда всё это появилось. Красное кахетинское в бочонке принадлежало хозяевам, шампанское, сухие вина в бутылках, коньяк – были ресторанного происхождения. Не знаю, догадался ли об этом Стейнбек, но удивлён он был таким изобилием немало. Никаких политических споров на этот раз не было, произносились тосты за здоровье гостей и хозяев, за дружбу двух народов. Мужчины за столом слаженно спели несколько грузинских песен и, выйдя во двор, станцевали лезгинку.

Стейнбек всё присматривался к директору «Интуриста» – плотному, налитому силой мужчине лет тридцати пяти. Когда мы вернулись в гостиницу, он предложил ему:

- Хотите помериться силой: кто кого пережмёт?

Услышав перевод, директор спросил Микаву:

- А он не обидится?

- Конечно, нет.

- Хорошо!

И вот, поставив потвёрже локти на стол, они, по моему сигналу, начали состязание. Оба покраснели от натуги, сцепленные руки дрожали, не подаваясь ни в ту ни в другую сторону, но мало-помалу здоровяк-директор начал пригибать руку соперника книзу. Стейнбек сделал последнее судорожное усилие выровнять положение и тут же сдался.

- Сверхчеловеческая сила! – с удивлением проговорил он, потирая онемевшие пальцы. По его словам, до этого он редко кому уступал в таком состязании.

Через два дня мы вернулись в Тбилиси. Наступило время отъезда. Накануне вечером грузинские писатели устроили прощальный приём в ресторане на горе, откуда открывался вид на весь город. Было непринуждённо и весело, беспрестанно звучали тосты. Стейнбек говорил о том, как он рад, что побывал в Грузии, и какой глубокий след в его душе оставил этот прекрасный край и его народ. Дошла очередь до меня. Я сказал:

- Один великий человек так определил задачу деятельности культуры: убить зверя в человеке. Предлагаю поднять тост за тех, кто выполняет эту благородную миссию!

Многие знали о том, что изречение принадлежало Сталину, и встретили тост шумным одобрением, но Стейнбек сразу же энергично запротестовал:

- Не согласен! Человек, в котором уничтожен зверь, был бы невероятно скучным.

За столом вспыхнула полемика, большинство опровергало Стейнбека, он горячился, ссылаясь на роль инстинктов, но поддержки не встретил, и Абашидзе дипломатично предложил перенести дискуссию до лучших времён.

Мы вышли из банкетного зала на отгороженную балюстрадой площадку. Внизу под нами, как драгоценное ожерелье, сверкал огнями Тбилиси, в небесах мерцали по-южному яркие звёзды, тихая, тёплая ночь настраивала на лирический лад. Разговоры смолкли, все точно сговорились о том, что наши разногласия, споры, конфликты, всё, что разъединяет людей, до смешного мелко и ничтожно перед этим величием природы и человека, сотворившего на протяжении столетий борьбы и страданий такое чудо, как Тбилиси.

Впрочем, и в эту поездку не обошлось без ложки дёгтя. С первого же дня проживания в тбилисской гостинице «Интурист» Стейнбек и Капа попросили директора ресторана приготовить для них самый простой завтрак не позднее восьми утра, с тем чтобы успеть побывать в намеченных местах. Тот заверил, что их просьба будет уважена. Однако на другое утро ни в восемь, ни в девять завтрак не был готов. Я спустился в ресторан, директора ещё не было, меня направили к поварам. На кухне я в самой вежливой форме повторил просьбу.

- Сделаем, дорогой, не беспокойся, – заверили меня упитанные усатые мужчины в белых колпаках, и действительно, примерно через час, то есть в десять утра, в наши номера подали богатый завтрак, к которому рассерженные Стейнбек и Капа едва притронулись, довольствуясь бутербродами и чашкой кофе. На другое утро история повторилась, Я пожаловался Микаве, тот сделал замечание директору ресторана, однако это ни в какой мере не ускорило приготовление завтрака, и я убедился в том, что кое-кто здесь был неуправляем. Американцы продолжали удивляться и негодовать, поэтому я решил по приезду в Москву поговорить с В.С. Кеменовым, чтобы «Интурист» всё же принял какие-то меры по отношению к своему грузинскому отделению. Выслушав меня, председатель хмуро ответил:

- Если хотите жаловаться, это ваше дело. Я этим заниматься не буду.

В его ответе я уловил и то, что не было сказано, а именно: и вам не советую...

Золотая авторучка

После возвращения из Грузии мне довелось встречаться со Стейнбеком ещё четырежды. Прежде всего во время поездки в Дом-музей П.И. Чайковского в Клину. Был конец лета, в Подмосковье установилась та тихая предосенняя пора, когда природа уже готовится к долгому отдыху, лёгкие туманы смягчают краски полей и перелесков, и всё вокруг располагает к элегическому настроению, так проникновенно переданному гениальными творениями композитора. Мне было интересно, в какой мере Стейнбек чувствует эту национальную окраску музыки Чайковского, её связь с неброской природой среднерусской полосы, с особенностями душевного склада русских людей. О том, что он уделяет внимание национальному своеобразию того или иного народа, я убедился на Украине и в Грузии,

но за всё время наших поездок он ни разу не заговорил о русских людях и современной России, хотя охотно упоминал о классиках нашей литературы и восхищался музыкой Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова. Постепенно и начал догадываться о том, что в словосочетании «Советская Россия» он воспринимал главным образом его первую часть, а вместе с нею и всё то негативное, что связывал с понятием «советы», как, впрочем, и большинство его соотечественников. Поездка в Клин укрепила меня в этой догадке: национальное величие русской культуры он видел и прошлом.

По длинной, усыпанной гравием аллее мы прошли в глубину усадьбы, где среди деревьев стоял Дом-музей, почти не видный с улицы. Осенью 1941 года фашисты, захватив Клин, устроили в его нижнем каменном этаже гараж для мотоциклов и шорную мастерскую, а комнаты Петра Ильича и его брата Модеста наверху превратили в казармы. По счастью, основные ценности музея были вывезены в Воткинск, на родину композитора, ещё в начале войны. Обо всём этом мы узнали чуть позже, а пока я с тревогой всматривался в Дом и всё вокруг, страшась увидеть следы хозяйничания оккупантов. Нет, всё выглядело благоустроенным и прибранным. Оказывается, музей был полностью восстановлен ещё в мае 1945 года.

Внизу нас встретил пожилой, седобородый и большелобый мужчина в тёмно-синем костюме, настолько похожий на П.И. Чайковского, каким он изображён на самом известном портрете, что, казалось, сам великий композитор вышел из рамы и шагнул нам навстречу. Стейнбек в первое мгновение даже смешался и вопросительно взглянул на меня. Как оказалось, перед нами стоял Юрий Львович Давыдов, младший племянник Петра Ильича и главный хранитель фондов музея. В то время ему было за шестьдесят. Две его дочери работали здесь же. Юрий Львович и стал нашим гидом. Иногда он обращался к Стейнбеку через меня, иногда непосредственно по-французски. Подробно рассказав об истории создания музея и роли в этом Модеста Ильича, он затем поделился детскими воспоминаниями о Петре Ильиче, его распорядке дня, прогулках в окрестностях Клина, привычках, о посещении его друзьями и поклонниками. Стейнбек вообще-то недолюбливал музеи, но здесь он впитывал каждое слово. В записи негромко звучал фортепианный концерт Чайковского, и это создавало особый поэтический фон к неторопливому, обстоятельному рассказу о не таком уж далёком прошлом. Мы поднялись

наверх, в гостиную, с её знаменитым роялем, нотными тетрадями, фотографиями родственников и друзей, подарками композитору. Было в этом уголке нечто уже выходящее за рамки только личной биографии Чайковского, что-то от жизни лучшей части дооктябрьской русской интеллигенции с её несуетным бытом, духовной взыскательностью, высоко развитым чувством нравственной ответственности перед своим народом. И было так ясно, что Юрий Львович, последний из живущих, кто лично общался с Чайковским, полностью принадлежит этому неповторимому миру прошлого. В восьмидесяти шести километрах отсюда шумела огромная, беспокойная послевоенная Москва, а здесь, на окраине тихого Клина, неприметно доживал свой век один из тех, кто связывал эти две эпохи, и как только оборвётся эта тонкая ниточка, такая связь уже станет только музейной, останется лишь в вещах, архивах, воспоминаниях ушедших. Стейнбек был задумчив. При прощании с Юрием Львовичем нам всем стало грустно: и потому, что каждый знал – мы никогда уже больше не встретимся, и потому, что в музее почти не было посетителей, и потому, что и гости, и он понимали, как много утрачено из духовных традиций старой русской интеллигенции. Это настроение грусти по-своему отражено в «Русском дневнике» Стейнбека, где он пишет об одиночестве племянника великого композитора, маленького человека, затерянного в новой для него России и живущего только прошлым.

Второй раз мы встретились со Стейнбеком и Капой во время экскурсии в Кремль. В те годы такое посещение разрешалось редко, и я, узнав о том, что нам приготовлены пропуска, обрадовался не меньше наших гостей, т. к. никогда раньше здесь не был. Нет необходимости описывать всё, что мы увидели, а вот впечатления Стейнбека от этой экскурсии любопытны. Его внимание привлекли не столько старинные кареты, украшения, кубки, предметы культа, сколько тесные, с низкими потолками палаты XVII века, в которых он видел нечто символическое – образ жизни правителей, спрятавшихся в этих расписанных узорами каменных клетках от людей. Разумеется, прямо об этом он не говорил, но в вопросах и репликах давал понять, как были неудобны для жизни и как отгораживали царей от внешнего мира такие палаты. В «Русском дневнике» Он уже открыто сопоставил прошлое с настоящим, упомянув о Сталине, который так же, как и его кремлёвские предшественники, где-то таился от собственного народа.

Наступило время отъезда гостей. К. Симонов, принимавший до этого Стейнбека у себя на даче, устроил в ресторане «Арагви» для узкого круга прощальный ужин. Кроме Стейнбека и Капы, были приглашены И. Эренбург, В. Вишневский, С. Маршак, В. Каверин, а от ВОКСа – В. Кеменов, А. Караганов, С. Караганова, С. Литвинова и я. Как и следовало ожидать, на ужине не обошлось без острой политической дискуссии. Самым энергичным и шумливым спорщиком оказался В. Вишневский, а поскольку он был знаком с Капой ещё по Испании, то свои вопросы и инвективы адресовал прежде всего ему.

- Скажи, Роберт, – грозно вопрошал он через стол Капу в стиле морячка-братишки, – если между американцами и нами начнётся война, на чьей стороне ты будешь?

Капа пытался уклониться от прямого ответа, сославшись на то, что он не допускает такой роковой развязки и что надо думать прежде всего о том, как улучшить отношения между двумя сторонами. Однако Вишневский требовал ответа: да или нет, заодно обвиняя западную интеллигенцию вообще в пассивности в том, что касается борьбы против империализма и поджигателей новой войны.

Более гибкую позицию занимал Симонов, в то время ещё черноволосый, красивый баловень судьбы, отмеченный печатью гордой уверенности в себе. Сославшись на свою поездку в Соединённые Штаты, он заговорил о том, что сейчас там разжигается антисоветская истерия, а само слово «коммунист» стало ругательным.

- Я – коммунист и горжусь этим! – громко, отчётливо, с полемическим задором произнёс он, обращаясь к Стейнбеку. – Никто и ничто не собьёт меня с этих позиций. Но я в то же время хочу, чтобы между нашими странами развивались нормальные отношения и в Америке перестали натравливать свой народ против нашего.

Стейнбек внимательно вслушивался в перевод... и отмалчивался. Отношение его к Симонову было двойственным: понимая заслуженную популярность Симонова – фронтового журналиста, автора известных романов, стихотворений, пьес, отмечая его личное обаяние, Стейнбек в то же время с насмешкой отзывался о его попытке обрисовать нравы американской прессы в драме.

«Русский вопрос», особенно в том, что касается влияния на прессу крупных магнатов-тайкунов.

Эренбургу явно не понравился слишком уж бурный натиск Вишневого, потребовавшего, чтобы Стейнбек по возвращении в Штаты написал дружественную нам книгу. Вспыхнула дискуссия уже между нашими писателями. Споры перемежались тостами. Умно и сдержанно выступили Кеменов и Караганов. Я сидел рядом с Маршаком, который в отличие от своих коллег-писателей не вмешивался в споры и лишь изредка обращался ко мне с каким-нибудь вопросом. «Что за скромный, милый человек этот Маршак, – думал я. – А ведь он, наверное, тоньше всех чувствует и серьёзную и юмористическую сторону нашего застолья и, может быть, когда-нибудь напишет об этом одну из своих великолепных стихотворных шуток». Внезапно Кеменов попросил меня тоже сказать несколько слов. Застигнутый врасплох, я вспомнил украинского мальчика Гришу и высказал пожелание, чтобы он, став взрослым, не удивлялся тому, что американцы тоже люди, и чтобы никогда не узнал, что такое война. В заключение я пожелал Стейнбеку успеха в работе над книгой о его путешествии. Эренбург и Симонов, видимо, усмотрели в таком пожелании новую попытку нажима на Стейнбека, потому что запротестовали, и между ними и Вишневым снова вспыхнул спор. Стейнбек, кажется, так и не понял до конца, из-за чего разгорелся сыр-бор.

В день отлёта гостей на родину на аэродроме их провожали от ВОКСа Караганов, Светлана и я. Воспользовавшись минутой, когда Караганов и Светлана беседовали с корреспондентом «Нью-Йорк Геральд Трибюн» Джо Ньюменом, Стейнбек и Капа обратились ко мне с благодарностью за помощь в путешествии. При этом Стейнбек добавил, что хочет оставить мне на память маленький сувенир. Он вынул из кармана свою позолоченную шариковую ручку и протянул мне. Поблагодарив, я тут же отказался от подарка, сославшись на то, что у нас это не принято. Стейнбек и Капа немало удивились и начали убеждать меня принять сувенир. Понимая всю нелепость в их глазах дальнейших моих отнекиваний, я вынужден был взять ручку, раздумывая, что мне с нею делать. Гости улетели, а на душе у меня остался горький осадок: было стыдно за то, что скорее всего придётся скрывать полученный подарок, иначе не избежать объяснений и подозрений со стороны заинтересованных лиц; было обидно из-за того, что взаимная настороженность, обоюдные идеологические обвине-

ния, языковые трудности помешали мне установить по-настоящему дружеские отношения с писателем.

Судьба золотой ручки Стейнбека оказалась довольно грустной... Первые грозные раскаты для руководящих работников ВОКСа прогремели, когда нас всех вызвали для отчёта на заседание международного отдела ЦК, которое вёл заместитель М. Сулова А. Панюшкин. Были приглашены работники Министерства иностранных дел, послы СССР в Англии и Франции, видные деятели культуры. Меня предупредили о том, что надо подготовить отчёт на пятнадцать минут, и я, посоветовавшись с Кеменовым и Карагановым, набросал проект реорганизации американского отдела, предлагая, в частности, выделить латиноамериканские страны в новое образование, а наш назвать отделом культурных связей с США, т. к. вникнуть в культурную жизнь всей Южной Америки, имея в Обществе всего одного специалиста, было невысказано. Готовясь к заседанию, мы понимали, что будет критика, и острая, т.к. сами осознавали многие свои просчёты и недостатки, но то, что произошло в большом, заполненном людьми зале заседаний в ЦК, так сказать, превзошло все наши ожидания. Вместо делового и вдумчивого анализа работы общества началось настоящее его распятие на кресте. Во всяком случае, ни я, ни другие воксовцы не заметили какого-нибудь конструктивного желания помочь нам в работе, а обсуждение превратилось скорее в злорадное улюлюканье по поводу реальных и мнимых ошибок ВОКСа. Едва Кеменов закончил свой отчёт, как со всех сторон натренированные в таких делах инструкторы, преимущественно молодые люди, придираясь к мелочам и фактикам, начали шпынять его вопросами и репликами, цель которых состояла в том, чтобы вызвать подозрение к общей политической линии общества, обвинить его сотрудников в низкопоклонстве перед Западом, в передаче буржуазным учёным государственной информации, в идеологических ошибках, якобы содержащихся в посылаемых за границу материалах. Снова всплыл вопрос, почему в отправленной в США выставке о Великой Отечественной войне только один портрет Сталина и такого же размера, как портреты Рузвельта и Черчилля.

К сожалению, не отставали от инструкторов и некоторые дипломаты. Пользуясь тем, что им гораздо лучше известна обстановка в западных странах, чем воксовским работникам, которые не имели возможности бывать за рубежом, последних обвиняли в слабом знании культурной жизни за рубежом, в

малой эффективности посылаемых материалов и т. п. Всё это было так, но хотелось спросить: так почему же вы не помогаете обществу лучше узнать страну, где работаете? Надо отдать должное Кеменову: он сражался в этой борьбе за истину мужественно и достойно, однако силы были явно неравны, и всем стало ясно, что уход его с поста председателя ВОКСа лишь вопрос времени.

В перерыве ко мне подошёл один из инструкторов аппарата А. Панюшкин, ещё молодой человек в костюме стального цвета.

- Вы, кажется, будете сейчас отчитываться?

- Да, если повестка не изменилась.

- Я советую вам остановиться на ошибочной и опасной линии Караганова как заместителя председателя ВОКСа.

- Что вы имеете в виду? – удивлённо спросил я.

- Есть неопровержимые факты...

Мне они неизвестны. Напротив, у меня сложилось самое положительное мнение о его работе.

- Так вы отказываетесь помочь ЦК?

- Не понимаю вас.

- Ну, как знаете... – зловеще проговорил он отходя.

Через некоторое время А. Караганов был исключён из партии и уволен из ВОКСа за то, что якобы скрыл факт ареста своего отца, обвинённого за антисоветскую агитацию. А ещё примерно через месяц настал мой черёд. Удары последовали один за другим: в декабре я похоронил Инну и ещё не успел как следует отойти от потрясения, как в ВОКС пришёл из ЦК запрос найти документы о посылке в США профессору Ваксману образца нового препарата против дифтерии под названием «эритрин». Препарат был послан бывшим министерством медицинской промышленности через нашего уполномоченного в Вашингтоне. На сопроводительном письме стояла подпись моего заместителя и моя виза. И хотя данные об эритрине были опубликованы в нашем медицинском журнале, и хотя сам его изобретатель профессор Зильбер, с которым я беседовал, считал, что его постигла неудача, обвинительная карусель стала набирать обороты. Запестрели формулировки о большом государственном ущербе, нанесённом СССР, об антипатриотическом поступке, преступной халатности и т. п. К слову сказать, эритрин был отправлен тому самому биологу Ваксману, который до этого помог нам с культурой пеницилина и стреп-

томицина. Наши надежды на расширение сотрудничества с американскими учёными рухнули в одночасье.

Моё персональное дело рассматривали на правлении ВОКСа. Особенно усердствовал в патриотическом негодовании Е. Решение – уволить. Советский райком тут же исключил меня из партии. В комитете партийного контроля МГК нашёлся старый коммунист, который, изучив дело, пришёл к выводу, что причин для исключения не было, однако Фирюбин, бывший тогда секретарём МГК, выдвинул новое абсурдное обвинение, будто я скрыл факт посылки препарата в США, хотя мной же и было представлено в комиссию наше сопроводительное письмо. Оставалось ждать ареста. Я послал письмо в последнюю инстанцию – Комитет партийного контроля ЦК, Шкирятову. Ожидая решения своей участи и перебирая дома все свои записи, письма, фотографии, книги, чтобы уничтожить всё, что хоть как-то относилось к США, в ящике стола я обнаружил авторучку Стейнбека, о которой уже было забыл. Вместе с другом А. Дмитриевым мы снимали комнату в доме на Новослободской улице. Не сказав ему ни слова, чтобы не запутать его имя в случае ареста, однажды поздним апрельским вечером 1948 года я вышел в полутёмный двор, окружённый невысокими домами, размахнулся и забросил ручку на крышу одного из них. Через мгновение она звякнула о жёсть...

Председатель комитета партийного контроля при ЦК Шкирятов, выслушав на заседании мои объяснения, оставил решения МГК об исключении из партии в силе, посоветовав поработать в глубинке, а затем ставить вопрос о восстановлении. Через неделю я навсегда уезжал из Москвы.

Учительствуя в Ульяновской области, я постепенно начал восстанавливать в памяти и записывать наиболее значительные случаи из военных лет, работы в Австрии и в Москве, в том числе и те, которые относились к Стейнбеку. Некоторые из глав его «Русского дневника», опубликованные «Нью-Йорк Геральд Трибюн», я успел прочитать ещё в ВОКСе, но саму книгу, изданную в Нью-Йорке в 1948 году, смог заполучить только через сорок лет. Прочитал я её одним духом и, откровенно говоря, был разочарован. По моему убеждению, это далеко не лучшее из того, что написал прославленный американский романист. В этом легко убедиться, сравнив его «Русский дневник» хотя бы с глубоким и остроумным «Путешествием с Чарли. В поисках Америки». В чём тут причина? Думаю, прежде

всего, в том, что его путевые очерки о нашей стране писались по заказу, были рассчитаны на массового читателя газеты, привыкшего к определённым стереотипам в отношении Советского Союза и развлекательной подаче материала. Отсюда те стандартные маски-имиджи, которыми заселён «Русский дневник»: благородного американского дипломата Смита, который, как и весь его штат, включая военного атташе, якобы отчаянно боролись за установление дружественных отношений с СССР; чудаковатого фоторепортёра, присваивающего чужие книги, и т. д. Мне в этой галерее имиджев было уготовано ампула хмурого, никогда не улыбающегося советского службиста, к тому же наделённого тяжёлым характером. Вероятно, я в чём-то дал повод для такой оценки, но меня всё же крайне удивило и огорчило то обстоятельство, что Стейнбек, зная о тяжёлой болезни моей жены, так и не догадался о том, как мало было у меня в то время поводов для веселья.

Возможно, на уровне «Русского дневника» сказалась и спешка, в какой он создавался. Отсюда наряду с глубокими наблюдениями и мыслями соседствуют весьма поверхностные суждения и выводы. Например, он легковесно, без знания нашей истории отождествляет Ленина и Сталина; в распространении культа Сталина видит главным образом курьёзный аспект этого уродливого социально-психологического явления, ни разу не коснувшись его трагической стороны, которая Стейнбеку была безусловно известна из западной прессы. Явно торопливой и скомканной выглядит концовка заметок: «У нас нет других выводов, кроме того, что русский народ похож на все другие народы мира. Разумеется, есть некоторые плохие люди, но гораздо большее число хороших». Право, стоило ли ехать в такую далищу ради такого скромного вывода.

Но если по содержанию и литературным достоинствам «Русский дневник» уступает большинству других произведений Стейнбека, то, как исторический и биографический документ его книга представляет немалую ценность, запечатлев картины послевоенной жизни советского народа, любовь автора к рядовым труженикам, его ненависть к деспотизму, приверженность к духовной независимости личности и политической свободе.

ПРОЗА

Актриса

Мы вышли из кинотеатра «Москва», где только что просмотрели старый австрийский фильм о карьере молодой актрисы, и я, привлеченный огнями рекламы, еще раз взглянул на героиню – красивую, победно улыбающуюся женщину в бальном платье, нарисованную на афише. Женщина, казалось, достигла высшего в ее представлении счастья и блаженства, ей не осталось больше ничего желать и, безразличная ко всему на свете, кроме себя, упоенная успехом, она гордо смотрела на мир большими прекрасными глазами. Ее вид почему-то вызывал во мне желание смутить это фальшивое представление о счастье.

- Что-то в ней есть свежее, несмотря на пошлость фильма, – сказал я. – Дать бы ей хорошую роль, мне кажется, она могла бы сыграть интересно.

Мой товарищ по институту Василий Волков, приехавший в отпуск из-за границы, тоже задержал взгляд на афише.

- А я ведь знал ее, – сказал Волков, после некоторого молчания»

- Это интересно, – заметил я, приглашая его рассказывать»

- После войны я, как ты знаешь, работал в Вене. В круг моих обязанностей входили вопросы культуры. Однажды в мой кабинет вошла красивая богато одетая женщина лет тридцати, с избалованным выражением лица, манерная и довольно-таки развязная. Я ее узнал по портретам: это была популярная в свое время киноактриса Эрика Вар, которую мы только что видели с тобой в фильме; узнал и немало удивился, так как при наступлении советских войск она выехала из Вены в Зальцбург и жила в американской зоне. Хотя она при гитлеровском режиме снималась только в салонных мелодрамах вроде этой и, насколько мне известно, никак себя политически не скомпрометировала, её бегство к американцам нас не удивило. Такие случаи бывали, особенно, если учесть, как расписывала советских солдат гитлеровская пропаганда. Я предложил ей сесть и сухо спросил:

- Чем могу служить?

Она была, видимо, удивлена таким приёмом и некоторое время смотрела на меня с кокетливым укором.

- Вы разве меня не знаете? – спросила она наконец.

- Если не ошибаюсь, госпожа Вар.

- Ах, вот как! – она наигранно вспыхнула, порылась в сумке, достала оттуда несколько газетных вырезок и положила передо мной. Я просмотрел эти заметки, вырезанные из австрийских, американских, швейцарских и даже итальянских газет. Несколько статей в юмористическом тоне рассказывали о том, что Эрика Вар подала в суд на какого-то швейцарского журналиста, приписавшего ей антисоветские высказывания, и выиграла процесс: журналист должен был уплатить штраф за оскорбление словом. В других сообщалось о ее концертах, пользовавшихся якобы шумным успехом.

- Чего же вы от нас хотите? – спросил я.

- Ничего, решительно ничего, кроме разрешения дать концерт для ваших солдат. Я хочу окончательно покончить с этой клеветой, – она показала на заметку, – Можно?

- Как вы попали в Вену?

- Прилетела из американской зоны. Полковник Поулсти – мой друг. Он мне покровительствует, – добавила она с довольной улыбкой.

Я попросил ее оставить газетные вырезки и зайти за ответом завтра. В тот же день ко мне пришел наш частый гость, австрийский режиссер Гольцер, который снимал фильм о судьбе военнопленных, возвращающихся на родину. В свое время гитлеровцы считали его чуть ли не коммунистом, в кино не допускали и даже продержали год в концлагере; теперь, добравшись до любимого дела, он работал с необычайным воодушевлением.

- Вы слышали новость? – спросил он по-русски, протягивая руку.

- Да. Эрика Вар в Вене. Она была уже здесь, – я показал ему газетные вырезки. Он внимательно прочитал их и с волнением заговорил:

- Одаренная женщина, но с причудами. Зачем побежала к американцам? Я с ней беседовал. Теперь ей пришла новая идея: ехать в Соединенные Штаты, заключать контракт в Голливуде. Нашла себе протектора-офицера. А жалко! Для нее есть роль. Какая роль!

- Что же, если она так решила, то ее не удержишь, Да и стоит ли удерживать? – сказал я.

- Погибнет, – закричал! Гольцер с болью в голосе» – Есть талант, а там все истратит на пустячки.

Посоветовавшись, мы отказались от концерта Эрики Вар, о чем я известил её по телефону.

Через несколько дней мне довелось присутствовать на параде войск четырех оккупирующих Австрию держав по случаю первой годовщины со дня победы над фашистской Германией. Я стоял в толпе приглашенных, плотно окружавших большую, вытянутую площадь, на одной стороне которой высился позеленевший от времени памятник Шварценбергеру, а на другой – недавно поставленный монумент советским воинам, погибшим в боях за Вену.

Наши войска стояли первыми недалеко от своего памятника. На самом краю площади разместились в темно-синих свисающих на ухо беретах французы. Солдаты в последних рядах были такого маленького роста, что выглядели почти мальчиками.

- Вот нация, которая вырождается на глазах, – услышал я сбоку фразу, сказанную по-английски с американским выговором.

- Ты прав, мой милый. Какие они игрушечные, – ответил женский голос также по-английски, но с сильным немецким акцентом. Я взглянул в ту сторону и увидел сияющую и разодетую Эрику Вар, Рядом с нею стоял высокий плотный американский полковник лет тридцати пяти, которого я несколько раз встречал в секретариате. Он рекомендовал себя специалистом по культуре.

- Представь себе человека с самодовольным лицом, настолько красным и лоснящимся, что кажется, сейчас он начнет икать от обжорства.

Полковник Поулсти посмотрел в мою сторону,

- Вы, кажется, знакомы? – кивнул он в сторону своей спутницы. Вар закивала головой, заулыбалась и поспешила ответить:

- О, да, очень мало. А, гер Гольцер! Вы тоже здесь!

Гольцер сухо поклонился.

- Завтра я лечу в Нью-Йорк, – заговорила Вар оживленно, – подписан контракт на четыре года. Условия божественные.

- Похищение Европы, – сострил Поулсти и громко расхохотался.

- Кто же в этой инсценировке бык? – спросил Гольцер. Американец очевидно принял это за комплимент, так как закричал со смехом, тыча себя в грудь:

- Я, я! Ха-ха-ха!

Эрика покраснела и ударила его слегка веером по руке.

- Олрайт, олрайт! – сказал он, похлопав её по спине.

Гольцер побледнел от гнева и отвернулся, крепко сжав сзади пальцы.

- Что же вы пожелаете мне на прощание? – спросила Вар быстро.

По ее серьезному виду я понял, что ей очень хотелось знать, как мы относимся к ее отъезду в Америку.

- Успеха здесь, в Австрии.

Она нахмурилась и слегка вздохнула:

- Какого успеха здесь ждать? Делить нужду побежденной, оккупированной страны? Нет, будь что будет...

Прошло около двух лет. Я все еще оставался в Вене, но уже демобилизовался и перешел на дипломатическую службу. Со старыми венскими знакомыми, работниками искусства, приходилось встречаться редко. Гольцера я не видел около полугода. Однажды в театре «Скала» на премьере спектакля, поставленного по пьесе советского драматурга, в антракте кто-то подошел ко мне сзади и крепко сжал локоть. Я узнал Гольцера по этой фамильярной привычке. Он уже работал над следующей картиной, был доволен и точно помолодел за это время. Гольцер стал было разбирать достоинства и недостатки спектакля, как вдруг, что-то вспомнив, достал из кармана густо исписанные листы бумаги.

- Я имею кое-что интересное для вас. Это письмо Эрики Вар из Соединенных Штатов. Послушайте!

«Дорогой Гольцер, я обращаюсь именно к Вам потому, что никто другой не поймет меня так, как Вы: Мы оба любим искусство, и Вы верили в мой талант. Вот уже скоро два года, как я живу в Голливуде, получаю жалованье точно по контракту и почти ничего не делаю. Да, да. Нельзя же принимать всерьез то, что я снималась три-четыре раза статисткой без слов. Ужаснее всего, что нет надежды на то, что меня допустят здесь сниматься когда-нибудь вообще. Десятки таких, как я, счастливы, если получают третьестепенную роль в третьеразрядной ковбойской мелодраме. Некоторые закрыли глаза на все и устраиваю свое личное счастье, но, Гольцер, я актриса. Я хочу играть, сниматься, я не скрою от Вас: хочу славы. Мне говорят, что мой английский еще хромает, но это ложь: два года я зубрю этот язык и произношу заученные фразы, как прирожденная американка. Дело в другом. Нас свезли сюда не для того, чтобы мы снимались в Голливуде, а для того, чтобы мы не снимались дома, чтобы наши фильмы не конкурировали с американскими. Гольцер, Вы подумайте,

какой грязный торгашеский расчет губит мою судьбу. Ведь годы уходят, я старею, моя красота блекнет, но главное не это, а то, что я душевно исчахла, я не ощущаю в себе уверенности и боюсь, да, боюсь сниматься. Я иногда кажусь себе такой же бездарной, как эти герлс, которых показывают в конвейерных фильмах. Полковник Поулсти оказался просто на просто агентом киноконцерна. Я подло обманута. Но еще не все потеряно. Больше всего на свете я хочу вернуться домой. Вы ведь предлагали мне тогда роль, но контракт мой истекает только через два года. Чтобы разорвать его, надо уплатить крупную сумму. Денег у меня нет, но и двухлетнее рабство для меня невыносимо. Я умру здесь за два года, если не физически, то духовно, и никогда уже не смогу стать актрисой. Гольцер, дорогой друг, я погибаю»...

Гольцер остановил чтение, крикнул и покрутил головой. Второе действие спектакля уже началось, мы остались одни в фойе и билетер несколько раз прошел мимо, кашлянув, но мы не замечали его.

- У вас есть деньги? – спросил я его. Он горько усмехнулся.

- Есть, но американцы установили такое соотношение между долларом и шиллингом, что мне придется еще два года работать только для того, чтобы ее выкупить... Мы найдем выход. Мы покажем этим бизнесменам, что такое братская солидарность честных людей искусства.

Он изложил свой план. Мы вернулись в зал и досмотрели спектакль.

Через несколько недель киноработники собрали нужную сумму и перевели в Голливуд. Вскоре после этого я выехал из Вены. Прошло около года. Как-то, просматривая журналы, я натолкнулся на портрет Эрики Вар и маленькую заметку, в которой сообщалось о том, что она снимается в роли крестьянки в новом фильме Гольцера. А вот фильма не видел. Жалко.

Мы незаметно прошли улицу Горького, Охотный ряд, Каменный мост и дошли до кинотеатра «Ударник». С афиши на нас снова с победоносным видом глядела женщина с прекрасными темными глазами, но теперь она вызывала во мне не просто любопытство, а сочувствие.

Алёшкин приговор

Осенняя ночь подкралась из степи неприметно, как голодная волчица к отаре. Только что на западной стороне неба

между синих туч играла переливами ярко-красная полоса, и вот уже будто кто овчинный тулуп на село набросил: сразу стало темно и глухо. От неожиданности и страха на другом краю Остапова нескладно забрежали собаки. Лишь кое-где сквозь голые ветки садов, осокорей и верб несмело светились в хатах огоньки. После того, как фронт отодвинулся к Сталинграду, немцы разрешили по вечерам не затемнять окна.

Набрав в сарае беремья сухих стеблей подсолнуха и вишневых веток, Христина Ивановна направилась было в летнюю кухню своей низенькой хаты, как вдруг с крыши раздалось протяжное.: ку-гу! В груди у нее похолодело: опять прилетел, нечистый. Второй вечер подряд. И не к кому-нибудь, а именно к ним.

С детских лет она твердо верила, что сыч накликает в доме покойника. Недаром эту зловещую птицу пугачом прозвали. За себя Христина уже давно перестала бояться: к шестому десятку подбирается, свой век, считай, отжила. Но где-то там, на востоке в Красной Армии воевал её женатый сын, от которого она не имела вестей с той поры, как в село пришли немцы. Муж Христины, паровозный машинист Петро Михайлович, в последний раз повел пассажирский поезд на Харьков еще в августе сорок первого, да так и не вернулся домой. Смутно доходили слухи: в Донбассе поезд попал под бомбежку. Кто из них еще жив? И кому накликала гибель ночная гостья?

Расстроенная дурной приметой Христина развела в плите огонь и поставила в казанке картошку. Во дворе заворчала собака, но тотчас успокоилась и начала ласково повизгивать. Вошел, слегка прихрамывая, внук Алёшка. Семи лет упал он с грушевого дерева и навсегда повредил ногу.

- Хорошо, что ты пришел, а то меня тут пугач до смерти напугал, – сказала с облегчением Христина, взглядываясь в худое и озабоченное лицо рослого внука. – Мой руки, вечерять будем. Или что-нибудь случилось?

- Пройдемте, бабуся, в комнату, мне надо что-то вам сказать, – негромко проговорил Алёшка.

Христина захлопнула дверцу плиты и проворно прошла через темные сени в зимнюю кухню, тускло освещенную каганцом. Алёшка прикрыл дверь.

- Сегодня я встретил одного человека, – медленно начал он. – Из Запорожья приехал. Так он недавно дедушку Петра видел...

- Где же он? Арестованный или как?

Сухощавой рукой Христина теребила концы платка.

- Нет, на свободе. Они там в днепровских плавнях скрываются. Только об этом молчок.

- Того объяснять не надо.

- Привет переслал. Просил передать, чтобы вы не беспокоились.

- А про своего батька ничего не слышал?

- Нет.

- Себя береги. Ездишь ты часто. Уже полицей расспрашивал: куда да зачем?

Алёшка промолчал. Христина принесла картошку, и они поужинали. Во дворе теперь уже зло залаяла собака. В дверь постучали. Алешка отодвинул в сенях засов. В комнату вошел немолодой упитанный человек в брезентовом плаще и с деревянным сундучком в руке. В его фигуре было что-то странное. Казалось, когда-то в молодости он собрался пуститься вприсядку, согнул ноги в коленях, а потом раздумал, да так уже и не расправлял их.

- Добрый вечер! – приподнял он картуз и обвел комнату каким-то клейким взглядом. – На постой к вам. Вот направление из комендатуры.

- Проходите, – неуверенно пригласила Христина.

- Из беженцев будете?

- Из них. Лаврентий Карпович меня величают. А мне сказали: вы одна тут проживаете?

- Да, это внук ко мне заходит, чтобы не боялась, – объяснила Христина.

- Ясно. Тогда, значит, сразу же рассудим так: я займу горницу, а вам, мамаша, по старости возраста хватит и этой, что сбоку, – по-хозяйски распорядился Приезжий.

Алешка покосился сверху на его нескладную фигуру.

- А если я вас отсюда в шею? – сказал он деловым тоном. – Вас это устроит?

- Э, нет, юноша, – усмехнулся приезжий. – Меня так просто не вытолкаешь. Не те времена. Я человек заслуженный, израненный.

Он снял грязный плащ и оказался в подпоясанной ремнем черной куртке с петлицами, какие носили полицаи.

- Где же вас ранили? – спросил Алёшка.

- Под Брянском. На mine машина подорвалась.

- А кто подложил?

- «Товарищи». Те, что в лесах ховаются. По ранению и демобилизован.

- А семья ваша где? – спросила Христина, чтобы отвести опасный разговор.

- Нету. И не было никогда.

Приезжий начал снимать сапоги.

- Один живу, – продолжал он, оставшись в теплых носках. – Одному лучше.

- Чем же? – спросил Алешка.

- Забот меньше. Семья – одна морока. А так я сам себе пан. Погляди на меня: сколько дашь?

- Лет сорок пять.

- Вот и не угадал, – довольный засмеялся Лаврентий. – Уже пятьдесят два. Поброюсь, ещё моложе буду. Так-то. Учись, молодой человек, как себя сохранять надо.

- Спасибо за науку, – загадочно усмехнулся Алешка. – Мне спать пора.

Он закрыл за собой дверь в горницу.

- Сурьезный парубок, – кивнул в его сторону Лаврентий. – Комсомольцем, видно, был?

- А я не разбираюсь в этом, – махнула рукой Христина. – Раньше все в школе записывались.

- Так, так, – неопределенно проговорил постоялец. – Ну что ж, займу у вас меньшую комнату, а вы за это будете мне еду готовить.

На другой день он оборудовал в своем закутке что-то вроде сапожной мастерской. На третий с утра ушел на базар, принес оттуда старые сапоги, куски кожи, гвозди. После обеда сучил дратву, латал старье, ваксил, готовил на продажу.

Снова заглянул Алешка.

- В подмастерье ко мне не пойдешь? – спросил постоялец. – Научу.

- Спасибо, не тянет.

- Гнушаешься? В инженера еще надеешься выйти? Или в агрономы?

- Там видно будет.

- погоди, вот немцы возьмут Москву, они из вас хомутов наделают. На коленях будешь просить, чтоб взял чернорабочим на фабрику, а я ещё подумаю.

- Значит, будет своя фабрика?

В зеленых глазах Алёшки светилась открытая насмешка:

- Беспременно будет. Не смейся. Мне бы только шкур побольше закупить.

- Что же вы в своё село не вернулись? – спросил Алёшка.

- А зачем? На новом месте лучше. Всегда для людей ты чужой. Никто не знает, откуда ты, в родичи не набивается. Да и власти не успевают за тобой следить.

- А прищемляли все же вам раньше хвост?

- Ну и язык у тебя нахальный, – покрутил головой Лаврентий.

- А как же, преследовали. Я и квас варил, и богомазом был, и в плотницкой артели промышлял. Я на все руки. А со мною как? Не успеешь обжиться – налогом тебя душат. Ну, я тоже спуску не давал, где придётся. Раз на Азов подался, к рыбацкой артели прибился. Как-то ночью подпоил сторожа, а сам сети соляной кислотой побрызгал. Поехали утром ловить – обратно одни шмотья привезли. На сторожа подозрения упали. Осудили... Я злой, юноша, бываю. Мне поперек не становись.

- Ну, а убивать... приходилось? – Алёшка провел языком по сухим губам.

Его будто магнитом тянуло на рискованный разговор.

- Раньше или при немцах? – переспросил Лаврентий, вынув изо рта деревянные шпильки.

- При немцах?

Постоялец хитро поглядел на него снизу вверх.

- А зачем тебе это знать?

- Так. Для интереса...

- Много знать будешь – состаришься рано. У меня такая служба была, чтобы «товарищей» вылавливать... А ваш супруг тоже, говорят, нартенным был? – неожиданно повернулся он к Христине.

От неожиданности та отступила шаг назад. Лаврентий залился веселым смешком.

- Не пугайтесь. Это я так, промежду прочим. Охо-хо, заседелся, пройтись, что ли?

Как только он ушел. Христина начала отчитывать внука:

- Ты зачем с ним заводишься? Разве не видишь, что это за птица?

- Раньше я о таких только в книжках читал, – будто удивляясь самому себе, проговорил Алексей. – Никак не верится, что живого вижу... Главное, не могу понять, какой ему расчет

так прямо в своей подлости признаваться? Уверовал, что немцы навечно тут? Или застрашать хочет?

На бабушкином лице появилась мудрая и печальная усмешка.

- Выговориться ему, Алёшенька, надо. Сколько годов таил в себе все это.

- Что-то сдаётся мне, недолго он у вас загостится... Так что вы не расстраивайтесь. Ну, я пошел.

Вернулся Алёша не следующий день, после обеда, какой-то непривычно веселый, с лихорадочно блестящими глазами.

- Хорошие новости, дядько Лаврентий, – сказал он постояльцу. – Утром ездил на хутор Вербный. Есть шанс купить две бычьи шкуры.

- Далеко отсюда? – быстро поднялся со скамеечки Лаврентий.

- Пятнадцать километров.

- А на чём добираться?

- Туда на своих двоих, назад обещают привезти.

- За это хвалю. Завтра спозаранья выйдем.

- Советую сегодня. Могут перекупить. В сумерках будем там, а утром вернёмся.

- И то, правда, – поколебавшись, согласился Лаврентий. – А ты дойдёшь, хромой?

- Ходил, и не раз.

Постоялец заторопился.

Кряхтя, полез на чердак, где, должно быть, что-то спрятал.

Христина набросилась на внука:

- Ты что это задумал, на ночь глядя? Волков в степи столько развелось. В Казачьей балке, говорят, целая семья живёт...

Алеша, приложил к губам палец.

- Спокойно! Я знаю. И вот ещё что... Неправду я вам в тот раз о дедушке Петре сказал. Не в плавнях он хоронится, а у нас в селе. Ранен в руку.

На глаза Христины наплыли слезы.

- Где он?

- У нас в доме. Но оставаться там дальше опасно. Рядом шоссе, немцы часто заходят. Сегодня ночью он к вам переберется.

- А как же?

Она хотела спросить, о постояльце, но взглянула на внука и отвернулась.

Село давно скрылось за холмами. Дорога была безлюдной.

- Торопиться надо, – сказал Алексей, когда они прошли километров восемь.

- Не успеем до темноты. По шоссе придется крюк большой давать.

- А можно и прямым?

- Можно. Вот этой балкой.

- Давай, как короче.

Они спустились в овраг. Прошли еще с километр. Начали сгущаться сумерки. Алешка наклонился поправить сапог, немного отстал, затем выпрямился и засунул руку под ватник.

- Погодите! – сказал он ровным голосом ушедшему вперед постояльцу. – Дальше не пойдем.

Тот обернулся и подозрительно поглядел на Алешкину руку под ватником.

- Это как понимать? – хмуро спросил он.

Алешка тяжело передохнул.

- Может быть, какая просьба будет перед смертью? Так вы скажите – спросил он все тем же неестественно спокойным голосом, вынув из-под ватника наган.

- Ты что надумал? – лицо Лаврентия посерело. – Откуда у тебя оружие? Или ты тоже... с ними?

- Связной я у партизан, – проговорил Алешка.

Только теперь постоялец понял все. Не сводя замороженного взгляда с дула, он опустился на колени.

- Сынок! Богом прошу... – запричитал он.

- Не могу! Не имею права, – замотал головой Алешка.

- Что же это такое? – Лаврентий оглянул сумасшедшими глазами степь, будто призывая её на помощь.

- Как же так? Ты же пошутковал? Правда?

На лбу Алешки собрались морщины. Он на глазах постарел на добрый десяток лет.

- Не унижайтесь, дядько Лаврентий, – сказал он устало. – Жили вы не по-людски, так хоть умрите человеком.

- Погоди еще... Хоть одну минуту. Вот только вспомню, что хотел сказать... А-а-а! – вдруг взвыл он по-звериному и вскочил на ноги. Но в то же мгновение рухнул навзничь.

Алешка подождал в стороне, потом снова засунул наган под ватник и подошёл к убитому. Глаза Лаврентия были открыты. Алешка снял с мертвого шапку, прикрыл ею лицо постояльца и пошел назад. Подходя к дороге, он услышал где-то далеко сзади волчий вой и заторопился.

Белая рубашка

Сын и отец провели этот апрельский день по-разному. Месяц назад сын, третьеклассник Миша Сапогов, узнал, что в пионеры их будут принимать не в своей школе, а в Ульяновске, в доме Ленина.

Счастливым день наступал завтра. Для поездки было готово все, кроме одной необходимой вещи – белой рубашки. В школу Миша ходил в старой лыжной курточке или в полинялой клетчатой «ковбойке». Другие ребята носили белые рубашки с первого класса. Втайне Миша им завидовал, но никогда не просил мать купить такую же ему, так как знал, что денег на это нет: свою зарплату отец пропивал, а денег матери, уборщицы больницы, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Он это понимал, не то, что сестра Зоя, которая часто жаловалась и плакала из-за того, что ей стыдно ходить в школу в такой рыжей от многих стирок и короткой не по росту форме. Учительница Анна Михайловна тоже знала, что купить Мише белую рубашку не на что, и никогда от него этого не требовала. Теперь же белая рубашка была пионерской формой, поэтому Анна Михайловна неделю назад сказала Мише:

- Передай маме, что нужно купить тебе белую рубашку. Если сейчас у вас дома денег нет, попроси маму прийти в школу.

Миша в точности передал эти слова матери. Он с тревогой заметил, как на ее худом лице появилось озабоченное и испуганное выражение, какое появлялось всякий раз, когда заговаривали о покупках.

- Скажи Анне Михайловне, что рубашку я тебе куплю сама – ответила она, покраснев.

Миша догадался: денег у матери не было, но просить у родительского комитета ей было стыдно: зимой школа уже купила ему и Зое зимние пальто и ботинки.

А вчера вечером перед сном мать весело шепнула Мише:

- Завтра после работы куплю.

Значит, у кого-то перезаняла. Теперь ничто уже не омрачало поездку в Ульяновск, и Миша чувствовал себя весь день спокойным и вполне счастливым.

Отец Миши, слесарь по канализации, Александр Сапогов, напротив, весь день был сильно не в духе. С похмелья у него трещала голова, во рту горчило, а к обеду стал донимать голод. С самого утра Сапогов-старший слонялся по мастерской из уг-

ла в угол, якобы разыскивая инструменты и надеясь так дотянуть до перерыва. Но на беду в поселке забило канализационную трубу. Проклинавая незадачливый день, свое начальство и канализацию, Сапогов отправился к месту аварии. Увидев, что он не помощник, два других слесаря с руганью прогнали его от себя, и Сапогов побрел в магазин, надеясь встретить собутыльников и промочить горло. Но и тут его ждала неудача. Тогда он заглянул в столовую. Его небритая, опухшая физиономия резко выделялась среди других лиц, и люди, скользнув по нему взглядом, иронически переглядывались, как бы спрашивая друг друга: «Зачем еще слоняется здесь этот тип?».

Сапогов привык делать вид, что его мало интересуют эти взгляды, на самом же деле тайно он от них страдал, не любил за это людей и избегал глядеть им в глаза.

Сделав вид, что он не нашел того, кого искал, Сапогов озабоченно пробормотал: «Куда же это он, гад, девался?» и вышел из столовой.

Из-за угла на тротуаре появилась группа школьников и среди них сын. Миша тотчас увидел отца. Глаза их встретились. Лицо Миши залила краска стыда. Наклонив голову, он прошел мимо какой-то виноватой, спотыкающейся походкой. Сапогов-старший хмуро отвернулся, сделав вид, будто читает объявление на столбе. Лоб его покрылся испариной, сердце бешено колотилось. Голоса ребят заглохли вдали, а он все не решался оглянуться. «Что же это такое со мной делается? – думал он, холодея от обиды. – Родной сын стал стыдиться». У него было такое чувство, будто он попал в глубокую волчью яму, из которой уже нельзя выбраться, и ему захотелось протяжно, во весь голос закричать: «Помогите же мне, люди!». Он оглянулся, вздрогнул от озноба и, волоча ноги, вернулся в мастерскую.

После смены он сразу же побрел домой. «Интересно, достала жена хоть что-нибудь пожрать? Вряд ли, – думал он со злостью.

- Мишка, тот в школе пообедал, Зойка в буфете чего-нибудь перехватила, сама в больнице, а я как хочешь». Это показалось ему величайшей несправедливостью, хотя последние три рубля из своей зарплаты он пропил два дня назад.

Дома никого не было. Это его не удивило. Он знал, что дети не любили задерживаться в квартире. Он подошел к газовой плите и снял грязной рукой крышку кастрюли. Там было немного супа. Не разогревая, он тут же присел к столу и съел

все до последней крупинки. Потом лег в сапогах на диване и стал думать, где бы все-таки раздобыть денег. Обычно в это время около поселкового продмага собирались его всегдашние дружки. Он представил себе, как сначала они будут вполголо-са сговариваться между собой и скрести и карманах, чтобы набрать нужную сумму, потом купят «на троих», попросят продавца взвесить селедку, потом выклянчат у кого-нибудь из жильцов по соседству стакан и, наконец, присядут где-нибудь под деревом и начнут разливать...

Сапогов сглотнул слюну и оглядел комнату. Что бы еще продать? Но ничего такого не было: ни мебели, ни приемника, ни телевизора. Единственным украшением комнаты была фотография, на которой он снялся когда-то в день свадьбы с женой и родственниками, молодой, торжественный, принаряженный. Прямо смехота. Сапогов ухмыльнулся. Неужто он когда-нибудь на самом деле был таким? А жена? Свеженькая, красивая, счастливая. Думала ли она тогда, что все так получится? На миг в нем шевельнулось что-то вроде укора совести, и он попытался восстановить в памяти прошлое. Несколько раз его вызывали в местком, убеждали там и корили, но все как-то лениво, мягким извиняющимся голосом. На все эти речи он угрюмо отвечал:

- Не на чужие пью, а на свои. Закон пить не запрещает. Кому какое дело до моей жизни?

«Хорошо бы найти сейчас за фотокарточкой тысячу рублей, – начал он мечтать от нечего делать. – Или хотя бы пятерку. А что, вполне свободно: жена могла припрятать на черный день». Он встал и пошарил рукой за фотографией. Пусто. Глупость, одно воображение. Но, подчиняясь неясному предчувствию, он продолжал терпеливые поиски, открыл ящик ветхого комода, перебрал скудное белье, затем наклонился, приподнял комод и сразу же под задней ножкой нащупал бумажку. Десятка! С минуту он рассматривал ее как чудо, Откуда она могла появиться? Смутно он вспомнил, что жена говорила о какой-то белой рубашке для Мишки, и на секунду заколебался. Не иначе отложила для этой цели. Снова мысль о сыне мучительным толчком отдалась в его изношенном сердце, он закрипел зубами и заплакал от безволия. А руки его, словно чужие, уже поспешно срывали с гвоздя фуфайку. Заперев дверь, он почти бегом направился к продмагу с красивым весенним названием «Сирень». Вернулся Сапогов-старший в одиннадца-

том часу вечера. Жена, Зоя и Миша сидели с опечаленными лицами на диване. Увидев Сапогова, жена поднялась:

- Где деньги? – спросила она с дрожью в голосе.

- Какие? – выговорил Сапогов заплетающимся языком и даже попытался изобразить на распухшем лице удивление.

- Те, что я одолжила у соседки на белую рубашку Мише.

- А...

Он махнул рукой в сторону магазина «Сирень».

- Пропил! – выкрикнула она с отчаянием.

Он икнул.

- А зачем ему рубашка? У него есть.

- Да разве ты забыл, что Мише завтра в Ульяновск ехать?

В пионеры их принимают.

- И так хорош будет.

- Может быть, хоть сколько-нибудь осталось? – спросила она с надеждой.

Он с пьяным юмором вывернул пустые карманы.

Жена вся поникла, съежилась и опустилась на пол в беззвучных рыданиях.

Миша подошел к матери.

- Не надо, мама. Встань! Я так, как-нибудь... Не надо.

Она покорно поднялась, опираясь о его плечо, устало побрела на кухню.

Автобусы подъехали к школе в восемь утра. Укрывшись за соснами, Миша издали наблюдал, как ребята из его и двух других классов с выкриками и смехом занимали места. Все они были в белых рубашках. Видел Миша и то, как Анна Михайловна, со списком в руках, озабоченно посматривала по сторонам, проверяя, все ли на месте. Слышал, как ребята хором выкрикивали его фамилию: Сапогов! Он пощупал красный галстук, бережно завернутый на всякий случай в газету. Ему нестерпимо захотелось побежать ко всем, но снова вспомнив, что у него нет белой рубашки, он прижался к шершавому стволу сосны и замер, боясь, как бы его не обнаружили.

Наконец, дверь автобуса захлопнулась. «Ура!» – донеслось до Миши. Последний раз мелькнули радостные лица, и автобус скрылся за поворотом.

И тогда его охватило такое отчаяние, что он готов был выбежать и закричать: «Остановитесь! Я тоже хочу». Но все было кончено. Он твердо знал, что уже никогда в жизни не повторится для него эта счастливая поездка. Может быть, бу-

дут другие, но эта никогда. Обхватив обеими руками ствол сосны, он судорожно, до икоты рыдал один в лесу над этой утратой.

Вверху весело перекликались невидимые птицы. Среди спрессованных прошлогодних листьев, покрытых паутиной, цвели стебельки медуницы. От леса пахло березовым соком. Вдали на строительстве домов лязгали краны, урчали бульдозеры. Из раскрытого окна какого-то дома в поселке разносилась музыка «Маяка». Жизнь шла своим чередом.

Ландыши

Вот уже целую неделю первым в городе наблюдал восход солнца крановщик ночной смены Юрий Казаков. В половине пятого, когда все ещё спали, оно появлялось внизу на горизонте, окрашивало в красный цвет кабину, башню и стрелу крана, румянило верхушки сосен и берез и, наконец, всплыв над землей, заливало теплым светом всю речную долину, дальние поля, леса и разбросанный в сизой дымке город. Таким оно было и сегодня, только на три минуты раньше.

Великое дело солнце! Все, что дремало, пробудилось, обрадовалось и поспешило на свой лад приветствовать его появление: трава заискрилась миллионами радужных бусинок росы, фиалки на пригорках раскрыли свои лепестки, лесная гор-linka принялась кого-то настойчиво звать своим журчащим голосом, а кукушка неторопливо отсчитывать чужие годы. Юрию показалось, что даже старый кран тоже запел своими моторами и рычагами. И если бы можно было перевести эту песню на человеческий язык, она звучала бы примерно так: «За свою долгую жизнь я перенес столько кирпичей, перекрытий, лестничных пролетов, что из них уже построен целый город. Мне приходилось работать в зимнюю стужу, меня поливали осенние дожди, однажды меня чуть не опрокинуло бурей, я видел много прекрасных весенних дней. И все же такого утра еще не было»

Выключив мотор, Юрий вдруг услышал песню, поразившую его больше всего: пела коренастая, веснушчатая строповщица Настя, отцеплявшая на третьем этаже поддон с кирпичом. Полные голые по локти руки Насти двигались энергично и сноровисто. Судьба обделила ее не только красотой, но и голосом. Юрий прислушался к диковатому напеву и с трудом различил слова: «Называют меня некрасивою, так зачем же он

ходит за мной?». Ну, на счет последнего пункта она могла не беспокоиться. Юрию что-то не приходилось замечать, чтобы ей кто-нибудь досаждал своим вниманием. Сам он никогда не задумывался над тем, что она – девушка, а обращался к ней, как и все в бригаде, либо по делу, либо подшучивая. «Даже её проняло, – улыбнулся он про себя. – В самом деле, какая красота кругом». И он тоже начал мурлыкать что-то весеннее.

Пыля по разбитой лесной дороге, подъехал очередной грузовик с кирпичом. Юрий нажал на рычаг и кран с гудением двинулся к углу строящегося здания. Подцепив кирпичи, стрела легко понесла их снова к Насте на третий этаж. За ночную смену Юрий и Настя уложили их стопками вокруг всего этажа – как раз дневная порция дня каменщиков, которые придут к восьми утра. Бригада строила в новом лесном районе два общежития для рабочих. Приходилось спешить: многие жили в старых бараках, предназначенных осенью на слом.

Все же весело работать на такой высоте! Весь мир у твоих ног, и сам себе ты кажешься Ильей Муромцем. Особенно же весело оттого, что каждый день ты замечаешь, как растет в лесу эта белая громада общежития, представляешь себе, как через два – три месяца на его окнах появятся занавески, а во дворе защебечут детские голоса.

Бригада подобралась из таких же, как он, боевых парней. Каменщики за каких то три месяца второй корпус выкладывают. В первом уже работают отделочницы. Юрий взглянул на окна угловой комнаты второго этажа, куда каждое утро приходили практикантки-десятиклассницы и почувствовал на своем лице улыбку. Ну, что же, если и попался, он не против. Девчонка, что надо. И лицом вышла, и фигурой, и семья культурная. Отец – инженер, мать – врач. Каждый день Юрий делает крюк, чтобы пройти по тихой боковой улице, где в кустах сирени и жасмина стоит их кремовый домик. Иногда из раскрытых окон слышатся звуки пианино: Соня кончает в этом году музыкальную школу.

Воспоминание о ней сливается у Юрия с этими красивыми, благородными звуками, с кустами сирени, с большим ковром на стене и вообще с этим уютным уголком счастливой обеспеченной семьи. Сам он вырос в других условиях. Пьяница-отец приносил домой только половину зарплаты, да и за ту каждые полмесяца шла война с матерью. Даже сейчас на его щеках проступила густая краска стыда при воспоминании о том, как мать таилась дома, чтобы не показаться с синяками

на улице. И погиб отец такой же позорной смертью, как жил: сидел пьяный за рулем грузовика, сорвался с обрыва, и конец...

Нет, он, Юрий, будет жить по-другому. В конце концов, наплевать ему на достаток родителей Сони. Для него главное – человек. С виду она изнеженная, хрупкая, но характером в него. Подружки рассказывали ему, что отец и мать хотели устроить ее в лабораторию на чистенькую работу, а она отказалась. Вот это главное. Правда, комбинезон на ней как с журнальной картинки, и раствора она касается пальчиками, но на стройке обломается. Зато уж таким чучелом, как Настя, не станет. Вот бы поставить их рядом...

Разгрузив последнюю машину, Юрий спустился с крана. До прихода сменщика оставался еще час. Вот и хорошо, можно погулять в лесу. За сторожевой будкой он почти столкнулся с Настей.

- Ты кого ждешь? – с удивлением спросил он, зная, что обычно она сразу же уходила домой.

- Никого. Просто так, домой идти не хочется. А ты куда сейчас?

- В лес.

- Можно мне с тобой?

- Со мной?

И вдруг Юрий заметил: у нее накрашены губы. Это показалось ему таким нелепым, что он громко рассмеялся.

- Так это ты к прогулке приготовилась?

Настю будто хлестнули по щеке. Полное лицо ее покрылось красными пятнами. На глазах выступили слезы. Она отвернулась и неуклюже зашагала по дороге.

- Ты что, обиделась, чудака? – крикнул он ей вслед. – Погоди!

Но Настя, рыдая и спотыкаясь, почти бежала от него к поселку. Юрий пожал плечами: дуреха, сама же себя уродует, да еще и обижается.

Лес уже выглядел почти по-летнему. С черемухи осыпался последний цвет. Неказистая еще четыре дня назад осина со своими бледными серьгами, вдруг покрылась крупными зелеными пятаками, выровнялась, как угловатая девочка-подросток к семнадцатому году, превратилась в красавицу. Только поздняя липа еще рябила жидкими молодыми листьями со следами розовых почек у основания. В эту пору лес пропи-

тан острым, свежим запахом молодого листа. И весь этот аромат вобрал в себя маленький невзрачный цветок – ландыш.

В зарослях тонких молодых лип, пригнутых зимой снегом к земле, да так и не успевших распрямиться, Юрий набрел на целую их плантацию. У хрупкого цветка был надежный щит – широкие и плотные листья, да такие крепкие, что без труда пробивали по два-три слипшихся прошлогодних листка осины. Отмахиваясь от комаров, Юрий начал собирать букет. Через полчаса он повернул назад, навстречу солнцу. Просвеченные лучами листья берез, осин и тополей слились в яркое, слепящее кружево, и ему хотелось пробиваться как можно дальше сквозь эти солнечные сплетения, вдыхать этот неповторимый аромат мая, слушать пересвисты птиц над головой. Он почувствовал, что одному ему не вместить такую радость, он просто не может не поделиться ею с этой нежной и хрупкой, как ландыш, девушкой.

Вот и строительная площадка. Сжав в левой руке большой букет, он подошел к десятиклассницам, поджидавшим инструктора. Сони среди них не было.

- У нее сегодня экзамен в музыкальной школе, – сказала её подруга, отойдя в сторонку с Юрием.

- Жалко. А ему так хотелось встретить её именно сегодня. Но он все-таки отнесет ей ландыши.

Улицы поселка были обсажены молодыми яблонями-дичками. Среди белых лепестков жужжали пчелы. На боковой улице ни души. Окна в домике Сони были распахнуты. Юрий оглянулся, перепрыгнул через заборчик и, спрятавшись за кустами сирени, начал продвигаться вдоль стены, чтобы положить букет на подоконник Сониной комнаты. Вдруг он замер: в комнате послышались голоса.

- Вот теперь и будешь сидеть до обеда дома, – сказал недовольный женский голос.

- Ну и посижу, – отозвался голос Сони.

- Не терплю твоих капризов. Сначала ты просила устроить тебя в лабораторию, потом решила из-за какого-то красновщика Юры работать штукатуром. Учти, мне все известно. А теперь снова на попятную. Да еще припутала сюда музшколу. Не терплю обмана!

- Попробовала бы ты сама ведра с раствором таскать. У меня от этого волдыри на ладонях...

- Как знаешь. Только я этого не одобряю, а отец и подавно.

Голоса смолкли. Юрий постоял, усмехнулся, затем, стараясь не шуметь, выбрался на тротуар и пошел назад. Вокруг по-прежнему благоухал май, но Юрий уже этого не замечал, его губы кривила все та же задумчивая усмешка.

Из-за угла навстречу ему показалась Настя. Она уже умылась и переделалась. Наверное, в магазин идет. Юрий смутился: как-то нехорошо давеча получилось. Если разобраться по-настоящему, то она двух таких, как Соня, стоит. Он загородил ей дорогу.

- Погоди. Все еще сердишься? А я для тебя ландышей нарвал. Бери.

Настя гордо отвела его руку с букетом:

- Спасибо. Я как-нибудь сама для себя нарву.

Озеро Рица

Городские огни постепенно гасли, а поредевшая толпа на проспекте все текла и текла, как стремительная и капризная горная речка. Я жадно всматривался в лица и фигуры встречаемых, испытывая давно неизведанное чувство новизны и тревожно-радостного ожидания счастья. Прошел всего час, как я сошел с поезда. После тесного и душного купе все вокруг казалось мне, северянину, прекрасным и немного призрачным, как во сне или в кино: зеленые изгороди из аккуратно подстриженного кустарника, деревья, осыпанные неожиданно крупными белыми цветами, веера пальмовых листьев, за которыми проглядывали светлые, легкие здания.

Из раскрытых окон доносились задумчивые мелодии далеких радиостанций. Люди, двигавшиеся мне навстречу, удивительно гармонировали с этим уголком ночной мечты: крепкие загорелые парни, блестящие белозубыми улыбками, гибкие девушки с мерцающим взглядом, изящно одетые, веселые, таинственно красивые.

- О чем вы сейчас думаете?

Это мой попутчик Вадим, геолог с Камчатки. Высокий, натренированный парень лет двадцати шести, с упрямым взглядом светлых, глубоко спрятанных глаз. Любимые темы его бесед – электронные машины, космос, исследование плазмы и, конечно, геология. Обо всем говорит со знанием дела. Но упрям. Самоуверенность прямо-таки титаническая. Мы уже успели напориться с ним до хрипоты. Все же в нем есть что-то очень привлекательное, задиристое.

- Хотите, я отгадаю? – говорит он, пока я обдумываю ответ. – Жалеете, что вам за сорок, а не под тридцать?

- Жалею, – признался я.

- Из-за этих? — кивнул он в сторону двух милостивых девушек. – А я бы ни за что не женился на здешних.

- Это почему же?

- Почти круглый год перед глазами мельтешит отпускная братия. Разве тут потянет на работу? И вообще, кругом сладкий морс: пальмочки, розочки, все подстрижено, прилизано... Негде развиться сильному характеру.

- Вадим, вы умный парень, но вам не хватает чувства поэзии.

- Пока обходился без этой штуки. Давайте спать.

- Но надо найти еще место в гостинице!

- Зачем? Теплынь такая! А уж завтра где-нибудь устроимся...

Утро застало нас в скверике. Утреннее солнце заливало сочную зелень и яркие цветы на клумбе. Над нами висел большой красивый плакат, приглашавший посетить озеро Риза в горах.

- Съездим непременно, – сказал Вадим.

- Сначала, наверное, пойдём в квартбюро?

- Ни за что! Сами найдем. С видом на море.

Мы действительно нашли. И с видом на море. Одно плохо: к этой квартире надо было карабкаться полчаса на довольно крутую гору. Хозяин, полнеющий человек средних лет нет дивана или кровати?

- Диван есть, но только вчера пришлось отдать одной квартирантке. Очень просилась.

- А сами где же спите?

Хозяин беспечно махнул рукой.

- Мы найдем... лет с несколько приторной улыбкой, открыл дверь и впустил нас в просторную комнату. Мы попятнулись: посредине комнаты прямо на полу спала девушка. Полу-расплетённая черная коса лежала на ее груди, обнаженные руки были раскинуты, высокие брови сдвинуты на переносице не то в сонном раздумье, не то в гневе на нас, незваных гостей.

- Ничего, ничего, – успокоил нас хозяин, – ваша комната следующая. Деньги, как и положено, наперед, – поспешил он предупредить, как только убедился, что комната нас устраивает.

- Скажите, кто это у вас спит там на полу? Тоже туристка? – спросил Вадим.

- Зачем? – улыбнулся хозяин. – Это моя дочка, Армавел.

- Разве у вас

- Скажите, сколько стоит кровать? – спросил Вадим.

- Простая – рублевка, а хорошая – и на два потянет.

Вадим вынул из кармана пачку пятерок.

- Вот, купите.

На лбу хозяина отразилась напряженная работа мысли. Он попробовал было улыбнуться, но не смог и пролепетал:

- Я не понял. Для кого купить?

- Для Армавел.

- За ваш счет?!

- За мой. Да вы не сомневайтесь, мне дядя-миллионер оставил наследство, – успокоил его Вадим.

Это подействовало. Хозяин взял деньги и засуетился.

- Хорошо, за это я разрешу вам пользоваться газовой плитой и холодильником. Нижним отделением. Только не оставляйте долго открытой дверцу.

- Спасибо. А водопроводом можно будет пользоваться? – серьезно спросил Вадим.

- Конечно.

Мы разобрали вещи, и пошли умываться. Девушки в комнате не оказалось. Вадим был заметно разочарован, да и мне хотелось убедиться, так ли она красива, какой показалась с первого взгляда.

- Стыдно стало, – объяснил Вадим её исчезновение. – На людях, небось, в модных клипсах щеголяет, а дома на полу валяется. Удивительно только одно: как это у неё сохранилась коса. В наш атомный век это такая же редкость, как стрижка под мальчика при Пушкине.

Армавел появилась уже в сумерки, когда мы настолько выдохлись после моря, солнца и ходьбы по городу, что повалились на кровати и не могли говорить. Раздался резкий стук в дверь и почти тотчас не вошла, а ворвалась хозяйская дочь. Прекрасное лицо ее горело гневом, тонкие ноздри вздрагивали.

- Возьмите ваши деньги! – швырнула она пятерки Вадима на стол. – В этом доме никто не нуждается в подачках.

Мы вскочили как ошпаренные. Первый раз за время нашего знакомства я увидел, как с геолога слетела самоуверенность.

- Простите, вы нас не так поняли, – растерянно забормотал он.

- Я вас очень хорошо поняла, – гордо бросила она через плечо и вышла.

- Гроза в горах, – смущенно проговорил Вадим.

- Как она вас подрезала одним взглядом под корень, – подзадорил я его.

- Так уж и подрезала.

- Т-сс!

Из-за двери доносился громкий спор. Говорили не по-русски, но перевод и не требовался. Голос Армавел, звенящий металлом, гневный и патетический, обвинял, голос хозяина, скучный и ватный, бубнил оправдания.

Утром Армавел снова не было.

- А где же ваша дочка? – спросил я, как бы между прочим, хозяина.

Он с досадой махнул рукой.

- К родственникам ушла. Обиделась. Знаете теперешнюю молодежь. Никакого уважения к старшим.

Армавел не появлялась. Вадим был явно не в духе.

- Скучота какая, – сказал он однажды. – Махнем завтра на Рицу.

- А билеты?

- Уже купил.

К восьми утра мы подошли к открытому голубому автобусу, возле которого уже собрались пассажиры. Шофер начал проверять билеты, и вдруг рядом с ним появилась Армавел. Увидев нас, она залилась краской.

- Вы разве тоже... – начал было Вадим, но Армавел, даже не взглянув в его сторону, обратилась ко всем пассажирам:

- Сегодня мы с вами совершим поездку на одно из самых красивых высокогорных озер – Рицу. Большая часть нашего пути пройдет вдоль Черного моря, затем мы свернем в горы...

Она скороговоркой произносила заученные фразы, голос её звучал тускло, а выражение лица было оскорблённым. Я боялся, как бы она не расплакалась. Мы с Вадимом избегали глядеть друг другу в глаза, словно в чем-то провинились. И даже картинная дорога долго не могла рассеять наше подавленное настроение. Но чем больше мы углублялись в ущелье, чем круче вздымались в небо гигантские глыбы, поросшие лесом, тем сильнее мной овладевало особое чувство. Мне казалось, вместе с горами я расту сам и превращаюсь в великана.

Нигде тысячелетия не говорят с человеком так близко, как в горах. Я словно видел, как некогда могучий титан сокрушительным ударом своей кирки расколол эти вершины и образовал ущелье. Из недр земли брызнули потоки, на мшистых уступах под облаками выросли могучие деревья, и земля решила навсегда сохранить это зрелище, чтобы люди учились быть сильными.

Я искоса посмотрел на Вадима: в его глазах светилась мечта, он видел будущее своего края, дорогу на берегу Тихого океана и голубые машины туристов. Далеко внизу вилась змейка дороги, по которой мы только что проехали. От быстрого подъёма уши заложило. Все вокруг уже дышало близостью озера. И вот оно раскрылось покойной зеленой чашей под охраной лесистых горных шапок, овеянных красивой легендой о похищенной девушке Рице. Все притихли.

Вскоре экскурсанты разбрелись по берегу, а мы трое остались:

- Мне надо с вами поговорить, Армавел, – сказал Вадим.

Она молча прошла вдоль берега, пригласив его взглядом с собой, а я отправился в ресторан. Через час я обнаружил их в пустынном месте под старой сосной. Они сидели голова к голове, глядели на озеро и беседовали. Я кашлянул, но на меня не обратили внимания.

С этой поездки все вечера я проводил один: прогуливался в парке, посещал стадион или играл с хозяином в шахматы. Армавел стала относиться к отцу мягче, но он почему-то загрустил. Вадим и она возвращались домой поздно, они стали частицей того людского потока, который так взволновал меня в первый день приезда.

Уезжали мы с Вадимом вместе. Армавел пришла нас провожать. Мы сидели в купе и молчали. Электровоз дал сигнал к отправлению.

- Армавел, выходите, поезд сейчас тронется.

Она посмотрела на меня долгим взглядом, грустно улыбнулась и не двинулась с места.

А мимо уже проплывали железнодорожные сооружения, дома, люди на улицах, затем показалось море. Оно сопровождало нас долго-долго. Слева от нас шуршала галькой волна, справа в золотистом вечернем небе менялись очертания голубых силуэтов далеких гор. И где-то там, высоко в скалах, плескалось это удивительное зелёное озеро с нежным девичьим именем – Рица.

Под судом и следствием не состоял

Он всегда писал эти слова в анкетах с особенным удовольствием, так как видел в них главное достижение своей долгой жизни. В остальном его биография тоже была безупречной: ни одного увольнения, ни выговора, ни замечания в письменном виде. И сейчас, за год до своего восьмидесятилетия, перебирая морщинистыми руками старые фотографии, письма и документы, он снова любовно задержал взгляд на пожелтевшей от времени анкете.

Нет, что ни говори, а он может с чистой совестью готовиться к подведению последней черты. Торопиться, впрочем, незачем. Для своих лет он выглядит не так уж плохо: на щеках все ещё краснеет точками румянец, глаза не утратили блеска, а руки, в которых он держит сейчас листок, дрожат почти незаметно. Когда его спрашивают, как ему удалось так хорошо сохраниться, он с довольной улыбкой отвечает: «Даже в праздник я никогда не выпивал больше двух рюмок коньяку и не выкуривал больше двух сигарет в день. Кроме того, мед. Каждое утро столовая ложка в стакане комнатной воды. Удивительно укрепляет желудок».

Судьба даровала ему почти всё, что он понимал под счастьем: крепкое здоровье, покойную должность, приятную внешность, уживчивый характер. Правда, он похоронил двух жен и сейчас жил с третьей, моложе себя на двадцать три года, но семейные переживания не поколебали его веры в свою звезду. И жен, и детей он любил равно настолько, чтобы неизбежные в жизни заботы и волнения не укоротили ему годы.

Прожить покойно семьдесят девять лет – для этого понадобилось немалое искусство. Сколько из его друзей и знакомых, не рассчитав свои силы и годы, канули в тьму раньше времени. Одних унесла война, других повалил инфаркт, третьи реабилитированы посмертно. А он жив... хотя могло быть совсем иначе... Он вдруг брезгливо поморщился от какого-то воспоминания, не спеша завязал старую папку с документами и, передвигая плохо гнущиеся ноги, перешел в залу, где жена готовила стол к праздничному ужину. Пережив первых двух, он остановил свой выбор на женщине цветущего здоровья. В отличие от своих предшественниц она окончила только семь классов, говорила: «в ним» и «с нем», но превосходно готовила и отличалась аккуратностью: от нее всегда исходил аромат

накрахмаленного белья. Мужа она побаивалась и при посторонних называла только по имени и отчеству.

- Ты не забыла, что Ася любит земляничное мороженое? – спросил он, глядя на ее розовый подбородок.

- Не беспокойся, Паша, все будет как следует быть, – улыбнулась она полными губами.

Ася, студентка медицинского института, была любимой внучкой стариков. В дверь постучали. Не ожидая ответа, в комнату шумно вошла старшая дочь Павла Алексеевича и мать Аси – стремительная, веселая Лидия.

- Пришла помогать, – без предисловия начала она. – Показывайте, где у вас тут что. Сколько будет гостей?

- Человек двенадцать. Только свои, – сказал Павел Алексеевич. – Ты знаешь, я недолюбливаю посторонних.

- Ася собирается привести своего молодого человека.

- Вениамина? Я сам просил её об этом. Он тоже почти уже наш, насколько я разбираюсь в таких делах, – тонко улыбнулся Павел Алексеевич.

- Да, он не прочь жениться хоть сейчас, но разве ты не знаешь Асю?! Она помыкает им, как мальчишкой.

- Напрасно. Очень перспективный молодой человек. В двадцать пять лет заканчивать диссертацию – это, знаешь ли... Я обратил на него внимание в нашем институте еще до ухода на пенсию. В нем есть что-то наше, фамильное.

- Что ты имеешь в виду?

- Удачливость. С ним я был бы спокоен за Асю. Не знаю, что бы я не дал ради её счастья. Только в старости начинаешь понимать, что такое настоящая привязанность. Когда она долго не заходит, у меня повышается давление. Скажи ей, нехорошо так относиться к старику.

- Иногда мне кажется, она сама не знает, чего ей хочется. Например, это увлечение санитарией.

- Что это она вздумала? Мы, терапевты и хирурги, всегда относились к санитарным врачам как специалистам второго сорта.

- Влияние Бондаревой.

- Кого?

- Ты разве забыл? Зоя Герасимовна Бондарева, заведующая районной санэпидстанцией. Ася у нее проходила практику.

- Ах, эта... – Павел Алексеевич пожевал губами. – Все ещё заведует? Ведь ей тоже давно пора на покой.

- Ты, кажется, был когда-то в хороших отношениях с её покойным мужем?

- Да, я был его любимым студентом.

- Недавно о нём очень тепло вспоминали в медицинском журнале. Он, оказывается, уже тогда занимался антибиотиками и был на пороге какого-то открытия.

- Кажется, что-то такое было.

- Почему ты ни разу не пригласишь ее к себе? – вдруг спросила Лидия.

Павел Алексеевич устало опустил веки.

- За все эти годы я встретил её всего несколько раз на улице, но она не пожелала меня узнать.

- Странно. Я замечаю, что и со мной она почему-то холодна... Нам иногда приходится встречаться по работе.

- Ты немного теряешь. Она неудачница, а неудачливость заразна, как оспа.

- На меня она меньше всего производит впечатление несчастной.

- Что она, всё ещё в депутатах?

- Да. И очень деятельна. Вот уже год ведет войну за очистку пруда около трикотажной фабрики. Зону отдыха там планируют.

- Донкихотство. Сколько я себя помню, все время говорят об очистке этих прудов, но на том дело и застревает.

- У неё, положим, не очень застрянет. Диву даешься, как в её годы и при таком слабом здоровье она умудряется везде поспевать. Добилась же она того, что директор машиностроительного перестал, наконец, коптить небо своей трубой. Наша Аська просто в неё влюблена.

- Даже так! Я не одобряю этого знакомства. Мне оно неприятно, и я сегодня же поговорю об этом с Асей.

Когда Павел Алексеевич волновался, его большие и острые, как у рыси, уши начинали гореть.

- Не понимаю, из-за чего ты расстроился, – подняла широкие брови Лидия.

- В самом деле, не из-за чего, – внезапно успокоился он. – Я сегодня слишком возбужден.

Он надел очки, взял из аптечки пузырек, отсчитал в стакан с водой четыре капли нового лекарства, придающего сосудам эластичность, и медленно выпил остро пахнущую цикорием жидкость.

Вениамин и Ася обошли с полдюжины магазинов, но она так и не смогла выбрать подарок. Сам он купил богато иллюстрированную книгу о Сальвадоре Дали.

- Зайдем ещё сюда, – свернула Ася на улицу Космонавтов.

- Мне хочется купить дедушке что-нибудь особенное. Хорошо бы живого медвежонка...

- Лучше небольшого крокодила, – Вениамин уже начал терять терпение. Ася дернула его за ухо.

- Не смей острить, когда мы говорим о дедушке. Я его очень люблю. После мамы он и Зоя Герасимовна самые близкие мне люди. Она тоже чудо, только очень одинока. Дома с нею нет никого рядом. Представляешь, как это страшно! Мама говорит, она многое перенесла: лишилась мужа, дочери...

- Возможно. Но сейчас от неё все директора предприятий стонут: ждут не дождутся, когда она, наконец, уйдет на пенсию. Задержала.

- Кое-кому это полезно.

- В любом деле нужно чувство меры.

- Меры в чем? В заботе о здоровье людей?

Она смерила его насмешливым взглядом. Как-то получалось, что в спорах с нею он всегда пасовал. А спорили они постоянно.

- Всё же старуха – фанатичка. Я таких не понимаю, это стиль тридцатых годов, – скрывая раздражение, сказал он.

- Как бы мне хотелось хоть неделю пожить в то время, – медленно проговорила она, глядя куда-то вдаль, – где за городской окраиной начиналась холмистая степь.

- Пожить за колючей проволокой и с хлебными карточками в кармане? – насмешливо сморщил он губы.

- Ах, что мы обо всём этом знаем! Только ту часть правды, что описана в лагерных воспоминаниях. Но ведь была и другая жизнь. Люди трудились, строили, учились, изобретали, любили...

- И дрожали за свою жизнь, как пескари...

- Ну, уж нет! Пескари не выиграли бы ту войну, не выдвинули бы столько героев. Пескарей полно развелось как раз сейчас.

- Это что? Намек?

- Перестань, пожалуйста, примерять каждое моё слово к себе!

- Все, все! Мир.

В магазине антикварных вещей Ася, наконец, выбрала подарок по своему вкусу: потемневшую от времени статуэтку северного божка из бивня моржа.

- Я подарю это дедушке как талисман на долголетие, – сказала она с детской улыбкой.

«Все же в ней есть что-то странное, – думал Вениамин, взглядываясь в её круглое лицо подростка и эти короткие вихрастые пшеничные волосы. – Но я её обломаю».

Он искоса оглядел себя в зеркальной колонне магазина. Серовато-табачный пиджак, белая сорочка и вишневый галстук – это как раз то, что нужно, чтобы не быть похожим на павлина и все же выделяться из толпы. Во всей его сухощавой учтивой фигуре уже сейчас проглядывало что-то от человека с положением. Незаметно для себя он привык смотреть на Асю как на будущую хозяйку хорошо обставленной квартиры на семейном рауте. Прищурился, он примерил её высокую воздушную фигуру в светлом платье к темным костюмам гостей-профессоров и остался доволен. Немного чудачества в характере жены – в этом есть что-то от Запада.

Купив подарок, Ася на мгновение задумалась.

- А что если нам пригласить к дедушке Зою Герасимовну?

- Удобно ли... Надо бы предварительно спросить его самого.

- Удобно, – решительно кивнула Ася. – Вот увидишь, дедушка только обрадуется.

Через десять минут они подходили к старому пятиэтажному дому.

- Ты обожди меня в подъезде, я сейчас вернусь. – И она застучала каблучками по лестнице.

Дверь открыла высокая, немного сутулая женщина. Пушистые седые волосы белой короной обрамляли её худое продолговатое лицо с орлиным носом и выдающимися скулами. При виде Аси каменно-замкнутые черты этого лица смягчились.

- Ты просто излучаешь счастье. Что случилось? – улыбнулась она.

- Вы сейчас свободны? – прямо с порога спросила Ася.

- Да.

- Тогда собирайтесь!

- Как это у вас, молодых, все просто. Скажи хотя бы, куда?

- К бабушке. Сегодня ему исполняется семьдесят девять. Он вас приглашает, – сказала Ася.

- Он... приглашает?

- Да. Он будет очень рад.

- Ты в этом уверена? – со странной улыбкой спросила Бондарева.

- Конечно.

- Очень великодушно с его стороны.

Бондарева передернула плечами, как от озноба, и стала искать в кармане халата сигареты. Потом взяла Асины руки в свои и пристально посмотрела ей в лицо.

- Такие же чистые глаза, как у моей Нины, – вздохнула она. – Ася, запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу. Если ты дорожишь моим спокойствием, никогда не упоминай при мне о Павле Алексеевиче Кубасове.

- Почему?

- На это есть причины.

На лбу Аси пролегла морщинка.

- Вы его любили в молодости?

Бондарева удивленно вскинула глаза и тут же усмехнулась.

- Да, ты угадала. Он обманул меня.

- Это какая-то ошибка. Бабушка не мог поступить несправедливо. Вы его не знаете.

- К несчастью, я его слишком хорошо знаю.

Бондарева закурила и слегка побледнела. Асе вдруг стало страшно.

- Объясните же, Зоя Герасимовна, объясните!

- Садись. Все равно я обязана тебе об этом рассказать.

Бондарева впала в задумчивость и только после паузы начала:

- Ты знаешь о тридцать седьмом годе понаслышке. Я его пережила. Мой муж заведовал тогда в институте кафедрой. Студенты его любили, а твой бабушка перед ним преклонялся. Однажды ночью за мужем и за тремя студентами приехали... Почему именно за ними, не знаю до сих пор. Поодиночке от них потребовали подписать страшные обвинения друг против друга. Муж и еще двое отказались, а Павел Алексеевич подписал... И этой ценой купил себе свободу.

Ася с возмущением поднялась.

- Это ложь! Бабушка не способен на такую подлость.

Бондарева молча прошла к комоду, достала из ящика старую сумочку и вынула из нее листок.

- Читай. Это все, что удалось мужу переслать на волю.

Ася жадно пробежала глазами написанные торопливым почерком карандашные строки и поникла.

- Он это сделал из трусости?

- У каждого человека хоть раз в жизни бывает случай, когда он испытывается на прочность...

- Зачем вы мне это рассказали? Я не смогу теперь смотреть людям в глаза.

- Только трусы и нечистоплотные люди отворачиваются от правды. Но ты, кажется, не из их числа.

- Правда! – зло выговорила Ася. – Кому она нужна? Такая отвратительная?

- Отвратительными бывают только подлые дела. Но не правда.

- У меня такое чувство, будто я испачкана грязью, – проговорила Ася, сцепив руки. – Вы кому-нибудь еще рассказывали об этом?

- Ты хочешь спросить, не пыталась ли я мстить? Нет, твой дедушка уже наказал себя сам. Наверно, по ночам ему часто не спится...

- Вы все же необыкновенная. После всего сохранить столько душевных сил...

Бондарева махнула рукой.

- Ты преувеличиваешь. Я не камень. Но я никогда не понимала тех, кто раскисал после пережитого или впадал в истерику. Надеюсь, ты не устроишь Павлу Алексеевичу сцену.

- Нет. Но я не смогу теперь с ним встречаться. Посоветуюсь с мамой и переведусь в Казанский институт.

- Значит, мы теперь долго не увидимся? – печально спросила Бондарева.

- Я всегда буду вас помнить.

Ася подошла к Бондаревой, взяла её руку и поднесла к своим губам.

- Ну зачем же это? – Бондарева освободила руку, бережно коснулась пальцами волос девушки и начала мягко перебирать ее густые русые пряди. – Если захочешь написать, буду рада получить от тебя весточку.

- Я напишу, – поднялась Ася.

- До свидания!

Она спустилась по лестнице и, увидев в подъезде Вениамина, только теперь вспомнила о нем.

- Ну и ну! – показал он на часы. – Ты что, плакала?

- Проводи меня домой, – попросила она.

- А юбилей?

- Проводи меня домой, – повторила она. – Или иди лучше туда один, чтобы там не беспокоились, а я вернусь домой сама. У меня завтра семинар. Передай вот это Павлу Алексеевичу. Пусть живет подольше и не забывает о тех, кого уже нет, – добавила она, передавая Вениамину амулет.

Тот хотел было высказать ей все, что думал о её капризах, но, встретив её мрачный взгляд, пожал плечами и пошёл в гости один.

Через год Вениамин защитил диссертацию и был оставлен при институте. Бородка, которую он недавно начал отпускать, прибавляет ему лет пять, но все же выглядит он моложаво. Невеста у него – красивая, спокойная девушка, дочь директора завода. Разумеется, без всяких странностей. Когда они под руку ходят по магазинам и не торопясь выбирают обстановку для будущей квартиры, все принимают их за мужа и жену. Обнаружилась и разница во вкусах: он предпочитает новый стиль, невеста тяготеет к прошлому веку. Зоя Герасимовна все же добилась того, что пруд около фабрики начали чистить и благоустраивать. Днём там трещат бульдозеры, тяжело ворочаются экскаваторы и снуют самосвалы. Уже видны горы золотистого песка для будущего пляжа. Довольно часто она получает из Казани письма от Аси.

А Павлу Алексеевичу так и не удалось отпраздновать своё восьмидесятилетие. Умер он через полгода после отъезда Аси. В некрологе тепло отозвались о его достойной жизни. Зоя Герасимовна пережила его всего на три месяца. Через два года он и она были посмертно занесены в Книгу почётных граждан города. Так и записаны рядом...

Сердце не камень

Маковое поле начиналось за небольшой возвышенностью. У самого подъема Алексей внезапно ощутил холодок страха: а что если и сегодня, после его утреннего призыва по радио, поле окажется таким же малолюдным, как вчера? Желая поощрить сборщиков мака, он вчера разрешил косить после пяти

вечера траву для личных коров. Может быть, хоть это подействует.

Вспугнутой перепелкой газик взлетел на холм. И сразу же среди высокой желтой травы Алексей с облегчением увидел разбросанные по полю платки и кофты, по цвету и форме которых давно научился издали различать женщин своего села. Как всегда, на месте оказались осанистая и строгая Лукьяновна, хохотунья Галина Кавалерова, миловидная, недавно поднявшаяся после родов Нина Бояркина, сухая крепкая старуха Паршина. Алексей уже собрался было крикнуть: «Здорово, бабоньки!», как вдруг рядом с Ниной увидел ее мужа Илью. Наклоненная голова его то поднималась над маковыми коробочками, то пропадала в траве. «Косит, подлец, – сообразил Алексей. – А ведь еще нет и одиннадцати». Засопев от гнева, он круто повернул машину в траву. Прыгая по скошенным валкам, газик остановился в двух шагах от Бояркина. Тот с явным сожалением на смуглом красивом лице приостановил работу и выпрямился. С тугих щек Алексея медленно сошел румянец.

- Тебя куда бригадир направил? – спросил он, подавляя дрожь в голосе. Илья неторопливо вытер пучком травы косу,

- Известно куда – на мак.

- Собирать или косить?

- А разве мак косят?

Алексей сглотнул слюну.

- Ты это, понимаешь, оставь. Я уже вышел из такого возраста, чтобы из меня дурака делали. Еще раз спрашиваю, почему не собираешь мак?

- Баба вон собирает, а я свою норму выполнил. С шести часов здесь.

- Разве ты не слышал, что я говорил по радио: выполнил одну норму, бери второй участок. А для себя коси после пяти.

- У меня радио выключено, слушать некогда, – проговорил Илья. Он сделал нетерпеливое движение плечом, как бы собираясь снова косить.

- Бросай сейчас же косу! – крикнул Алексей, уже не владея собой, и потянул к себе ручку, – иначе всю траву прикажу сvezти на скотный двор, а тебя самого судить будем...

- Эх, нашли чем грозить, – Илья далеко отбросил прочь косу, – забирайте, не жалко, пусть гниет. Только на людей тоже не надо кидаться. По-хорошему объясните, что и как. Мы и без крика пойдем!

- Да, вы поймете. Только о своем и думаете, а на колхозное вам наплевать.

- Напрасно обижаете, Алексей Степанович.

Бояркин презрительно взглянул на председателя и пошел к жене, Проводив его взглядом, Алексей сел в машину и доехал до проселка, где начиналась рожь. Вид зеленеющей озими всегда действовал на него успокаивающе. Рядом с нею высыхающее маковое поле казалось серым и скучным. И вспомнилось ему это же поле в июне. Подъехал к нему Алексей как-то утром и ахнул: будто из самого солнца брызнула на землю горячая кровь, да так и застыла на ней алой росой – не на гектар, не на два, а на целых тридцать. Поглядеть с холмов, словно кто одним взмахом разостлал среди трав на радость людям гигантское красное знамя. И, видно, был тот неизвестный человеком богатырской силы, если смог совершить такое чудо. В гордых мыслях уже мерещилось тогда Алексею, как под этим знаменем в одно лето разбогатеет колхоз и вырвется в число передовых. О зерновых тревоги не было: дожди шли как по заказу. А беда подкралась как раз с этой стороны: нежданно-негаданно примчался с астраханских степей на черных крыльях колдун и в каких-нибудь три дня свернул наливающееся зерно. Вместо ожидаемых восемнадцати центнеров с гектара собрали едва по восемь. Неустойчивые дрогнули: забросив поля, потянулись к своим огородам, телятам, свиньям. С тех пор обиделся Алексей на колхозников. Сам чувствовал, как с каждым днем все больше и больше отдаляется от людей.

«Бояркин прав: дело во мне, и только во мне, – с горькой откровенностью думал он, стоя между двумя полями. – А раз так, надо честно сказать об этом в райкоме. Не могу, не имею права. Перед людьми, перед партией, перед своей совестью».

И оттого, что оратор был честен перед собой, что остутился и что ему шёл уже сороковой год», в горле у Алексея защемило. Он взглянул на соломенные крыши села, которые не успел еще перекрыть, на новую лесопилку, на расцвеченные осенью лесистые холмы за селом, мысленно прощаясь с местами, где прожил столько светлых, трудных, радостных и горьких дней.

До обеда Алексей побывал на току, в овчарне и на свиноферме, приятно удивляя колхозников миролюбивым и рассудительным тоном, а затем, отправив машину в город за деталями, пошел назад.

Неподалеку от макового поля до него донесся громкий спор. Алексей прибавил шагу и на открывшейся взгляду озими увидел Илью Бояркина, который одной рукой держал за уздечку неказистого гнедого конька, а другой старался стащить с седла взъерошенного парня лет пятнадцати – подпaska из соседнего колхоза «Маяк революции». Вдалеке на берегу речушки Лысухи маячило стадо, поближе пощипывали озимь две отбившиеся коровы.

- Я тебе покажу, как озимые травить! – кричал Илья. – На свое поле небось бы не пустил, а на колхозное так можно. Постройшь с такими коммунизм.

- Так я разве же нарочно. Отпустите, товарищ бригадир.

- То-то же... Соображать надо, – смягчился Илья, видимо польщенный тем, что его приняли за бригадира. – Чтоб это было в последний раз. Я, брат, таких вещей прощать не намеренный. Алексей усмехнулся про себя и подошел к спорящим.

- Фамилия? – строго спросил он у паренька.

- Чья?

- Не моя же. Ну?

- Фамилия известная, – тянул подпасок, соображая, как быть.

- Какая же?

- Человечья.

- Вот как. – Алексей взялся за повод. – Слезай с лошади!

- Зачем?

- Объясню после.

Подпасок нехотя слез.

- Хитров моя фамилия, – сказал он поспешно. – Хитров.

- Садись, Бояркин, на коня, сдай его конюху. И без меня не отдавать, – приказал Алексей, не обращая внимания на подпаска.

- А как же я стадо буду пасти? – со слезой в голосе спросил паренек. Теперь только по-настоящему стало видно, сколько в нем еще детской беспомощности.

- Это меня не касается, – проговорил Алексей. – Уплатишь штраф, заберешь.

- Ну, ладно же, – всхлипнул Хитров и побрел к стаду, влоча за собой длинный кнут. Илья с нахмуренным лицом сидел в седле.

- Нехорошо получилось, – сказал он. – Обидели парнягу. Поругали бы его и отдали коня.

- Жалко стало?

- Не в том дело. Весной у них сами сено одалживали и ещё, может, придется. Соседи все-таки.

- Чужих жалеешь, а свой колхоз тебе не жалко. Осыпается мак вон, тысячи гибнут.

- Это дело поправимое. Завтра все выйдем. Пока не соберём, косы в руки не возьму. А с подпаском все-таки несправедливо вы обошлись, в глаза вам скажу.

- Всем я здесь, видно, глаза намозолил, – не скрывая горечи, сказал Алексей. – Ничего, скоро освобожу вас от своей персоны,

- Это в каком смысле? Снимают, что ли?

- Сам ухожу, – с мстительным удовольствием проговорил Алексей, идя рядом с конём.

- Вот-те раз, – озадаченно сбил набок фуражку Илья.

- Нет, не пойдёт – вдруг засмеялся он.

- Что не пойдёт?

- Никуда вы не уедете.

- Это почему?

- Да как же, столько нервов здесь истрепали и все бросить. Вы сюда ещё почти молодым приехали, а сейчас виски уже седые. Останетесь, – уверенно заключил он. – А подпаска все ж напрасно обидели.

- Ладно, разберемся, – неопределенно пообещал Алексей.

Уже в сумерках он пришел на конюшню, молча вывел трофейную лошадь и оседлал её с помощью конюха.

- Правильно, отвезите её, что даром кормить, – одобрил конюх. – А пастуха отmaterите, как следовательно, чтоб почувствовал.

К броду Алексей подъехал, когда уже совсем стемнело. Было так тепло, влажно и тихо, что если бы не кисловатый запах опавших листьев, доносившийся из леса, можно было принять эту ночь за апрельскую. Войдя в воду, лошадь остановилась напиться, Алексей похлопал её по опущенной шее, она задрожала всей кожей, подняла голову, и, почувствовав близость родной конюшни, тихо заржала.

Совість

В очереди к терапевту сидело пятеро. Шестой, ещё молодой, рано облысевший мужчина в синей рабочей куртке, стоял: не хватило стула. Кравцов поздоровался и в нерешительности остановился перед очередью. Что делать? Спрашивать, кто

последний? Пожалуй, не только ко второму – к четвертому уроку не успеешь. А объявлять о том, что он как участник войны имеет право пройти без очереди, было почему-то неловко. И без того видно – бывший фронтовик: над левым карманом пиджака три ряда орденских планок, справа – две золотые нашивки за ранения. До этого своим правом он пользовался только на автовокзале и на железнодорожной станции. И то потому, то там была особая касса для ветеранов. Но если он сегодня не возьмет справку у врача, горящую путевку в Кисловодск могут передать другому. Председатель райкома учителей так его и предупредила: "Федор Алексеевич, кровь из носу, а бумажку представьте сегодня. И так вы с нею затащили, все сроки прошли".

Первым у двери кабинета ссутулился низенький строгого вида старичок с седым ежиком. Тоже, наверное, участник, хотя знака на пиджаке и не носит. За ним разместилась, заняв почти два стула, немолодая, рыхлая краснолицая женщина с застарелой обидой в лице, чем-то похожая на Кабаниху из пьесы "Гроза". Третья была тоже немолодая, но привлекательная, с аккуратно зачесанными назад сидящими волосами и небольшим шрамом над левой бровью. Как это иногда бывает, шрам нисколько не портил, а скорее красил её.

Кравцов почему-то сразу же выделил эту женщину из остальных. То ли почудилось что-то знакомое, то ли просто понравилось лицо, особенно из-за этого шрама.

"Скорее всего, родительница кого-нибудь из моих учеников, и я встречал её в школе, – подумал он. – Какое открытое, славное лицо". На мгновение в его сознании мелькнуло даже смутное видение, связанное с этим шрамом, и тут же погасло, как след ракеты в ночи.

Поколебавшись, он попросил:

- Разрешите мне пройти после этого гражданина. Как участнику войны. Очень тороплюсь на работу.

- О чем разговор, – охотно отозвался человек в куртке. – Имеете полное право.

- Мы все здесь участники, – медленно и зло выговорила грузная женщина. – Все горюшка в войну хлебнули.

- Извините, я не знал, что вы тоже воевали, – смутился Кравцов.

- А как же, довелось. Все ветераны. – "Кабаниха" повернулась к соседке со шрамом, словно за подтверждением. Та промолчала. Кравцова поразила перемена, происшедшая в

лице этой женщины, как только он попросил пропустить его без очереди: из милостивого и добродушного оно стало нервным и раздражительным, поразительно похожим на лицо соседки.

- А вот врать, гражданочка, не годится, – громко сказал человек в куртке.

- Это в чём же я соврала? – грозно повернулась к нему всей массой краснолицая. Складки её платья тоже нахохлились, как перья у наседки, принимая боевое положение.

- Так я же вас знаю, – продолжал лысый мужчина. – Агитатором на последних выборах у вас был. Помните? Вы еще отказывались идти голосовать из-за того, что вам отдельную квартиру не выделили. А отказали вам потому, что свой дом с участком вы продали, а в кооператив не захотели вступить. И по возрасту, гражданочка, вы тоже никак в войне участвовать не могли. Так-то вот!

- Наговорить на всякого можно, – проворчала грузная, насупясь. – Чего прицепился? Агитатором он, вишь, был. Я сама, может, агитатор почище тебя.

- Совесть надо иметь, – вдруг отчетливо выговорила женщина со шрамом, все так же ни на кого не глядя. Кравцова будто хлестнули по лицу.

- Это вы обо мне? – спросил он, чувствуя, как челюсти ему сводит.

- А то о ком же...

- Житья не стало от них, – подхватила "Кабаниха". – Как будто все остальные не люди.

"Только не сорваться, – мысленно убеждал себя Кравцов. – Не унизиться до перебранки с этими жалкими женщинами. Иначе снова подскочит давление". Он провел кончиком языка по сухому небу, пытаясь успокоиться, но сердце его после двух торопливых ударов вдруг замерло, и он почувствовал, как стремительно падает в бездну. Пошарив в правом кармане пиджака, он вынул подрагивающими пальцами таблетку и сунул ее под язык. Падение прекратилось, но его все же шатнуло, и чтобы не упасть, он ухватился за спинку стула. Человек в куртке что-то кричал. Кравцов видел, как исказилось гневом его лицо, как шевелились его губы, но, словно в немом кино, не слышал его голоса. Однако все остальные слышали.

- Да вы что! – кричал мужчина. – Или вам совсем память отшибло? На человеке лица нет, а вы... Если сейчас хоть одна из вас слово вякнет, я не знаю, что сделаю!

- И то правда, – возмутилась третья женщина из очереди. – Затеяли какой-то глупый разговор. Слушать стыдно. Вы, товарищ, проходите, не слушайте этих...

В это время старичок с седым ежиком вышел из кабинета, и рыхлая с неожиданным проворством ринулась в открытую дверь, задев плечом Кравцова. Он пожал плечами и вздохнул. Женщина со шрамом, казалось, окаменела. Лицо ее побледнело и осунулось на глазах. Что-то подталкивало Кравцова искать ее взгляд. И вдруг темные подвалы его памяти озарила яркая вспышка. "Она, она, сомнения нет", – шептал он мысленно, ужаснувшись тому, что встретил ее после того, что сейчас произошло.

Случилось это в начале октября сорок первого под Курском. Восемнадцатилетний Федя Кравцов и его напарник по разведке Лузгин пробирались лесом с задания в свой батальон. Настроение у обоих было подавленное: мало того, что сведения собрали неутешительные, – на засаду напоролись. И там, где её совсем не ждали. По виду деревенька выглядела совсем заброшенной: остались одни печные трубы да обугленные бревна. По всем подсчетам, немцы должны были находиться километрах в пяти отсюда. А едва Федор попробовал перебежать у околицы от одного дубка к другому, как из-за обгоревшей печи по нему полоснули из автомата. Правда, ранение не такое уж тяжелое – левую руку пониже плеча прошила всего одна пуля, но пришлось возвращаться. Ночь они скоротали, укрывшись в овражке, а чуть свет снова отправились в путь. Раненая рука налилась тяжестью, и при каждом резком движении перед глазами Федора плыли мутные круги. К обеду, когда до своих было уже рукой подать, вдруг из поредевших кустов орешника раздался детский плач. Оба тут же упали на землю и с двух сторон поползли по зарослям. Растирая кулачками грязные щеки, всхлипывала босоногая и оборванная девочка лет десяти. Над левой бровью у нее кровилась рана.

- Ты что здесь делаешь? – спросил Федор.

- От немцев убегала.

- А мать где?

- Там осталась. – Девочка махнула в сторону деревни. –

У-у!

- И давно ты здесь?

- Третий день. Я есть хочу.

Федор достал из пакета "энзе" ломоть хлеба и два кусочка сахара. Девочка с жадностью вцепилась зубами в хлеб.

- Тебя как зовут?
 - Зойка.
 - А бровь где поранила?
 - Разбила о корягу, когда упала.
 - Что же нам с нею делать? – спросил Лузгин.
 - Ой, дядечки, ой, миленькие, не бросайте меня туточки,
- неожиданно громко, по-бабьи запричитала Зойка. – Возьмите с собой.

Полк отступал, и разведчики с трудом нашли остатки своего батальона. "Невесту себе нашел, Кравцов, – мрачно пошутил старший лейтенант. – Иди в медсанбат, у тебя ведь жар. И девчонку прихвати, пусть ей рану обработают".

Зойке промыли ранку и перевязали марлей голову.

- А вот с твоей рукой дела неважные, – сказал Федору хирург. – Мазь Вишневского у нас кончилась, а без нее как бы гангрена не началась.

- Что же делать?

- Вот тебе направление в курский госпиталь. Заодно и девчонку там пристроишь в детский дом. Если он ещё не эвакуировался. Такие, брат, дела, – вздохнул хирург и почему-то шепотом добавил. – Ночью немцы Орел взяли...

В Курске Федор успел сдать Зойку в детский дом уже на вокзале, за какой-нибудь час до отправки состава.

- Фамилия твоя как? – спросил он на прощание. – Может, после войны доведется встретиться.

- Погореловы мы.

- Ну, такую не забудешь. Прощай, Зойка Погорелова! Расти крепкой и живи долго!

Девочка не по-детски серьезно обняла его за шею, прижалась к его щеке и всхлипнула.

После войны Кравцов два раза писал в центральный детский распределитель, но следы девочки затерялись

- Вы Зоя Погорелова? – спросил он, вглядываясь в ее шрам.

Женщина восторженно встрепенулась и впервые посмотрела ему в глаза.

- Да, это моя девичья фамилия. Откуда она вам известна?

- Не узнали? Немудрено, сколько лет прошло. Это ведь я тогда, в сорок первом, отвез вас в Курск, – устало ответил он. – Значит, выжили. Очень рад.

Женщина встала.

И.Д. Хмарский

- Вы! Как же это? – растерянно пролепетала она, теребя свою сумочку.

- Входите следующий! – пригласила сестра, проводив рыхлую.

Кравцов несуетливо прошел в кабинет.

- Можете даже не измерять давление, и без этого знаю, что повысилось.

- Что случилось? – добродушно спросила терапевт, стягивая жгутом ему правую руку, выше локтя.

- Небольшая стычка в очереди...

- И охота вам расстраиваться из-за пустяков. Надо беречь нервы.

Не так просто бывает это.

- Ого! Двести десять на сто шестьдесят! Бюллетень на три дня, – уже деловито продиктовала она сестре. – Постельный режим, полный покой и лекарства от гипертонии.

- Я ведь пришел за справкой. Есть путевка в санаторий.

- Пока и думать забудьте. Или вы хотите угодить там в больницу?

- Нет, не хочу, – серьезно ответил он.

Кравцов вышел из кабинета. Женщина со шрамом стояла у дверей.

- Подождите меня. – Она умоляюще коснулась его рукава. – Нам надо поговорить.

- О чем? Не о совести ли? – усмехнулся он.

- То, что произошло, – ужасно, – зашептала она. – Я этого себе никогда не прошу. Никогда! Хотите, я пропущу свою очередь и провожу вас?

- Зачем же? Столько ждали, нервничали. Идите!

- Но вы только подождите. Пожалуйста! – повторила она, уже переступив порог кабинета.

Кравцов постоял в раздумье, уставившись в пол. Потом поднял голову, встретился взглядом с мужчиной в куртке, кивнул ему и пошёл к выходу.

Франц

В одном из старинных концертных залов Вены окончилось бурное собрание рабочих. Вместе с густым потоком возбужденных людей я вышел на улицу. Было около одиннадцати часов вечера. Только недавно стемнело. Нагретые дневным

солнцем здания еще дышали теплом, а воздух был такой густой, что его хотелось потрогать рукой.

На Ринге, затканном тенями лип, меня вдруг окликнули по-русски. Я обернулся и увидел пожилого худощавого человека с седеющими усами – своего знакомого, известного в Австрии профсоюзного деятеля, – коммуниста Штамма. На родине ему пришлось жить не так уж много. До конца Второй мировой войны он постоянно скрывался от преследования правительства, в годы гражданской войны в Испании воевал в Интернациональной бригаде, был ранен и незадолго до победы франкистов переброшен товарищами во Францию.

Только перед самым аншлюссом он за короткое время смог вернуться в Австрию, и с приходом гитлеровцев сразу же попал в руки гестапо.

По пути в концлагерь Штамм выпрыгнул с двумя товарищами из вагона, сломал себе руку, но все же спасся. Некоторое время он прятался в Каринтии, затем через Балканы перебрался в Иран, а оттуда – в Советский Союз. На родину он вернулся только в 1945 году, после изгнания гитлеровцев из Австрии.

Штамм крепко пожал мне руку. Его возбуждение еще не улеглось: на худых щеках горел пятнами румянец, глаза искрились. Казалось, они излучали тепло так же, как эти дома, впитавшие в себя лучи солнца.

- Вы слышали? – сказал он возбужденно. – А были даже в нашей партии люди, которые не верили в успех этого собрания. Мы можем объединить рабочих, но нам нужны хорошие агитаторы. Надо обойти все медвежьи углы страны, облазить все горы, рассказать Австрии правду. Наш народ – доверчивый ребенок, которого хронически обманывают. Часть людей поддалась на приманку заокеанских дядей. Есть и такие, что просто умыли руки и отмахиваются от всякой политики. Но их становится все меньше. Даже мой Франц... Да, вы ведь и не знаете, что он уезжает! Угадайте, куда? В Москву, в консерваторию! Ну, что вы скажете? Он все от меня скрывал, боялся, что ему откажут, а сегодня получил официальное разрешение. Каков, а!

Штамм весь светился от радости и гордости. Бывая в нашем консульстве, я уже знал о том, что сыну Штамма решили учиться в Москве, но, не желая разочаровывать старика, сделал вид, что это для меня новость,

- Знаете что, – сказал Штамм, – давайте зайдём к нему. Поздравьте его сами, он будет так рад. Кстати, посмотрим у них в кабаре сегодня новую программу.

Я был свободен и охотно согласился.

О Франце я знал не так уж много. Он воспитывался без отца под влиянием своей матери, женщины набожной и замкнутой. Правда, сам Франц не стал католиком, но и от политики был далек. Когда мы с ним познакомились на концерте русской музыки, он откровенно сказал:

Мой отец, безусловно, достоин уважения. Но какова его судьба. Полжизни, как цыган, кочевал по всем странам, и вот результат: в пятьдесят лет у него нет приличного угла, мы ютимся в комнате, где нельзя поставить рояль, газеты противников обливают его грязью и вообще...

Мы долго в этот вечер беседовали. На прощанье он сказал:

- Какое счастье, что есть в мире музыка, в которой можно укрыться от всей этой истерии, газетных перебранок, атомного психоза...

Францу было восемнадцать лет. С детства он обнаружил большие музыкальные способности, окончил с отличием школу по классу фортепьяно, а после войны начал учиться в Венской консерватории игре на органе. Это был красивый, худощавый юноша с большими черными глазами. В улыбке его, в нежной бледной коже, в певучем голосе было что-то мягкое и женственное. В последнее время я замечал в его поведении некоторые странности: иногда он бывал очень оживлен, разговорчив, без конца шутил, смеялся, казался просто ребенком. В такие минуты в нем было что-то мальчишеское. Иногда же из него трудно было вытянуть два слова, он казался безразличным ко всему на свете.

Я знал, что Франц переживает какую-то творческую драму. К органу он внезапно охладел. Это случилось после приезда в Вену известного советского пианиста.

Франц, имевший очень смутное представление о советской музыке, после первого же концерта пришел в восторг, познакомился с пианистом, попросил прослушать его игру на рояле и получил в ответ не только похвальный отзыв, но и фотографию с дружеской надписью.

Несколько дней он ходил совершенно счастливый, а затем прекратил занятия на органе и для заработка стал играть в кабаре. Именно с этих пор я чаще всего видел его озабочен-

ным и рассеянным. Отец советовал ему оставить работу и продолжать учиться, но он упорно отказывался, ссылаясь на то, что надо помогать семье. Однажды, когда мы были одни, он сыграл мне красивую грустную мелодию в джазовом ритме и, закрыв пианино, спросил:

- Узнаете?

- В первый раз слышу.

- Это я сам пробовал сочинять, да не вышло.

- Почему же? Вещь интересная.

- Правда? Спасибо. – Он порывисто пожал мне руку и, нахмурясь, сказал:

- Я уже, видно, искалечен современной музыкой. Нет искренности, не хватает простоты, все время сбиваюсь на опротивевшие ритмы... Мне надо поехать к вам, поучиться у ваших музыкантов, тогда, может быть, что-нибудь выйдет. Что, Москва лучше Вены?

- Каждый город хорош по-своему.

- Да, это правда. Ах, как мне хочется поехать к вам!

- Что же, обратитесь в консульство.

Он встрепенулся.

- Для этого ведь надо быть коммунистом.

- Совершенно не обязательно. Достаточно быть просто честным человеком. Кроме того, имя вашего отца...

- О нет. Он сам по себе, а я сам по себе. Я не хочу и не имею права прятаться за его спину.

Все же через неделю Франц принёс в наше консульство заявление.

Все это мне вспомнилось сейчас.

В кабаре мы выбрали один из самых укромных столиков и, заказав кофе, стали смотреть на сцену, где показывали второе отделение программы, составленной по обычному западному стандарту.

В зале с низким потолком становилось душно.

Между столиками ходили официанты и разносили кофе, кислое виноградное вино, эрзац-пиво и подкрашенную чем-то воду. Некоторые посетители с наслаждением смотрели на сцену, другие негромко беседовали, третьи читали газеты, четвертые играли в шахматы. В зал вошли три новых посетителя. Официант провел их к заранее оставленному столику. Судя по всему, трое были американцами. Один из них, в темно-зеленом офицерском френче без знаков различия, очень толстый, с младенчески недоразвитым красным лицом, был пьян.

Усевшись спиной к сцене, он стал часто оборачиваться, хлопать и кричать:

- Bravo! Гох!

Затем подозвал к себе официанта и на ломаном немецком языке проговорил:

- Уайн фляше.

Второй – тоже молодой, долговязый, с гладко зачесанными волосами, – положил ногу на ногу под прямым углом, задев ботинком край стола, как часто делают американцы. Закурив и откинувшись назад, он стал бесцеремонно разглядывать посетителей, на его холодном лице блуждала презрительная усмешка.

Как и первый он был под хмелем, но, в отличие от того, говорил тихо.

Третьим за столом сидел небольшого роста пожилой господин с поджатой губой и скучающим лицом, на котором как будто было написано: «Я видел так много всякой всячины, что заинтересовать, а тем более удивить меня чем-либо невозможно». Он больше молчал и как-то воровато оглядывал посетителей, наклонившись над столом. Только изредка он быстро выговаривал несколько слов, по-видимому, очень остроумных, так как толстый курчавый американец начинал громко хохотать.

Австрийцы старались делать вид, что не замечают новых посетителей, но я поймал несколько иронических взглядов. Со времени появления американцев Штамм начал пристально глядеть в их сторону, изучая каждого в отдельности.

- Все трое корреспонденты, – сказал он наконец, – вчера в «Винер Курир» было сообщение о приезде в Вену целой дюжины таких красавчиков.

Он замолчал, так как конференсье объявил о выступлении Франца. Франц вышел в сером пиджаке, кивнул в сторону публики, задержал взгляд на американцах, сел за рояль и начал играть какой-то тягучий танец с виртуозными пассажами. Вдруг он взял два звучных аккорда и, точно отряхнув с себя прежнюю мелодию, заиграл «Интернационал». Посетители, оставив разговоры, повернулись к сцене. Американцы обменялись быстрыми словами и тоже с удивлением стали смотреть на пианиста.

Грозная мелодия, непривычная для этого жалкого, пропитанного пошлостью помещения, пронеслась подобно порыву свежего ветра. Казалось, даже табачный дым рассеялся, стало

светлее и легче дышать, а попавшие сюда люди с удивлением глядели друг на друга, стараясь понять, что же произошло.

Из задней двери вышел хозяин кабаре – измятая личность с уголком платочка в кармане пиджака. Он некоторое время подозрительно посматривал то на сцену, то на публику, затем спросил что-то у юркого человечка, вертевшегося около. Тот виновато пожал плечами. Франц кончил играть и стал у рампы, опустив глаза. Все молчали. Но вот раздалось несколько робких хлопков.

Казалось, вот-вот зал взорвется аплодисментами. Но что-то этому помешало. Франц поклонился и сошел со сцены.

- Здесь смотреть больше нечего, – поднялся Штамм. – Обождите меня около гардероба. Я позову Франца.

Он пошел за кулисы, а я вышел в фойе. Американцы ещё не ушли. Они стояли посредине фойе, курили и о чем-то спорили. Толстый корреспондент порывался опять в зал, двое других отговаривали. Боковая дверь отворилась, и оттуда быстро вышел хозяин. Он тотчас с виноватым и озабоченным видом начал объяснять причину недоразумения.

Краснолицый толстяк воинственно наступал на него, выкрикивая что-то непонятное на своем полу немецком жаргоне. Он так сильно размахивал руками, что несколько раз едва не задел хозяина по лицу, а тот, не желая показать, что слишком перепугался, вынул платок и, как бы для того, чтобы отереть пот, откинулся назад.

Вперед выступил пожилой господин со скучающим лицом и сказал скрипучим голосом:

- Оставь его в покое. Это не его вина.

Затем он вынул пачку сигарет и протянул хозяину.

- Возьмите все, – проговорил он таким тоном, каким дают детям конфету.

Хозяин взял, поклонился и, почему-то не решаясь спрятать сигареты в карман, продолжал держать их в руке.

В это время вышел Штамм.

Франца с ним не было.

- Уже успел уйти, – развел рукам Штамм.

Хозяин, все еще с пачкой сигарет, обернулся к нему.

- Мне известно, чья это работа, герр Штамм! Я буду жаловаться на вашего сына и на вас, куда следует. Ноги его больше у меня не будет. Заниматься политической пропагандой в кабаре! Не доставало ещё этого.

Он покосился в сторону американцев и вытер платком лоб, полагая, что достаточно показал свое негодование, но, подумав, пробормотал, правда, очень невнятно: «Коммунистические штучки».

- Bravo, – сказал Штамм, – пожалуй, вы заработали ещё одну пачку сигарет.

Хозяин поспешно спрятал сигареты в карман, передернул плечами и воздел глаза к потолку: дескать, видит бог, с кем приходится иметь дело.

Мы хотели уже уйти, но дорогу нам преградил толстый корреспондент.

- Пардон, – сказал он, уставившись на Штамма неподвижными пьяными глазами. – Вы коммунист?

- Да. А вы, кажется, нет?

Толстяк захохотал.

- Пока нет. Но я либерал, у меня на коммунистов наметан глаз.

- Завидный талант. Советую вам поступить в федеральное бюро, – отрезал Штамм быстро по-английски.

Американец повернулся к своим компаньонам, – Слышали, он острит! – Двое других подошли к нам.

- Нельзя ли короче, я тороплюсь. – Штамм сделал движение к двери.

- Сию минуту. Только один вопрос. Мы вот, все трое, американские корреспонденты. Между нами, мы пишем не всегда то, что думаем, это особенность нашей профессии..,

- Хорошо оплачиваемая особенность, – подмигнул Штамм. – Не так ли, господа?

- Он мне начинает нравиться, – проскрипел пожилой господин, но толстяк отодвинул его рукой.

- Один вопрос, один вопрос. Откровенно: за что нас не любят в Европе?

Пожилый американец снова выдвинулся вперед.

- За то, что мы империалисты, колонизаторы и поджигатели войны. Едины в трёх лицах. Кажется, так, мистер австрийский коммунист?

- Близко к истине, хотя можно было бы кое-что добавить, – в тон ему ответил Штамм. – Честь имею!

Мы вышли на улицу, простились, и я направился домой. Было около двенадцати часов ночи, в переулках почти не встречалось прохожих. Я вышел на улицу Грабен и, пройдя её, остановился у громады слабо освещенного внизу готического

собора св. Стефания, мрачно упиравшегося где-то высоко вверху острой башней в звездное августовское небо. Одинокие прохожие привычно проходили мимо. Только молодая монахиня в длинном черном платье и огромной накрахмаленной белой шляпе, напоминая какую-то диковинную птицу, долго стояла на тротуаре, сложив руки и шепча молитвы. Я перешёл на западную сторону собора, погруженную в темноту, натолкнулся на человека в белом плаще и хотел уже свернуть на улицу, как вдруг он окликнул меня.

- Франц! – воскликнул я с удивлением. – А мы вас искали. Что вы здесь делаете?

- Прощаюсь с Веной, со своими любимыми местами и... старыми мечтами. Когда-то я часто думал о том, как стану органистом в Стефансдоме. Теперь это в прошлом. Чувствую, что не усну в эту ночь. У вас есть время? Погуляем?

- С удовольствием.

Мы миновали гостиницу, где я жил, и подошли к городскому парку. Издали доносились по радио слабые звуки рояля. Франц остановился, вслушался и, схватив меня за руку, таинственно зашептал:

- Слышите?

Я вслушался: передавали первый фортепьянный концерт Чайковского. Франц, не выпуская моей руки, потянул меня за собой.

- Я знаю место, с которого хорошо слышно. Скорее, прошу вас, это совсем рядом, у других ворот, – говорил он, умоляюще глядя на меня, словно от того, успеем ли мы послушать или не успеем, зависела его дальнейшая судьба. Поддавшись его настроению, я быстро последовал за ним. Мы сели на скамейку в полумраке, под густой липой.

Передавали третью часть.

Франц прикрыл глаза рукой и слушал, слегка покачивая головой.

Когда он отнял руку, на лице его блуждала восторженно-растерянная улыбка.

- О, это так прекрасно. Подумать только, что может сделать человек! Откуда у него все это? Как бы я хотел создать хоть сотую часть созданного им. Ради этого можно пожертвовать всем на свете. Доставлять людям такую радость...

Поблизости послышался говор, и из-за поворота показались силуэты двух американских солдат. Они напевали в нос какую-то джазовую песенку, притопывая ногами. Заметив

нас, солдаты подошли к скамейке и бесцеремонно осветили нас фонариком. От обоих сильно отдавало вином.

- Что вам надо? – спросил я резко.

- О, ничего. Не вас. – Они засмеялись и ушли.

Франц, нахмурившись, следил за ними. Солдаты давно скрылись, а он все ещё стоял неподвижно. Видно было, что очарование музыки для него пропало, он угрюмо дослушал финал. Прозвучали последние удары рояля, и все смолкло. И вдруг тишину прорезал животный женский крик. Мы вскочили. Крик из глубины парка повторился. Мы бросились в ту сторону и, пробежав несколько аллей, натолкнулись на девушку в светлом платье, которая, закрыв лицо руками и шатаясь, шла по аллее. Платье с большими алыми цветами было у нее на плече разорвано. Девушка громко стонала.

- Что, что случилось? – закричали мы оба.

Не отвечая, она продолжала стонать и продвигаться, как слепая, вперед. Франц взял её за руку. Это была очень молоденькая светловолосая девочка, не больше шестнадцати лет, хрупкая и болезненная, тоненькие, широко по-детски расставленные ноги, казалось, вот-вот подломятся.

- Кто вас обидел? Что произошло? – Франц тряс её за плечи.

Она начала что-то говорить, но при этом так судорожно всхлипывала, что трудно было разобрать слова.

Наконец, я расслышал:

- Я шла, а они... два американских солдата... О, шрэклик! вдруг закричала она, откинув назад голову. Затем вырвалась из рук Франца и, спотыкаясь, побежала к выходу.

- Мы не можем оставить вас одну. Где вы живете? – крикнул ей Франц вдогонку.

Она замотала головой.

- Оставьте меня одну, ради бога, оставьте меня одну.

- В самом деле, Франц, – сказал я. – Она сама успокоится скорее.

Мы проводили её до выхода и остановились на бульваре. К нам подошел полицейский.

- Что с нею?

- Американские солдаты...

- А, обычная история – полицейский подмигнул.

- Надо заявить американскому коменданту.

- Я ничего не видел, – поспешно отказался он.

- Так я сам заявлю, – сказал Франц порывисто.

- Это ваше дело. Между прочим, недавно они одного до полусмерти избили в комендатуре, тоже жаловался.

Он кивнул и отошёл.

Франц прислонился спиной к дереву и мрачно смотрел перед собой. Лицо его осунулось. Я увидел, что оставлять его одного нельзя и предложил проводить домой, но он наотрез отказался.

- Что же вы собираетесь делать?

- Не знаю.

- Тогда давайте пройдемся по городу. Вам надо успокоиться.

И мы начали бродить по пустым узким, средневековым переулкам ночной Вены. Я рассказывал ему о Москве, консерватории, о своей студенческой жизни. Вскоре повеяло свежестью. Мы подошли к Дунаю.

С высоты моста необычайно спокойная река, отражавшая звезды, сама напоминала широкую звездную дорогу, теряющуюся спереди и сзади в неясной ночной мгле. Из какого-то отдаленного ресторана на берегу доносились слабые звуки вальса. Огромный город мерцал огнями. Всё отсюда представлялось легким и поэтичным. Франц совсем успокоился. К нам подошел часовой и предупредил, чтобы на мосту ночью не останавливались. Мы начали неторопливо опускаться по шоссе в город. На противоположной стороне навстречу быстро прошла светлая женская фигура. Франц был погружен в свои мысли и ничего не видел вокруг. Когда мы уже свернули на боковую улицу, на мосту послышались какие-то крики и раздался свисток.

- Что-то случилось, – сказал я.

Мы быстро вернулись на мост. Часовой и ещё два какие-то человека, перегнувшись через перила, показывали руками на воду.

- Скорей там с лодкой! – крикнул часовой. Увидев нас, он добавил:

- Неприятность какая. Женщина бросилась с моста. Кто же знал. Идёт, а потом, смотрю, уже за перилами. Опуститесь к лодочнику, помогите.

Мы сбежали по каменной лестнице вниз. На берегу заspanный человек в шляпе с перышком сталкивал лодку в воду. Мы прыгнули в утлое суденышко и поплыли.

- Ну вот, каждый, кому вздумается, бросается в реку и обязательно выбирает для этого ночь, беспокоит честных лю-

дей, – бормотал лодочник, гребя на середину. – Попробуй теперь найти её.

Мы пристально вглядывались в воду. На середине около моста плавал спасательный круг, брошенный часовым с моста. Больше ничего не было видно. Сверху нам кричали, указывали место. На мосту уже собралась толпа. Вскоре на воде начали курсировать несколько лодок. Рыбаки забросили невод. Но все было тщетно. Через час безуспешных поисков мы, измученные и подавленные, вышли из лодки и сели на берегу. Промокший от брызг Франц дрожал всем телом не столько от холода, сколько от нервного возбуждения. Обхватив колени руками и неподвижно уставясь в одну точку, он своим бледным лицом и мокрыми волосами сам напоминал утопленника.

- Поедем, Франц. Вы простудитесь.

- Пожалуйста, побудем еще немножко. Я вас очень прошу. Мне все время кажется, что это та самая девушка.

На рассвете утонувшую все же нашли: ее выловили рыбаки ниже по течению. Утопленница лежала на брезенте, другой половиной которого была прикрыта.

Когда мы подошли к этому месту, Франц остановился шагах в десяти от брезента и попросил:

- Посмотрите, пожалуйста, сами. Я не могу...

Я подошел, откинул брезент и сделал усилие, чтобы не отвернуться. Хотя вода уже сделала свое дело, в распухшем и посиневшем лице все же можно было узнать девочку из парка. Я поспешно закрыл её брезентом. Не она, – сказал я, подойдя к Францу.

- А это?

Он показал мне на кусок ее цветного платья в песке, вероятно, оторванный багром при поисках.

Приехали врач, два полицейских и чиновник. Мы пошли в город. На востоке все сильнее разгоралась заря. Две лодки уже подняли паруса, и они окрасились в алый цвет. Легкий утренний ветер слабо шевелил влажные волосы на непокрытой голове Франца. Небо было необычайно чистое и нежное. Из садов доносилось веселое щебетание проснувшихся птиц. Не верилось, что на заре этого нового ясного дня совершилось еще одно преступление и еще одна человеческая жизнь растоптана.

Усталые и молчаливые, прощались мы в городе.

- Когда вы едете, Франц?

- Я не еду.

На мой вопросительный взгляд он коротко ответил:

- Вы думаете, я смогу забыть эту ночь. Такие вещи не забываются. Мне надо остаться здесь.

Франц действительно не уехал из Австрии. Он принес эту жертву, и только самые близкие его друзья понимали, что это для него значило.

Последний раз я встретил его случайно в следующем году весной.

Я был в длительной командировке и в Вену возвращался почти после месячного перерыва со стороны Тульна. Мы выехали рано, чтобы поспеть на место к началу занятий. Вдоль шоссе мелькали яблони в цвету и вся дорога были усыпана лепестками. Кругом зеленела равнина с разбросанными там и сям домиками под ярко-красными черепичными крышами. У въезда в Венский лес равнина кончилась, и дорога начала виться среди холмов. Шофер беспрерывно сигналил. В лесу в низинах утренний воздух был еще сырой, в оврагах кое-где висели клочья тумана, а папоротник блестел влагой, словно омытый дождем. Но солнце быстро поднималось, и его лучи, пронизывая верхушки дубов, проникали на дно оврагов, причудливо освещая то листья, то цветы, то испарения, создавая ту радостную, возбуждающую утреннюю игру света, которая создает иллюзию нетронутости и помогает забыть о том, что этот лес давно исхожен тысячами туристов.

Шофер остановил машину – стали слышны голоса птиц. Сбоку на поляне показалась девушка с корзиной, затем старик в кожаных штанах с тележкой, прицепленной к велосипеду. Все вокруг было так воздушно, легко, так располагало к безмятежным мыслям и хорошему настроению. Но на душе у меня было беспокойно. Я вспомнил о наших людях, погибших здесь прошлой весной, затем, подчиняясь своему ходу мыслей, представил себе, что происходит в эту пору у нас в России. Хорошо знакомое чувство тоски по родине овладело мной снова. Мне все казалось, что главная жизнь проходит сейчас мимо меня, и я уже никогда не смогу наверстать упущенное. С грустью я подумал о том, что в лучшем случае только осенью смогу получить отпуск.

- Ну что же, поедем, – сказал я шоферу и уже занес было ногу, чтобы сесть в машину, как вдруг на шоссе со стороны Вены показался велосипедист. Я всмотрелся и узнал Франца. За последние месяцы он погрубел и по виду казался крепче.

И.Д. Хмарский

Франц был в дорожном костюме с рюкзаком за плечами. Он поднял голову, затормозил и слез с велосипеда.

- Какая встреча!

- Куда вы? – спросил я, пожимая ему руку. Он махнул в сторону юга.

- В английский сектор: в Штирию, Каритию... По заданию парторганизации.

- Вы в партии?

- Да, я коммунист, – сказал он просто. – Как мы давно не виделись! — Он смотрел на меня, улыбаясь и, как видно, вспоминая нашу последнюю встречу. Что-то печальное и вместе с тем новое промелькнуло в этой улыбке.

- А как же?.. – начал я и запнулся.

- Как с музыкой? – переспросил он твердо. – С мечтой стать пианистом – расстался, но музыку не бросил. Я её слишком люблю. Играю много, где только есть возможность и на чем придется. Даже на этом.

Он вынул из заднего кармана губную гармошку и провел ею по губам. – Много записываю. Скоро выходит сборник народных песен в моей обработке.

- Поздравляю вас.

- Спасибо. Вот так... Ну что же, давайте вашу руку.

- Счастливого пути, Франц!

Он сжал мою руку своими двумя и долго молча держал её. Я чувствовал, что ему хотелось сказать что-то ещё.

- А Москву я всё же увижу, – проговорил он, наконец.

- Непременно, Франц.

Он повернулся и стал спускаться с холма.

Мне еще долго была видна внизу на дороге его худощавая юношеская фигура с рюкзаком.

Шенбрун

- Что же, господа, продолжим наше заседание, – сказал Ванин, усаживаясь после перерыва на председательское место и раскрывая папку с бумагами.

Английские, американские и французские дипломатические чиновники, беседовавшие группами на другом конце зала около стола с закусками, не спеша доели бутерброды, докурили сигареты, допили чай и с явной неохотой вернулись к столу заседаний. После шести часов напряженной работы все, в том числе заместитель Ванина Чертков и два переводчика,

заметно устали и лишь благодаря дисциплине и привычке старались не показывать этого. Только Ванин по-прежнему был свеж и бодр и сидел на своем стуле все так же прямо, не сгибая могучий торс и не опуская коротко под ёжик остриженную светлую голову на тугой упрямой шее.

Дипломатом Ванин, по его словам, стал поневоле. В годы Великой Отечественной войны он выдвинулся на политической работе в политуправлении 4-го Украинского фронта. Конец войны застал его в Австрии. Здесь хозяйственные и политические задачи по восстановлению страны оказались прежде всего задачами дипломатическими, так как каждый шаг советской военной администрации наталкивался на ожесточенное и тупое в своей слепой злобе сопротивление бывших «союзников». Большой опыт политической работы в армии и основательная теоретическая подготовка помогли Ванину быстро освоиться со своим новым положением, смысл которого состоял в том, что теперь больше, чем когда-либо надо было быть бдительным и настойчивым в отстаивании государственных интересов СССР.

Ванин ясно увидел, что его противники больше всего на свете боятся открытого, прямого и честного Ванин ясно увидел, что его противники больше всего на свете боятся открытого, прямого и честного обсуждения вопросов, и что кадры западных дипломатов комплектуются из самых отъявленных врагов советского народа. И он старался обращаться с ними так, как того заслуживают враги, пользуясь каждым случаем, чтобы разоблачать их, ставить в глупое, смешное и невыгодное положение.

Сейчас, на заседании четырехстороннего экономического отдела, в повестке стоял вопрос, по которому, он знал, возникнет снова ожесточенный спор. И Ванин, как борец перед состязанием, был особенно внутренне собран, а внешне спокоен.

- В повестке заседания остался последний вопрос, – сказал он, – о мерах по снабжению продовольствием венских детей. Обследование показало, что в результате хронического недоедания угрожающее число детей в Вене болеет туберкулезом, рахитом и другими болезнями. Руководствуясь гуманными соображениями, советское правительство решило отпустить из своих государственных запасов для оказания помощи детям Вены следующее продовольствие.

Он взял из папки лист и все тем же неторопливым отчетливым голосом начал читать, сколько хлеба, крупы, сахара, жиров, мяса и других продуктов уже отгружено в Вену.

Каждый из западных дипломатов воспринял сообщение Ванина по-своему. Прямо против него сидел американец Дэн, грузный большеголовый человек с веснушчатым лицом, рыжими бровями и огромной постоянно двигающейся челюстью: он беспрерывно жевал резинку.

Пункт о помощи детям был включен по предложению советского представителя и согласован с остальными по телефону. Дэн согласился на включение этого пункта, полагая, что речь пойдет о каком-то незначительном филантропическом мероприятии, и первые слова Ванина слушал рассеянно. Однако, поняв, что дело принимает практический оборот и прямо направлено на осуждение американской программы помощи, он насторожился, нахмурился, наклонил вперед рыжую голову и стал похож на раздраженного жующего быка. Как и Ванин, Дэн до Австрии не имел отношения к дипломатии, но попал на пост начальника отдела не потому, что обнаружил какие-то способности, а потому, что был зятем известного американского банкира.

Уезжая в Вену, он думал, что начинает новую и блестящую карьеру на американской государственной службе. Англичан и французов он не принимал в расчет, о русских же думал, что достаточно будет намек на атомную бомбу, как они поймут бессмысленность сопротивления и склонятся перед американцами. Но первый же месяц работы не принес ему славы и того легкого приятного времяпрепровождения, на какое он рассчитывал, а принес разочарование и неудачи. Советские дипломаты и первый из них Ванин, с которым постоянно сталкивался Дэн, попросту игнорировали атомную бомбу, проявляя непонятное для Дэна и казавшееся ему даже зловредным упорство в нежелании соглашаться с американскими интересами. И Дэн, зять банкира-миллионера, окруженный среди американской администрации атмосферой тихого почтительного удивления и раболепного благоговения, чувствовал себя на заседаниях неуверенно, раздражался и всё больше ненавидел Ванина.

Слушая сейчас Ванина и всматриваясь в его высокий белый лоб, он не верил тому, что советского представителя может интересовать судьба каких-то венских детей, так как судил всех людей по себе. Он был уверен, что Ванин поставил

этот вопрос для того, чтобы показать провал американской программы помощи Австрии, и теперь лихорадочно подыскивал возражения. При этом он так нервно мял в руках вечную ручку, что, наконец, сломал ее и швырнул с раздражением в корзину.

С левой стороны от Ванина сидел английский представитель Крейн, уже немолодой человек с румяным лицом, покрытым сеткой тонких, острых морщин. Лицо его, казавшееся издали молодым, производило то неприятное впечатление, какое обычно вызывает накрашенный пожилой актер, играющий молодых людей. Издали как будто ничего, а посмотришь вблизи – заметишь и дряблость кожи, и морщины, и потухший взгляд, и становится противно.

Крейн долгое время служил в различных английских посольствах и миссиях в Европе и в лагере западных дипломатов считался одним из самых опытных и ловких. Правая рука его с карандашом постоянно бегала по бумаге, сочиняя формулировки, поправки или новые предложения. Казалось, она была специально создана для этой цели. Все они сводились к тому, чтобы выдать английские интересы за австрийские.

В отличие от Дэна, он не думал о личности самого Ванина и даже смотрел не на него, а на переводчика. Слегка наклонив на бок голову с аккуратным белым пробором, разделяющим напомаженные редееющие волосы, он слушал переводчика с предельным вниманием и даже участием. Со стороны могло показаться, что он одобряет предложение, в действительности же Крейн не вникал в его содержание, а думал о том, как полвчее спихнуть это вовсе неприятное дело в сторону и уже набрасывал на этот счет проект решения.

Несколько раз он как-то бегло и неловко взглянул на угрюмое лицо Дэна. С Дэном он встречался негласно перед каждым заседанием, согласовывая предстоящие вопросы. Кроме того, они дружили лично, прогуливались верхом и играли в теннис. Но в душе Крейн считал американца грубым, неотесанным и никак не подходящим для роли дипломата и теперь боялся, как бы он своей опрометчивостью и раздражительностью не испортил дело.

Наконец, третьим представителем западных держав был француз Одри; маленький белобрысый старикашка, который сидел, уткнувшись в бумаги, с выражением сонной одури и плохо скрываемого отвращения к какому бы то ни было делу вообще. Выполняя инструкции своего правительства, он на

все предложения, исходившие от американцев и англичан, не поднимая глаз, быстро отвечал: «я согласен» или «я присоединяюсь к большинству моих коллег». Когда приходила его очередь председательствовать, в первые несколько минут Одри приосанивался и даже начинал туманно говорить о принципах, демократии и традициях французской революции, но очень скоро сдавался и только хлопал веками, боясь уснуть.

Лишь во время перерыва Одри преображался: он стряхивал с себя сонную одурь, бойко семенил к буфету, выпивал там несколько бокалов коктейля и, слегка захмелев, без умолку говорил. Он не признавал других языков, кроме французского, но нисколько не смущался, если его собеседник не знал этого языка. Как видно, ему просто надо было наверстать вынужденное молчание во время заседаний, и он болтал и посмеивался без умолку.

Вначале, когда Ванин заговорил о советском предложении, лицо Одри с выцветшими старческими глазами выразило вялое усилие вникнуть в содержание предмета, но затем он стал думать о том, удалось ли его повару достать к обеду сладкого перцу и цветной капусты и чем он заменит эти овощи в случае неудачи поисков.

Кончив говорить, Ванин раздал отпечатанные на машинке советские предложения всем трём дипломатам. Взглянув мельком на лицо Одри, он серьезно сказал:

- Меня всегда восхищает та твердость, с которой наш уважаемый коллега, господин Одри, отстаивает свою (он сделал ударение на этом слове) точку зрения. Хотелось бы услышать и на этот раз его ценное мнение по поводу советского предложения.

Одри, не ожидавший такого прямого нападения, вздрогнул, поправился в кресле и, одев зачем-то очки, взял в руки бумагу.

- Я полагаю, – начал он медленно, – что представленные предложения... что они... э... – он взглянул на Крейна:

- Вы хотите сказать нуждаются в изучении, – быстро проговорил тот.

- Да, да, должны быть изучены, и в том случае, если мое правительство найдет возможным их одобрить, мы придем к соглашению, чего я так горячо желаю, – Одри закончил старческим полупоклоном в сторону Ванина и снова застыл, терпеливо ожидая конца заседания и возвращаясь к приятным мыслям о перце и цветной капусте.

- Что скажет по этому поводу американский представитель? – спросил Ванин, обычно избегавший прямого обращения к Дэну.

Дэн тяжело заерзал на стуле, достал спичку, зажег её о подметку, и, выплюнув жвачку, закурил сигарету.

- Я не нахожу положение детей таким безнадежным, как это пытался представить нам здесь мистер Ванин, – сказал он. – Дети, как и взрослые, получают достаточную американскую помощь. Конечно, у них не каждый день можно встретить на столе устрицы и ананасы, но это еще не причина для истерики. Некоторые из них, возможно, болеют туберкулезом, но это явление также повсеместное и к нему пора привыкнуть. Моя тетка дотянула с этой болезнью уже до шестидесяти лет. Крепкая старуха. Все западные чиновники за столом ухмыльнулись. Ободренный Дэн продолжал: – Если все же не все они дотянут до старости, печалиться по этому поводу также не следует. Думаю, что в этом случае австрийское правительство даже вздохнет с облегчением. Втайне, конечно, втайне. – Он подмигнул. – Вена сейчас перенаселена. Прокормить такую ораву нелегко даже с нашей помощью. Как видно двух мировых войн оказалось мало, население земного шара увеличивается с дьявольской поспешностью. Старик Мальтус был не совсем дурак...

Дэн с усмешкой посмотрел в сторону Крейна. Тот потупился, сделав вид, что занят своими бумагами. Ванин смотрел на Дэна спокойным и серьезным взглядом. Обождав, не скажет ли он еще чего-нибудь, Ванин в наступившей тишине спросил:

- Что же вы предлагаете для детей? Третью мировую войну?

- Я бы не побоялся предложить её, если бы она могла разрешить некоторые проблемы. Надеюсь, вы передадите мое заявление в печать?

- Оно никого бы не удивило. Ваши соотечественники и без того сделали немало таких заявлений. В чем же все-таки состоит ваше предложение? Кроме войны?

- Нахожу излишним принимать по этому вопросу решение. Снять вопрос с повестки.

- Это все?

Да, больше у меня добавить нечего.

Дэн разорвал новый пакетик жевательной резинки, положил ее в рот и начал медленно двигать челюстью.

- Я считаю заявление американского представителя издательским по отношению к детям и бесчеловечным, – сказал Ванин, отчетливо выговаривая каждое слово. – Прошу записать это в протокол.

- Это не деловое предложение, а пропаганда, – Дэн с ненавистью посмотрел на Ванина, скривив презрительно губы при звуке «э».

- Надо ли ожидать от американских банкиров других заявлений, – продолжал Ванин, не обращая внимания на реплику.

Лицо американца потемнело. В бессильной ярости он сломал попавший в пальцы карандаш и, отбросив его в угол, пробормотал: «О, дейвил!», – затем собрал бумаги и встал.

- Гуд! – крикнул он, идя к двери. – Гуд, – повторил он угрожающе и вышел. Вслед за ним собрали бумаги и вышли с оскорбленным видом его помощник, секретарь и переводчик, болезненный лейтенант морского флота.

На некоторое время в зале наступила тишина. Крейн лихорадочно размышлял, что ему делать: если уходить, то надо это сделать сейчас, но такая поспешность выглядела бы слишком несамостоятельной и унижительной для британского достоинства. Не уходить – это значит вызвать раздражение американцев. Он продолжал размышлять, чувствуя, что время для приличного ухода уже миновало.

Одри растерянно смотрел то на дверь, в которую вышел Дэн, то на Крейна, готовясь в случае надобности тоже встать и уйти и даже надеясь на то, что такой исход сократит затянувшееся заседание.

- Самовольный уход одной из сторон не может отразиться на дальнейшем обсуждении вопроса. Слово за вами, господин Крейн, — сказал Ванин.

- Я очень сожалею о том инциденте, свидетелями которого мы были сейчас, – начал Крейн. – Мне кажется, и мистер Ванин и мистер Дэн допустили излишнюю резкость в выражениях только потому, что, не набрались терпения спокойно понять друг друга. Мистер Дэн – мой друг. Это человек, который за внешней резкостью скрывает добрые и гуманные чувства. Вам может показаться странным, мистер Ванин, но этот банкир и эксплуататор в ваших глазах очень любит животных и цветы.

- Гитлер тоже любил собак, но истреблял людей, – сказал Ванин.

- Зачем такие рискованные сравнения. Повторяю, что я весьма сожалею о том, что здесь произошло. Это тем более прискорбно, что все мы, руководствуясь христианскими мотивами человеколюбия, хотим помочь этим несчастным детям. Британская администрация специально разработала мероприятия с этой целью. Вы, вероятно, уже видели городе афиши. Через две недели в парке Шенбрун начнутся большие военные представления британских солдат, сбор от которых пойдет полностью в пользу детей Вены. Вот наш практический вклад. Вы довольны, мистер Ванин?

- Думаю, что детям нужна реальная помощь, а не представления. Прошу вас дать ответ по существу советского предложения.

- Хорошо. Давайте сделаем так. – Крейн на мгновение задумался, как бы показывая, что эта мысль пришла ему в голову только сейчас. – Давайте создадим четырехстороннюю комиссию для дополнительного изучения вопроса, затем проконсультируемся с австрийским правительством и через месяц снова поставим вопрос на обсуждение. Мне кажется, это лучший путь.

- Да, это лучший путь... похоронить дело. – Ванин с откровенной насмешкой посмотрел на Крейна. – Нет, уж давайте без комиссий. Как вы, господин Одри?

Одри, застигнутый, как обычно врасплох, снова вздрогнул. Он как раз думал о том, куда пойти вечером: в оперетту на «Веселую вдову», на концерт знаменитого скрипача или на коктейль в американский клуб. Симпатии его больше склонялись к «Веселой вдове».

- Да, без комиссии, – повторил он машинально последние слова Ванина.

Крейн удивленно и строго посмотрел на него, и Одри понял, что сплеховал.

- Впрочем, если мои коллеги... – начал он, но Ванин сказал:

Итак, решили, что после консультации со своим правительством каждая сторона сообщит на следующем заседании реальные данные о помощи детям. В этом смысле и запишем решение. Повестка исчерпана. Если других вопросов нет, на этом разрешите заседание закрыть.

Одри энергично покрутил головой, показывая, что других вопросов у него нет. Он тотчас простился и уехал обедать.

Крейн задержался и подошел к Ванину. Протянув ему несколько плотных карточек, он сказал:

- Британская администрация приглашает вас и ваших сотрудников на первое представление в парке Шенбрун. Перед началом во дворце будет обед.

Ванин взял билеты, поблагодарил и, собрав бумаги, вышел с Чертковым на площадь. Он по-прежнему не чувствовал усталости, более того, был особенно оживлен и с удовольствием поглядывал с высоты своего роста на маленького, строго одетого Черткова, который ему нравился своим острым политическим чутьем, знаниями и трудолюбием.

- Придется пойти посмотреть, какой новый трюк они придумали, – сказал он.

- Можно предсказать безошибочно, – Чертков насмешливо сморщил тонкие губы.

- Что же?

- Представление в лейбористском духе: улыбка на лице и кнут за спиной.

Над Веной уже сгущались сумерки, когда Ванин и Чертков вместе с группой советских генералов и офицеров подъехали к Шенбрунскому дворцу, в котором располагался английский верховный комиссар по Австрии со своим штабом. В большом дворе и около ограды уже стояло множество машин. У ворот застыли в своих белых поясах английские солдаты; повсюду озабоченно сновали английские офицеры и полицейские в красных фуражках: возле ограды часто останавливались группы австрийцев, с удивлением наблюдавших небывалую суматоху. Навстречу советским гостям вышло несколько офицеров, чтобы проводить их во дворец.

Обычно темноватый и запущенный, он был сейчас ярко освещён и вымыт. Вдоль главной лестницы стояли, специально выписанные из Лондона для торжественного случая, солдаты королевской гвардии в красных мундирах и медвежьих шапках. Во всем чувствовалось желание поразить приглашённых мишурным блеском.

У входа в главный зал, уже заполненный народом стоял сам хозяин, толстенький, маленький седой генерал; он однообразно улыбался и пожимал вновь подходящим руки. Когда никого поблизости не было, с лица генерала сбегала улыбка и он отдавал, стоявшему рядом адъютанту несколько коротких резких приказаний вполголоса.

К каждому из советских гостей был заранее прикреплен соответствующий ему по должности или военному званию англичанин. Эти лица караулили своих подшефных на приличном расстоянии от входа и затем уже не упускали их из виду ни на минуту. Едва Ванин вошел, как рядом с ним оказался сияющий румяно-помытым лицом и белым пробором Крейн. Со времени заседания, на котором обсуждался вопрос о помощи детям, состоялось еще два, и оба раза Крейн заявлял, что ему не удалось «убедить» свое правительство, которое настаивало на создании уже не одной, а двух комиссий. Поздоровавшись с Ваниным, Крейн тихо заговорщически сказал, имея в виду упиравшееся английское правительство.

- Из Лондона все те же вести. Боюсь, придется с ними серьезно ссориться.

Его лицо, пропитанное привычной ложью и лицемерием, выразило огорчение. – Мы сидим за столом рядом, – добавил он, точно желая утешить Ванина хоть этим.

- Нажимайте на них по-прежнему, – сказал Ванин насмешливо. Крейн кивнул.

В противоположность распространенному представлению об английской молчаливости, он стал многословно расспрашивать о колхозах, о советской двухпалатной системе, о стахановцах. На все ответы Ванина Крейн сочувственно кивал и повторял, что все это для него необыкновенно интересно, что он давно увлекается Россией и любит ее. В действительности же в этот момент он больше всего интересовался своим начальником по военной линии, заместителем главнокомандующего, рослым бригадным генералом, который стоял посреди зала и зорко наблюдал хищными глазами за собравшимися. Крейн часто бросал беглые взгляды в сторону бригадира, желая удостовериться, замечено ли его усердие. Один раз генерал подошел к ним, сказал какую-то шутку и отошел. Вероятно, он инспектировал свой штат, так как после его ухода Крейн удвоил свою энергию.

Большинство приглашенных состояло из военных и дипломатов западных держав.

Сама обстановка дворца и его история располагали, очевидно, многих к приятным воспоминаниям. Чем-то старинным и застывшим веяло от этих стен, обтянутых потускневшими шелками, от ковров, канделябров, вытертой мебели и потемневших картин, изображавших многочисленных, одно-

образно похожих отпрысков навсегда исчезнувшей Габсбургской династия.

Многие явно завидовали прошлому веку, с его императорами, королями, дворянством и крепостным правом. Взгляд некоторых останавливался с жгучим любопытством и затаенной ненавистью на советских генералах, офицерах и дипломатах, и в их глазах можно было прочесть один и тот же тоскливый вопрос: неужели в мире все-таки произошел этот поворот и наши смертельные враги – коммунисты ходят среди нас, как равные, а мы вынуждены им улыбаться, пожимать руки, прислушиваться к их мнениям, а главное – бояться их и думать, думать постоянно о том, как уничтожить, парализовать или хотя бы задержать распространение их влияния.

В одном кружке кто-то заговорил о Венском конгрессе и о том, как весело проводили тогда собравшиеся дипломаты время. На лицах слушателей промелькнуло выражение тоски по священному союзу. Крейн также изобразил на своем лице некоторую грусть и задушевым голосом начал:

В самом деле, как будто и не было этих ста с лишним лет. Снова в этом дворце собрались победители. Правда, на месте побежденной Франции на этот раз оказалась Германия. Но это само по себе ничего не меняет. Вообще то время мне нравится больше уже хотя бы потому, что между союзниками было больше согласия. Наши прадеды умели договариваться, мы же утратили это искусство. Между нами пробежала черная кошка. Я понимаю, что обе стороны неправы. Это трагично, ведь цель у нас одна. Вы строите социализм одним методом, мы – другим: разница только в этом. Мы признаем ваши успехи, вы должны признать наши. Наши недоброжелатели распространяют о нас разные нелепые слухи. У вас верят. Причиной этого является недостаток информации. Вы нас считаете лицемерами, эксплуататорами. Да, да, не возражайте, я знаю. (Ванин совершенно не собирался возражать). Так ли это? Вот хотя бы взять этот праздник. Вы думаете, он принес нам мало хлопот? Но надо помочь детям. Вы правы. Я видел сам, в каких ужасных условиях они живут. Нас, британцев, нелегко разжалобить, однако, есть пределы... – Ага, вот и мистер Дэн.

Дэн вошел в зал и, чувствуя на себе взгляды обожателей, относящиеся к миллионам его тестя, направился было с высоко поднятой рыжей головой прямо к генералу с хищным профилем. На ходу он едва заметно кивнул в сторону Крейна. Но по дороге его бесцеремонно перехватила бойкая большеротая

и крикливая молодая американка в накидке из чернобурых лис.

- Хэллоу, Дэн! – закричала она, схватив его за руку и, потащив к своему кружку.

- Что здесь будет?

- Какие-то военные представления, – сказал Дэн, небрежно кивнув расступившемуся перед ним кружку.

- Говорят, что устраивается в пользу венских детей? – продолжала молодая американка, косясь на свою накидку, которую она приобрела по дешевке в Вене и теперь находилась наверху блаженства.

- Хорошая идея, – проговорил многозначительно голландский офицер, присланный недавно в военную миссию и ставший особенно глубокомысленным. Все обождали, не скажет ли он еще чего, но голландец продолжал молчать все с тем же торжественным и значительным видом.

- Да, эти несчастные малютки, – вступила в разговор полная, сильно обнаженная низенькая дама, жена бельгийского дипломата. – Когда пытаешься мысленно поставить своих детей в их положение, просто ужас охватывает. Нет, нет, – продолжала она, уже обращаясь к официанту, который остановился около нее с бутербродами на подносе, – принесите с икрой.

- Дети – цветы жизни, а женщины любят цветы, – сказал захмелевший Одри первое, что пришло ему в голову. Он явился сюда одним из первых и чувствовал себя, как рыба в воде, переходя от одного кружка к другому. Дама улыбнулась. Одри зажмурился, как старый кот, и начал кланяться, бормоча любезности.

- Это еще не все, что можно сказать о женщинах, – проговорил опять голландский офицер, любивший глубокомыслие.

- Я знаю одного человека, который мог бы купить этот дворец вместе со всеми, кто в нем сейчас находится, – сказал вдруг Дэн. Некоторые подняли удивленно брови, но, поняв, что речь идет о тесте – банкире, понимающе и приятно заулыбались.

- О, вы! – молодая американка в накидке хлопнула его по руке, желая показать, что поняла всю соль остроты. – Хэллоу, Чарли! – вдруг закричала она на весь зал, завидев вошедшего мужчину и нисколько не смущаясь тем, что все обратили внимание на неё. – Вы здесь! А Бекки?

- Я здесь! – крикнула ей с другого конца зала такая же большеротая и покрашенная молодая американка, вынырнув из-за спины Чарли. Не переставая кричать и смеяться, первая американка решительно пошла навстречу Бекки, задевая своей накидкой всех по дороге.

- Милая непосредственность, – проговорила полная жена дипломата с ядовитой усмешкой.

- Однако, кажется, приглашают к обеду, – заметил кто-то.

Все повернулись в сторону раскрытой двери, возле которой стоял, склонив набок голову с ласковой лакейской улыбкой, метрдотель и, стараясь не торопиться и не толкаться, прошли к накрытым столам.

К концу обеда, который длился два часа, вдруг послышались заунывные звуки и в зал вошли два ирландских музыканта в черных плащах с волынками. Они обошли столы, выдувая из своих старинных инструментов что-то чрезвычайно однообразное и пронзительное. Когда все заметно устали от этой музыки, ирландцы, выпив по бокалу вина, ушли. Обед окончился и все вышли из дворца в парк. Ночь была теплая, тихая и очень темная. На скамейках уже сидело много зрителей, требовавших начала. Представления показывались в свете прожекторов на широкой поляне перед дворцом, сжатой с двух сторон стенами подстриженных деревьев. Здесь было все, начиная от шотландского оркестра и фигурной езды на мотоциклах и кончая средневековой инсценировкой нападения конных разбойников на почтовый дилижанс.

В заключение, после фейерверка, вверху на холме было зажжено из цветных лампочек изображение английского флага. Оркестр заиграл английский гимн. Часть зрителей встала, часть осталась сидеть. На одной скамейке мужчина хотел было подняться, но другой, пожилой рабочий, потянул его за руку вниз.

- Не хватает еще, чтобы мы за свои деньги стояли, – проговорил он на отборном венском диалекте. Вокруг засмеялись.

- Ох, уж этот Гертель, – сказала простенько одетая женщина из этого же ряда. – А и правду австрийцам стоять ведь не обязательно, – продолжала она, усаживаясь снова на скамью.

- Надо встать хотя бы из вежливости, – прошипел кто-то сзади.

- Хм! Вежливость! Достаточно того, что я, старый дурак, попался на их удочку. Тьфу! Десять шиллингов кошке под хвост! Хороша вежливость.

Гертель сердито сплюнул.

Некоторые придвинулись ближе, чтобы послушать и посмеяться, другие зашикали, показывая глазами в сторону английских офицеров, которые стояли с надменно-торжественными лицами, приложив руку к козырьку.

Гертель нарочито громко продолжал:

- Посмотрите, как вытянулись.

Правду говорят, будто фухтель проглотили. И довольны, что околпачили столько людей. Хе! Защитники детей!

Оркестр, наконец, закончил гимн, и все пошли к выходу.

- Непонятно только причем тут наши дети, – озабоченно говорила женщина в простеньком платье.

Молчавший до сих пор седой, хорошо одетый, мужчина интеллигентного вида вдруг зло заговорил:

- Бесстыдная самореклама. Вот так же они дурачат свой народ в Англии. Я пробыл два года в Лондоне. Дурачат выездами короля, свадьбами принцесс, парламентскими церемониями. Комедианты!

Он с достоинством поклонился своим соседям и медленно пошел в сторону.

- Десять шиллингов на ветер, а! Как вам это нравится! – рабочий Гертель никак не мог успокоиться и, выйдя из парка, ещё долго плевался и ругал англичан.

Крейн провожал Ванина до машины.

- Теперь вы знаете путь во дворец, – говорил он. – Милости прошу. Хотите, покатаемся в следующее воскресенье верхом? Дэн держит здесь свою конюшню. Прекрасные лошади. Кстати, вы узнаете его ближе, это поможет нам быстрее решать вопросы.

- Спасибо, – сухо поблагодарил Ванин. – Я люблю гулять пешком. Что касается господина Дэна и ему подобных, то я их изучил уже достаточно хорошо, нет необходимости знакомиться ближе.

Крейн изобразил на лице сожаление.

- Как вам понравилось представление? – спросил он небрежным тоном.

- Я думаю, что такие представления имеют единственную пользу: они помогают австрийскому народу лучше узнать истинную политику англичан, – Ванин пристально посмотрел на

Крейна. – Спокойной ночи! – он захлопнул дверцу, и машина тронулась.

Крейн криво усмехнулся и вернулся во дворец.

К часу ночи все разъехались. В кладовой солдаты королевской гвардии снимали под наблюдением офицера парадные мундиры. Сдав их интенданту и одев обычную солдатскую форму, королевская гвардия, вместе с участвовавшим в представлении шотландским оркестром и наездниками, пошла пьянствовать.

Во дворце осталась только охрана да дежурные офицеры. Люстры потушили и дворец снова приобрёл угрюмый, нежилой вид. Казалось, уже десятилетиями единственными жильцами этого здания были грубо намалеванные отпрыски габсбургской династии, с недоумением разглядывавшие друг друга со стен в полумраке выпученными глазами. Только окна кабинета командующего, выходящие в сторону парка, были ярко освещены. После отъезда гостей в кабинете собрались сам командующий, его заместитель, начальник интендантской службы, полковник – распорядитель представлений и два дипломата, в том числе Крейн.

- Уэлл, – сказал пухлый командующий, приглаживая маленькой ручкой седые волосы. – Как будто, прошло неплохо?

- Превосходно! – поддакнул заместитель, бригадир с хищным лицом. Он знал, что командующий очень интересовался этим мероприятием и что всякая похвала ему будет приятна.

- Особенно впечатляющими были ракеты, – сказал командующий.

Все дружно закивали.

- Это колесо и фонтан... все это весьма... впечатляюще, – продолжал командующий, страдавший косноязычием. – Надо отметить пиротехника.

Полковник-распорядитель тотчас достал книжечку и сделал пометку.

- И мотоциклистов. Это было не плохо и тоже... э... – все опустили глаза, надеясь, что прицепившееся к генералу слово отстанет, но он, помолчав в задумчивости, все же сказал: – ...тоже было впечатляюще. Прыжки через огненное кольцо, барьеры, все это, как в цирке.

- Сэр, они выписаны из цирка, с ними надо ещё расплачиваться, – вставил непонятливый интендант, думавший о мероприятиях только в приходно-расходном плане.

Все взглянули на несообразительного интенданта с осуждающим недоумением: официально везде сообщалось, что представление является солдатской самодеятельностью.

- Сколько мы собрали? – спросил генерал.

- Двадцать тысяч шиллингов.

- А истратили?

- Один обед около десяти тысяч, – угрюмо проговорил интендант. – Прокат мотоциклистов, наездников и королевской гвардии тоже обойдется...

- Дались вам эти циркачи, – с досадой перебил его генерал. – Итак, десять тысяч остается!

- Около этого.

- Что же, надо купить на них конфет, сделать пакетики с выразительной этикеткой. Скажем, «Великобритания – детям Вены» и раздавать публично на улицах по талонам, чтобы не умудрились получать дважды. Все это широко подать в печати.

Генерал посмотрел на Крейна, тот поняталиво кивнул.

- Отчёт о вечере уже в наборе, – сказал он, – Сейчас подробности передают в Лондон.

- Куда пустим выручку от последующих представлений? – спросил угрюмый интендант.

- Мы о ней уже побеспокоились. – Командующий со значительной усмешкой взглянул на заместителя.

Все сидели и почтительно ждали, что он скажет ещё. Никто не заговаривал, боясь показаться слишком назойливым и самонадеянным. Каждый понимал, что такие интимные беседы с начальниками лучше всего способствуют продвижению по службе, и прикидывал, чтобы сказать приятное генералу. Генерал же в этот момент думал о том, что вот он сидит в той же комнате, где когда-то останавливался после захвата Вены Наполеон. Его взгляд скользнул по стенам, и все тотчас очень хорошо поняли значение этого взгляда.

- Как подвигается портрет? – спросил Крейн, глядя на портрет Наполеона на стене и имея в виду портрет командующего, который писал известный венский художник.

- Есть сходство?

- Больше всего похожи ордена. Все угодливо засмеялись. Генерал приказал принести шампанского и, когда все встали с бокалами, коротко скомандовал:

- За успех!

Крейн возвращался домой в приятном расположении духа. Он был доволен беседой во дворце, где сумел так ловко польстить командующему, но еще с большим удовольствием он вспоминал посланный в Лондон отчет, который был составлен очень продуманно и заметно оттенял его роль в проведении такого шумного пропагандистского мероприятия. Единственное, что омрачало его мысли были слова Ванина, значение которых Крейн очень, хорошо понял. «Неужели они раскусили нашу игру?» – думал он, хмурясь.

В воскресенье в семье рабочего Гертеля отмечали маленький праздник: у детей начались летние каникулы. Накануне этого, в субботу, в продовольственном магазине выдали по детским карточкам муку, жиры и сахар. Продавщица шепнула жене Гертеля фрау Мицци, что продукты прислали из Советского Союза. Распределив экономно все на месяц, обрадованная фрау Мицци встала в воскресенье пораньше, замесила тесто и начала готовить пирожки. Оба мальчика, старший Макс и младший Шани, умытые, причесанные и одетые в одинаковые кожаные штанишки и белые рубашки с галстуками, поминутно заглядывали на кухню.

- Сейчас, сейчас, – приговаривала фрау Мицци, осторожно, чтобы не пропала ни одна капля, смазывая кусочком масла сковородку.

Мальчики выглядели неважно. Особенно болезненным был младший десятилетний Шани. Он состоял на учете в тубдиспансере. Мать часто поглядывала на него с тревогой и относилась к нему особенно ласково. Наконец, первая партия пирожков была готова. Фрау Мицци положила перед детьми на тарелки по два ароматных пирожка, налила по чашке кофе, а сама села напротив.

- Вкусно? – спросила она с улыбкой, наблюдая, как младший осторожно, чтобы не обжечься, откусывал дымящийся кусок.

- О! Прима!

По мере того, как дети ели, причмокивая и пересмеиваясь, глаза фрау Мицци наполнялись слезами. «Может быть, теперь кончился этот проклятый недостаток, утихнут слухи о войне, дети вырастут здоровыми». Ей казалось, что сегодня, поев пирожков, они сразу же стали свежее. Она поцеловала их в лоб и положила еще по пирожку, но мальчики переглянулись и отказались:

- Мы сыты, – сказал старший, – это тебе, мути, и папе.

- Подите, разбудите его.

За дверью послышалось покашливание, и оттуда вышел Гертель.

- Ого! – сказал он, вдыхая запах пирожков. – Пир горой. Ну, я рад, у вас настоящий праздник. Ты, что, плакала?

- Я почему-то так счастлива сегодня и уверена в будущем. – Фрау Мицци снова вытерла выступившие слезы. – Мне кажется, все будет хорошо, и дети поправятся. Русские – добрые люди. Говорят, и англичане собираются помогать...

- Говорят! Англичане! – раздраженно перебил Гертель. – А ты уже и уши развесила. Мало нас ещё, дураков, обманывали. План Маршалла, клятвы герр Фигля, концерты англичан – все один обман. Тьфу! Налей мне кофе.

Фрау Мицци присмирела. В последнее время муж не мог говорить о политике без раздражения, и она старалась всеми силами отвлечь его от скользких тем, но они возникали на каждом шагу.

- Дети просят свозить их ради праздника в Шенбрун, – сказала она робко.

- Что же, поезжай с ними, отдохните.

- А ты?

- У нас сегодня собрание. Поезжай, ничего. – Он примиряюще похлопал жену по плечу.

Через полчаса фрау Мицци, Макс и Шани сидели в вагоне метро. Дети держали в руках сачки для ловли бабочек, фрау Мицци захватила шитье. Поезд то шел в темноте под землей, то в канаве с каменными стенами, то выскакивал на поверхность, и тогда мальчики с жадностью бросались к окнам. Мимо мелькали дома, дороги, парки, машины. Наконец, нырнув снова под землю, поезд остановился на станции – в темноватом туннеле, заклеенном афишами, рекламой и объявлениями. А еще через несколько минут, фрау Мицци, снабдив детей последними наставлениями о том, как вести себя в парке, прошла в ворота.

В это же воскресенье в шенбрунский парк приехали отдыхать Ванин и Чертков. Утро выдалось ослепительно солнечное. Зелень, не успев еще обмякнуть от дневного зноя, казалось, купалась в солнечных лучах. На аллеях стояли цветочницы с корзинами пестрых букетов; не спеша прогуливались пары молодых людей; мимо проносились велосипедисты; и повсюду, точно умышленно, чтобы испортить мирную картину

утра, торчали молчаливые, Спесивые английские солдаты с туристскими справочниками и биноклями.

Ванин, одетый вместо обычного генеральского кителя в легкую рубашку с засученными рукавами, привлек взгляды прохожих своей могучей фигурой. Чертков, несмотря на теплую погоду, по обыкновению был одет в строгий темный костюм. Загруженные работой, они редко выезжали отдыхать даже в воскресенье, и теперь Ванин с каким-то наивным любопытством и размягченным лицом, так не шедшим к его фигуре борца, вглядывался в прохожих. Вначале он советовался вполголоса с Чертковым по поводу следующего заседания отдела, приводя на каждый довод Черткова возможные более обоснованные возражения противника. Вдруг он чему-то улыбнулся, прервал беседу и предложил:

- Пойдем к зоосаду, посмотрим ребятишек.

Они свернули к зверинцу, на территории которого толпилось множество детей.

Особенно много их было возле клеток с обезьянами и медведями. В зверинце разрешалось под наблюдением прислуги кормить зверей. Ребята просовывали медведям кто конфету, кто кусочек хлеба, кто ягоду. На лице Ванина появилась ясная детская улыбка. Сбоку от остальных стоял бледный худенький мальчик. Он судорожно рылся в своем карманчике и даже вывернул его, но оттуда, кроме крошек и бумажек, ничего не высыпалось. Ванин поманил его рукой.

- Как тебя зовут? – спросил он.

- Шани, – ответил мальчик певучим голосом.

- Вот, Сеня, поди купи конфет, будем кормить вместе. –

Ванин протянул ему деньги.

Мальчик покраснел, оглянулся назад и покачал отрицательно головой.

- Надо спросить маму.

- А где она?

- Смотрят с Максом жирафов.

- Бери, бери, не заругает. Я заступлюсь.

- Данке. – Он взял осторожно деньги и через мгновение вернулся с дешевыми конфетами. Ванин посадил его на плечо. Шани просунул конфету за решетку и медведь, чтобы достать её, ловко поднялся на задние лапы и слизнул с палочки. Вокруг засмеялись. Ванин опустил мальчика на землю. Тот, сняв шляпу, вежливо поблагодарил. Подошла фрау Мицци и тоже улыбкой поблагодарила Ванина.

- Хватит здесь толкаться. Пойдемте ловить бабочек. – Захватив детей, она вышла из зверинца.

- Нравятся мне детишки здесь, – сказал Ванин, – Только слишком заморенные и воспитанные, как старички. Нет той свободы и озорства, что у наших.

Они обошли зверинец, полюбовались лебедями в пруду, снова вернулись в парк, поднялись на холм и долго смотрели на отлично видимый отсюда город с его готическими соборами, зеленым куполом церкви св. Карла, с крышами домов, парками, заводскими трубами и сине-зелеными холмами вдаль, затем углубились в глухую часть парка, напоминающую настоящий лес. Дойдя до пересечения двух аллей, они присели на скамейку. Сбоку из-за деревьев доносились тоненькие голоса мальчиков, гонявшихся за бабочками. В отдалении, на другой аллее, дремала женщина с шитьем. И голоса мальчиков, и птичий гам, и жужжание насекомых, и отдаленный гул толпы около зверинца – всё слилось в один гармоничный шум погожего летнего дня. И вдруг в эти звуки вмешался новый: конский топот. Кто-то во весь опор скакал по боковой аллее. Ванин настороженно приподнялся.

- Что за свинство! – сказал он.

- Тут столько детей.

Чертков тоже встал. Сквозь деревья на боковой аллее они увидели двух всадников, ехавших крупной рысью на породистых гнедых лошадях. Женщина проснулась и с беспокойством взглянула в сторону деревьев. Это была фрау Мицци. Она что-то хотела крикнуть, но в это время маленький Шани с сачком в руке выскочил на аллею. Мать вскрикнула: казалось, он будет сейчас раздавлен копытами. Но лошадь испугалась сама: сильно дернув в сторону и вверх шей и став на дыбы, она едва не сбросила седока. Другая с разбега наскочила на нее грудью и пронзительно заржала. Побледневший мальчик, заикаясь что-то говорил, а мать держалась рукой за сердце и не могла передохнуть. Лошадь уже несколько успокоилась и стояла теперь поперек аллеи, нервно перебирая ногами. На ней сидел Крейн, на второй – Дэн. Крейн злобно дернул повод и подъехал к мальчику. Тот все так же что-то быстро говорил. Крейн с усмешкой на побледневшем и искаженным лице поднял хлыст и, перегнувшись в седле, ударил мальчика по спине. Тот дико закричал, закрыв себя руками.

- Ещё, – сказал Дэн.

Крейн поднял хлыст и ударил изогнувшегося мальчика еще раз.

- Что вы делаете, звери! – мать бросилась между лошадей и лежащим на земле сыном.

- Прочтите старуху, – приказал Дэн. – Она свою порцию заслужила.

Крейн поднял в третий раз хлыст.

- Бей, бей, негодяй! – закричала фрау Мицци, выпрямившись, глядя на них полными ненависти глазами. В это время на аллею выбежали Ванин и Чертков.

- Помогите! – закричала женщина на весь парк.

Крейн, взглянув в сторону Ванина и Черткова, быстро и озабоченно сказал что-то Дэну, и оба, повернув лошадей, галопом ускакали по аллее.

Мальчик продолжал плакать и стонать. Его белая рубашка лопнула на спине от удара хлыста, и по ней медленно расплзлось пятно крови. Мать склонилась над ним и то целовала и обнимала его, то царапала себе грудь и рвала волосы. Из-за деревьев выскочил с сачком в руке старший брат Шани. Он долго смотрел широко раскрытыми от ужаса глазами на мать и брата, бросив сачок, поднял кулаки, затряс ими вслед удаляющимся всадникам и закричал тонким исступлённым голосом:

- Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы!

Затем сел на землю, закрыл лицо рукой и тоже зарыдал.

ПОЭЗИЯ

4 октября 1993 года

Бьют пушки... Бьют прямой наводкой
Из грозных танков по своим.
И набухают кровью сводки,
И страшно малым и большим.

Надежно скрыты экипажи
Под безопасною броней.
Им, независимо от стажа,
Назначили оклад тройной.

Бьют метко пушки... Чёрным дымом
Окутан бывший Белый дом,
Как на учениях, открыто, зримо
Его расстреливают днем.

Нужды военной – никакой!
Две цели – месть и устрашение –
Достигнуты! Но о цене людской
Рассудят позже поколенья.

А перед камерой льстивой
Улыбчив, крепок, неречист,
Вальяжно и неторопливо
Красуется герой-министр.

Тот самый, что совсем недавно
Поклялся армию сберечь
От злой грызни политиканов.
Дабы войну нам не разжечь.

Бьют пушки... Слава танкам! Слава!
Народ подавлен и приструнен.
Выводят пленных из подвалов...
Все, как в Парижскую коммуну.

И без устатку дни и ночи
Лгут комментаторы в эфире
Скороговоркой по-сорочьи
О справедливости и мире.

Трубят победу холуи.
Юлит у ног владыки челядь:
Авось, царь-батюшка своих
В хоромы кликнет пообедать.

А там, глядишь, за труд и рвенье
Оклад повысят и в придачу
Руки державной мановеньем
Даруют по дешевке дачу.

В тепле и холе сидя сами,
Кровавой требуют расплаты
За страх свой перед бунтарями
Российские лжедемократы.

Змеится кольцами измена,
Шипят идейные расстриги,
Всплывает на поверхность пена,
Мошенники плетут интриги.

Довольны «за бугром» вполне.
Правители в своей стихии.
У них уже давно в цене,
В большой, «спасители» России.

Земной поклон американцам,
Что показали всему миру
В забитом бедами эфире,
Как россияне-голодранцы,
Свободу крепко возлюбя.
Опять казнят самих себя.

Баллада о русском витязе

Что в красоте, что в силе богатырской,
Что в доброте и удали российской –
Не ведал витязь себе равных,
Как и в делах на поле бранном.

Но, черной завистью томимы,
Как тени, неслышны, незримы,
Прокрались как-то тёмной ночью

Коварно к спящему, по-волчьи.

О жалкой выгоде радея,
Три ненавистника-злодея,
Три колдун, тупых, бездарных,
На дрязгах вскормленных базарных.

И в грудь ему копьё вонзили.
И тут же тело разрубили,
Спеша, безжалостно на части,
Клыкастые оскалив пасти.

А утром на пиру кровавом
Своим злодейством, как забавой,
Перед народом похваляясь,
Над мертвым злобно потешались.

«Он на пути мне к царской власти
Стоял, упрямец, слишком часто,
И вот ему и всем урок! –
Убийца первый тут изрек.

С усмешкой гордой и надменной, –
А потому он непременно
Исчезнуть должен навсегда
Без погребенья, без следа».

«Он не из нашей был породы
И потому прослыл уродом, –
Второй преступник возвестил. –
Иначе б я его простил...».

«Хворал, бедняга, часто он
И все равно был обречен», –
Наморщив складки жирной шеи,
Лгал подло третий, не краснея.

А что ж народ? Молчал и слушал,
Свой черствый хлеб смиренно кушал,
Переминался и кряхтел,
В затылке скреб, краснел, бледнел.

Кто одобрительно кивал,
Кто про себя протестовал,
Держа кулак в пустом кармане,
Кто просто был изрядно пьяный...

И тут с достоинством, страдая,
Простоволосая, босая,
Перед густой толпой безгласной
Явилась Святославна властно.

И в гневе праведном спросила:
«Где ваша доблесть, ваша сила?
Как вы, несчастные, стерпели,
Когда так гнусно лиходеи

Свершили это преступленье,
Какого мир со дня творенья
Еще не ведал? Почему,
В каком тумане и кому

Вы продали слепые души,
По-заячьи прижавши уши?
Иль околдованы, и разом
У всех вас помутился разум?

Ну что же, спите себе дальше
Тяжелым, беспробудным сном,
Как спали вы годами раньше.
Потомки будут вам судом!»

И, наклонясь над бездыханным,
Живой водой омыла раны,
Лицо слезами оросила.
И тут же в витязе воскресли

Его былая стать и сила.
И, верный меч приладив к чреслам,
Как мститель праведный, суровый,
Поднялся на ноги он снова.

Тотчас три колдуна-злодея,
Трясаясь от страха и бледнея,

И.Д. Хмарский

Забыв о славе и наградах,
Бежали кто куда, не глядя...

С тех пор всем россиянам милы
Стихи и песни о герое,
А три безвестные могилы
Дурною заросли травой.

Весеннее

Нет для меня милей поры
В родном Ульяновске-Симбирске,
Чем та, когда с крутой горы,
То в отдалении, то близко,
Любуюсь, как цветут сады,
Как в ароматных лепестках,
Словно в молочных облаках,
Под солнцем млеют их ряды.
Мир погружен в жужжанье пчел,
Мелькают бабочек узоры,
Дремотно тих зеленый дол,
И в дымке утренней просторы.
Лишь где-то скрытая кукушка
Свой голос гулко подает,
Да соловьиный щёлк подружку
К себе настойчиво зовет.
Вся в одуванчиках трава
К себе меня призывно манит,
И от блаженства голова
Слегка кружиться начинает,
А губы шепчут чью-то песню...
Над Волгой благостный покой.
И мне уже сейчас известно:
Все это навсегда со мной...

Лотерея

Рожденье наше – лотерея.
Кому-то выпала судьба
Увидеть свет до нашей эры
В обличье римского раба.
И в тот же самый век кому-то –

Корону Цезаря примерить
Или, подобно Марку Бруту,
В республику навек поверить.
И за неё в бою кровавом
Отдать по капле жизнь со славой.
Один свой первый голос подал
В глухие Средние века,
И за познание душу продав,
С клеймом врага - еретика
В цветущей жизненной поре
Закончил век свой на костре.
А через сотни лет другой
На осажденной баррикаде
Сражён ооновской рукой,
Глотая кровь с другими рядом.
Кто выиграл, кто проиграл
В той бесконечной лотерее?
Кто, может, поспешил с рождением.
Кто безнадежно опоздал?
Ответа нет и вряд ли будет,
Как бы над ним ни бились люди.
Лишь тот, кто неизвестно где
Царит и в счастье и в беде,
Куда достигнуть не дано
Нам никогда земным умом,
Кто сортирует, как зерно,
Зачем-то каждого из нас,
Успех даруя и разгром,
Лишь он один определяет час,
Когда нам выйти, как актерам,
Чтобы исполнить свой долг
Ему, таинственному режиссеру,
Подвластны наш успех и наша боль.
И Он, тот Дьявол, или Бог,
Единственный ответить нам бы мог
Кто мы? Куда идем? Зачем одни?!
А если нет, то с кем?
Где ожидаемый венец многострадального пути
И где, когда, каков конец,
К которому должны прийти?
Умнее стали мы, бесспорно,
В комфорте древних превзошли,

Но счастья, как нам ни прискорбно,
Для всех по-прежнему не обрели.
Не в том ли мудрость состоит,
Чтобы рубеж тысячелетий
Нас научил, как лучше жить,
Оставив в прошлом,
Лихолетья б жребий неизбежный свой
В необозримой лотерее
Наполнить честною борьбой
За это счастье поскорее.

Молитва

Я – убежденный атеист,
Кто прожил жизнь в безверье стоек,
И, как положено, с пеленок
Непоколебленный марксист
- К тебе взываю, наш Мессия,
Главу свою склонив смиренно
И робко преклонив колени,
Из бездны, именуемой "Россия":
Останови хоть на чуток,
Будь добр, тот дьявольский станок,
Что день и ночь без перерыва
Печатает нетерпеливо
Бумажки с мыльными нулями,
Которые нас взяли в плен,
Сковав чугунными цепями!
Останови ты скачку цен!
Как обезумевшие кони,
Они вдруг вырвались на волю
И по невспаханному полю
За кем-то ринулись в погоню.
Нас всех давно замучил страх –
Ведь впереди глухой овраг...
Еще, Спаситель, подскажи:
Советников "из-за бугра"
В обмане опытных и лжи,
Метлой прогнать ли не пора?
Своя у них, у пришлых, цель,
И нам отменно послужили...
Вполне умело посадили

Корабль дырявый наш на мель.
Прошу, Всевышний, не забыть
И о чиновниках в верхах,
Что за законность на словах,
Но скрытно, проявляя прыть,
Готовы за валюту
Мать родную дьяволу продать;
О шайках злобных рэкетиров
И ловких взломщиках квартирных,
О тайных сатанинских планах
Всесильных мафиозных кланов;
О липкой, как смола, цензуре,
Негласной вроде, но свирепой,
И потому вдвойне нелепой;
О ворохах макулатуры,
Где лишь один на все ответ:
Чуть что не ладится, не так,
- Зубодробительный кулак,
Взрывчатка, яд и пистолет.
Молю я также, Милосердный,
Избавь нас от привычек вредных:
От танков, пушек, БТР
В столице нашей ненаглядной,
Когда-то чистой и нарядной,
И в бывшем нашем СССР!
Чтоб не лилась ручьями кровь,
Нам жизнь привычную порушив,
Чтоб мир, согласие и любовь
В дома вернулись к нам и в души.
Прости, коль в чем-то я не прав,
Перечисляя наши драмы.
Ты лишь, Спаситель, нас избавь,
А остальное мы уж сами...

Ода взятке

Мадам! Хотите комплимент?
Вы не стареете нисколько!
Хоть вам уже немало лет,
Все так же прыгаете бойко.
Ведь вы еще при фараонах
Красой блистали у жрецов.

Вас знали в древнем Вавилоне,
В Афинах, в Риме средь холмов.
А приношения придворных
В эпоху гальских королей!
А нравы сюртуков чиновных
У русских праведных царей!
Лишь при ужасных коммунистах
Вы оказались на мели...
Но свергли извергов нечистых,
И вновь, мадам, вы расцвели.
Да и грешно быть «демократом»,
Не взяв на лапу за услугу:
Кому лицензию по блату,
Кому участок под коттедж, как другу;
Кому за пачку-две «зеленых»
В дар льготная приватизация
Кому за «лекцию» сто миллионов
Или поболее – за консультацию»;
Кому – за гонорар без книги,
Кому любезные кредиты
За то, что сунул правосудью фигу
И оправдал матерого бандита...
Ведь вас сейчас в верхах встречают
Как символ «нового порядка»
И именами награждают
Не столь обидными, как Взятка.
Вы ныне просто Приношенье,
Вы Благодарность и Услуга,
Чиновной жизни украшенье,
Его жена, любовница, подруга.
Увы, мы с вами не знакомы,
А мне нужна сейчас палатка,
Торговая, недалеко от дома...
Где бы нам встретиться, синьора Взятка?

Бабье лето

Десятилетия, века
Нас умиляет бабье лето:
И неба синь, и облака,
И в золото леса одеты;
И по утрам сверканье льдинок

На подмерзающих прудах,
И щекотанье паутинок
На раскрасневшихся щеках.
Казалось бы, давно пора
Привыкнуть к осени явленью,
Как привыкаем мы с утра
К любому в жизни повторенью.
Но нет, ни в благостном покое,
Ни в повседневной суете,
Ни в наших взлетах, ни в застое
Нельзя привыкнуть к красоте.
Она, как жизнь, необходима,
Важна, таинственна, неповторима,
Не увядает, не стареет,
А лишь с годами молодеет.

Библейское

И проходит образ мира
Многоликого сего...
И с годами, как секирой,
Отсечен ты от всего:
От желаний справедливых
Что тебя обуревали.
От надежд честолюбивых
Что реальностью не стали;
От друзей твоих надежных,
В ураганных ветрах стойких.
От врагов коварных, злобных,
От мещан извечно робких.
Словно в кладезе глубоком,
Ищешь смысла в бездне лет:
Не мелькнет ли в мгле далекой
Негасимый детства свет?
Озарял он с колыбели
Нас улыбкой материнской.
Охранял среди веселья
От соблазнов сатанинских.
И проходит образ мира
Не надежного сего...
И свергаются кумиры,
Напрочь, все до одного.

Как уверенно, надменно
Взгляд иной вонзал в века,
Головой уже нетленной
Упираясь в облака!
Но давно в пыли дорожной
Растоптали его прах,
Позабыв в пылу, возможно,
И о стоящих делах.
И проходит образ мира
Не объятного сего...
И все глуше глас в эфире
Поколенья твоего,
Вопиющего в пустыне
Богом выжженных времен.
Молодым – забавным ныне
Кажется и жалким он.
Ведь у них свои заботы. Все спешат...
Зачем? Куда?
Не упасть в круговороте –
Цель их жизни, их страда.
И мелькают поколенья
Беспорядочной толпой.
Все проходит. Лишь творенья
Остаются нам с тобой.
Те, что созданы трудами
Миллионов честных рук,
Головой их и сердцами.
Чей светильник не потух.
Вечно юных и бессмертных,
Бережливо их народ,
Как святую эстафету,
Внукам вновь передает.

Воспоминание

Ты помнишь моря блеск алмазный,
Плесканье говорливых волн
И пляжи Сочи, до отказа
Народом взятые в полон!

Ахун и Рицу, парк Ривьеры-
Весь этот южный город-сад.

Цветы магнолий пышных в скверах
И кипарисов аромат!

А вечерами на бульварах.
Когда спадал палящий зной,
В густой тени платанов старых
Поток медлительный людской;

Парней спортивных, мускулистых
Красавиц бронзовый загар
И шёпот среди сочных листьев
Таинственных влюбленных пар!

Ты помнишь Танин и Сережин
Такой веселый... детский смех...
Намного были мы моложе.
Хватало счастья нам на всех.

Не то на райском юге ныне...
Пустеют здравницы и пляжи
Миллионерши лишь, гусыни.
Обосновались тут со стражей;

Да закордонные дельцы.
Легко меняющие страны,
Да коммерсанты-удальцы,
Которым всё здесь по карману;

Да узаконенные воры,
«Специалисты» половчей.
Да нимфы юга всех мастей
В сопровожденье сутенеров.

Нарядны, праздничны они,
С презреньем озирают «прочих».
На лежаках проводят дни,
А в кутежах и в играх – ночи.

Неужто это навсегда!
И толстосумы правят в мире,
А гордый человек труда
Лишь призван штопать свои дыры!.

Мечтать о невозвратном пошло,
И не о нем идет здесь речь,
А лишь о том, как нам сберечь...
Все лучшее, что было в прошлом.

Ты помнишь ли дорогу в горы?
Когда с опасной крутизны
Вдруг открывается нам море,
Во всем сиянье новизны!

И где-то там, у горизонта.
Белеет парус одинокий...
И счастья ищет, ищет кто-то
В краю родном, а не далеком.

Монумент

Пустынна площадь... Одиноко
Встречает пасмурный рассвет
В раздумье вечном и глубоком
Известный миру монумент.
Как стражи верные при деле,
Храня почетное наследство,
Торжественно застыли ели
В морозных хлопьях по соседству.
Не слышит он, не зрит, не знает,
Как наша шумная планета
В крови и корчах провожает
В последний путь тысячелетье;
Как волны мутной клеветы
То вкрадчиво, то нагло, зримо,
Его захлестывают имя,
Уродуя знакомые черты;
Как рушится великий Дом,
Который он по кирпичу
Стал возводить с таким трудом,
Не ведая, что строит палачу.
В недоумении стою
Перед отлитым великаном,
Как некогда стоял в строю,
А в сердце ноет та же рана:
Хочу спросить тебя, Ильич,

Без зла и умысла обидеть:
«Бросая в массы страстный клич,
Ты мог подобное предвидеть?
В чем был твой роковой просчет?..
Веками обездоленные люди
Мечтали в праздники и в будни,
Когда же явится им ТОТ,
Кто поведет их за собой
К свободе, равенству и братству,
Спаситель новый и герой.
Деля, как хлеб, на всех богатство.
Не в том ли корень твоей драмы
И всей трагедии России,
В которой мы повинны сами,
Вожди и массы, и витии,
Что, воплощая в жизнь мечту,
Ты, человек, не все предвидел
И слишком страстно ненавидел,
В ее влюбленный красоту,
Всех тех, кто гордый идеал
И торжество народной власти
Не принимал, не разделял,
А видел зло в них и несчастье?
Но, не унижусь я до мести,
Не заморочат слух слова
Тех перевертышей без чести,
Что мертвого пинают льва.
Кто лжет, что вечное стремленье
К свободе, равенству и братству
Сменилось ныне умиленьем
Перед всесилием богатства?
Опомнимся!
Как о прошедшем
Ни сокрушаться, ни судить
Как ни клеймить уже ушедших,
Для нас важней – что впереди?
Куда идём какой уж год,
Шатаясь, падая, вслепую?
Что ждёт Россию удалую
И наш обманутый народ?
Молчит, безгласен монумент,
Но тайный голос шепчет мне:

Спасенье не придет извне,
И все же тьму рассеет свет.
Лишь сами мы своим трудом,
Железной волей и терпеньем
Отбросим напрочь наважденье
И завершим тот Новый Дом,
Что начал строить для России
Так смело бронзовый титан.
Но без вражды и без насилья,
По доброй воле россиян.
Пустынна площадь... Одинок
Встречает розовый рассвет
В раздумье вечном и глубоком
Известный всему миру монумент.

Отступление

В песке увязли сапоги,
И обжигает зной гортань,
А по пятам идут враги,
Идут и днём, и в ночь, и в рань,

Вернее, мчатся вслед по-барски,
Кто в танках, кто в грузовиках,
С ухмылкой геббельсовской, хамской
И с автоматами в руках.

Чубатые, нахальные, хмельные,
В расстёгнутых мундирах до пупа.
Сам воздух всей России ныне
Едучей гарью деревень пропах.

Бредут в Германию толпою
Сто тысяч стриженных парней
В рубахах грязных без ремней.
И только слышен клёкот: «Лёс!»

Да вдруг прорвётся чей-то стон,
Да выстрел чью-то жизнь унёс,
Да лай собак со всех сторон.
За что нам всем такая кара,

Такой обман, такая ложь?
Ещё вчера мы под гитару
Отважно пели: «Нас не трожь!
Мы всех сильнее, нам враг не страшен!

Шпионов подлых раздавив,
Мы не уступим пяди нашей
Земли, и городов,
И сел, и нив.

Иная песня ныне, скорбная,
Витает грозно над землей:
«Вставай, вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!»

О, как хотелось бы навек
Забывать, как друга нам неверного,
После убитых, пленных и калек
Тебя, то лето злое сорок первого!

Первый день

Ах, как хорош был тот июньский день!
Как нежились в лучах дубравы
Под Курском, приглашая в тень,
И пахли луговые травы!

Как тяжелели от зерна
Колосья зреющей пшеницы,
Вознаграждая труд сполна,
И мирно щебетали птицы...

Но что-то сдвинулось вокруг,
И на земле, и в небесах...
В глазах одних мелькнул испуг,
В других застыли боль и страх.

Зловещей новостью с рассвета
Была разбужена страна,
И повторялось слово это,
Такое жуткое – «Война!»

И ощущение, как вроде
Всё это раньше уже было,
Но лишь промчавшиеся годы
Припорошили память пылью.

Мобилизация, тревога,
Вокзалы, толпы, крик, патроны,
Повозки, танки на дорогах,
Прощанья, слёзы, эшелоны...

А впереди ждал смертный бой,
Тот, что предсказан был заранее,
И где-то близко за спиной,
Чьё-то тяжелое дыханье:

«Мужайтесь, это лишь начало...»
То с серой скаткой на плечах,
В больших солдатских сапогах
Уже История шагала...

Покаяние

Простите нас, кто не вернулся
С фронтов кровавых той войны,
За то, чем мир наш обернулся,
За нищету и боль страны!

Простите нас, еще живых,
За то, что мы не сберегли
В тех передразгках роковых,
Не сберегли родной земли!

За то, что тихо, малодушно
Окопы мы без боя сдали,
Когда растаскивали дружно
По-воровски её шакалы.

Какие сны теперь вам снятся?
О доме, о семье, о внуках?
О мирных днях и светлом счастье,
Иль о слезах в часы разлуки?

Нет, не хочу жестокой правдой
Ваш вечный сон сейчас тревожить
И вслед за пережитым кряду
Обиду вековую множить.

Простите мне святую ложь!
Спокойно спите под землей,
Там, где колышет ветер рожь,
Где вас застал последний бой.

Элегия

Где ты, мой старый Мелекесс,
Твой чистый, быстрый Черемшан,
Твой боровой, могучий лес,
Раздолье ягодных полян?

Где стук веселых каблучков
По деревянным тротуарам
И гомон юных голосов
В пединституте нашем старом?

Где вы, мои ученики,
Наили, Викторы, Наташи,
Прогулки наши у реки,
Душевные уроки наши?

Когда в заветной тишине
Звучали Пушкин и Некрасов,
И гибли бедняки «На дне»,
И бунтовал всё Павел Власов.

Где вы теперь, мои студенты
Послевоенных трудных лет,
Когда ещё вас дивиденды
Не одурманили на нет?

Суровое, родное поколение...
Сиротство, детдома, вокзалы...
Как много с грустью и волнением
Вы о себе мне рассказали!

И.Д. Хмарский

Мы вместе верой беззаветной повязаны,
Как братья, были
И Родину так безответно, так преданно,
Как мать, любили.

Какой оставили вы след?..
Привет, друзья,
Вам мой привет

И вам, и вашим детям, внукам.
Как много хочется сказать
Вам после стольких лет разлуки,
Как многих хочется обнять!

Тебе же братское спасибо,
Мой верный, добрый Мелекесс,
Твоим старинным русским избам
И стройным соснам до небес!

Не позабыть мне твой уют,
Участия в моей судьбе.
Воспоминанья о тебе
Так часто спать мне не дают...

Смерть ветерана

В семнадцать лет ушел он добровольцем
На Первый Белорусский фронт.
Всплакнула мать седая у оконца:
Когда-то сын теперь домой придет?
Был дважды ранен, снова возвращался
В родной дивизион, к своим.
Награды получал, сражался,
Как миллионы, рядовым.
И гибель фронтовых друзей
Законной стопкой запивал,
Чтобы забыться поскорей,
Да часто так, чтоб наповал...
Дошел, дотопал до Берлина.
Домой вернулся. Мать не дождала..
С обиды вдрызг... Такие вот дела...
Женился, дочку вырастил и сына,

Дождался внуков. Вкалывал в бригаде.
Свой дом. Какой ни есть – достаток.
А тут и пенсия вдобавок.
Чего, казалось, еще надо?
Но нет, никак не отпускали
Его сто граммов фронтовых,
Что навсегда привычкой стали,
Сравняв чины и рядовых.
И вот лежит теперь в избе
Под темной дедовской иконой.
Ни ты ему, ни он тебе...
Лежит, навеки успокоен.
А с виду был мужик здоровый,
Еще бы мог с десятков лет
Косить траву, держать корову,
Дождаться правнуков...
Ан нет!
Сгорел, как спичка, в одночасье,
До срока вышел из игры.
Такое вот в семье несчастье,
Такие вот войны дары.
Сестра с ухватом возле печки
Лапшу готовит на поминки.
Вдова со свадебным колечком
С морщин смахнула две слезинки.
Повоевала с ним немало,
Все умоляла: «Ты не пей!
Тебе ли – в орденах – пристало?
Детей и внуков пожалей!».
Но разве тут слова помогут?
Болезнь ту страшную излечат,
Что наш народ, толкая в омут,
Какой уж век подряд калечит?
Суди теперь его, пожалуй, строго,
Да он один ли только виноват,
Когда куда-то вся Россия без дороги
Бредет, шатаясь, под привычный мат.

Клятва

(шутка)

Чтоб я повысил как-то цены!!!
Да ни за что! Клянусь законом!
Пусть за подобную измену
Сразит меня на месте громом!
Да я скорей на рельсы лягу,
Чем данное нарушу слово!
Давал торжественно присягу
И на попятную вдруг снова...
Вы шутите! Что? Даже втрое?
Ну, это уж в последний раз.
Я эту лавочку прикрою,
Издам еще один Указ.
Как! В десять раз и больше – в двадцать?
Зачем же волновать народ?
Тут надо глубже разобраться,
А россиянин, он поймет...
Какие рельсы? Ах, про эти...
И тут же вспомнили присягу.
Поймать все норовите власти?
Извольте, хоть сегодня лягу!
Здесь, правда, очень высоко,
А здесь, пожалуй, слишком низко.
Туда уж больно далеко,
Тут страшновато, да и близко.
Вот вечно нас по пустякам,
Людей серьезных беспокоят...
А нет ли дальше тупика,
Где поезда уже не ходят?

ПУБЛИЦИСТИКА

Балбесы на экране и в жизни

Ушел из жизни великий артист – Юрий Владимирович Никулин. Эпитет «великий» здесь не траурное преувеличение, а истинная оценка вклада этого таланта в отечественное искусство. Чем, прежде всего, определяется мера такого вклада вообще? Одним из главных критериев здесь является способность романиста, поэта, драматурга, режиссера, актера создавать характеры и типы национального значения. Например, такие как Татьяна Ларина, как родоначальник «лишних людей» в русской литературе Евгений Онегин, как Чацкий, Печорин, Рудин, Наташа Ростова, Андрей Болконский, Обломов, Раскольников, Матрена Тимофеевна; как Иудушка Головлев, человек в футляре – Беликов, как Григорий Мелехов и Василий Теркин. И то, что в одном ряду здесь названы Чацкий или Андрей Болконский и Обломов или Порфирий Головлев, закономерно: обобщение положительных черт нашего национального характера и наших слабостей, недостатков, психологических искривлений имеет для народа равноценное воспитательное значение.

В советском киноискусстве было немало попыток создать такие обобщающие образы преимущественно в положительном плане. Что касается характеров негативных, то здесь проявлялась определенная осторожность, а часто и робость. Ведь согласно методу социалистического реализма такие характеры не являлись типичными. Поэтому появление каждого фильма, высмеивающего отрицательные персонажи, встречалось зрителями. В чем суть этого явления? Прежде всего в каком-то безалаберно веселом отношении к своей жизни, где честному труду отведено последнее место. Вот Балбес отправляется со своими приятелями на речку, чтобы глушить рыбу динамитом. На лице блаженная ухмылка в предвкушении богатой добычи. Никаких сомнений в том вреде, какой он собирает причинить природе, или хотя бы в законности этой варварской «рыбалки». Все это за пределами его сознания, ведь главное – доставить себе удовольствие.

Вот он с той же веселой готовностью соглашается в «Операции «Ы» на имитацию ограбления магазина, а в «Кавказской пленнице» – участвовать в авантюре с похищением невесты.

Помимо склонности к «легкой жизни» и жульничеству, характерные черты Балбеса – неспособность думать о последствиях своих поступков для других и, конечно же, пристра-

стие к хмельному. Юрий Никулин играл своих Балбесов без малейшего обличительства, художественное оружие – юмор. Во многом благодаря этому мы научились распознавать Балбесов вокруг себя, особенно среди молодежи. Это они по ночам вывинчивают лампочки в подъездах, а для развлечения бьют стекла и ломают двери; это они в трамваях, развалившись гурьбой на местах, отведенных для инвалидов и малышей, весело гогочут, а то и сквернословят, не обращая внимания на стариков и женщин; это они на стадионах бросают бутылки в футболистов не своей команды. Грань в поведении Балбеса и хулигана весьма зыбка, и все самые зlostные хулиганы выросли из Балбесов.

Отвращение Балбесов к культуре и интеллигентности общеизвестно. Из всех видов искусства они предпочитают фильмы с мордобоем и оглушительную рок-музыку, от которой у нормального человека ломит в ушах. Тип молодого Балбеса получил у нас особенно широкое распространение в ходе «демократических» реформ, когда возникли самые благоприятные условия для незаконного и легкого обогащения. Спросите работника ГАИ, кто чаще всего нарушает правила уличного движения, и он вам наверняка ответит: Балбес на иномарке. Именно из среды Балбесов криминальные «авторитеты» чаще всего вербуют новых членов в свои преступные шайки.

К сожалению, тип Балбеса все чаще появляется в среде школьной и студенческой молодежи. Пройдитесь по коридорам наших университетов, и вы непременно услышите среди беседующих парней нецензурщину. А не так давно группа подвыпивших Балбесов из числа студентов сельскохозяйственной академии ни за что ни про что забила до смерти не понравившегося ей молодого человека... Вот таков этот наш национальный и социальный порок. Подчеркивая его национальные признаки, я вовсе не исключаю того, что в других странах нет искателей легкой жизни, авантюристов, оболтусов, хулиганов и прочей публики в этом роде. Таких там полно. Достаточно вспомнить хотя бы английских футбольных «фанов», устраивающих побоища на стадионах.

Но Юрий Никулин показал нам тип именно нашего Балбеса, с его ухмылкой во весь рот, его веселой безалаберностью и дурацкой безответственностью, Балбеса, при виде которого часто не знаешь, что делать: смеяться или плакать. Спасибо ему за это.

Доброе слово о России

В последние годы в нашем обществе заметно возросло стремление сопоставлять современность с историческим прошлым России. Объяснение этого интереса лежит на поверхности. В судьбе великой державы произошел перелом, равный по своему значению Петровским реформам и Великой Октябрьской социалистической революции, но со знаком минус, а люди, сотворившие этот переворот, по своим масштабам не идут ни в какое сравнение с деятелями упомянутых эпох. Видимо, этим можно объяснить тот печальный факт, что современная художественная литература оказалась бессильной взглянуть на происходящую в России трагедию исторически, масштабно, с народных позиций, погрузившись в исследование темных подвалов нездоровой психики, живописание сексуальных утех, убийств, мистики или прославление ловких жуликов под маской бизнесменов.

В этом смысле каждое обращение писателей и поэтов к здоровым истокам нашей национальной жизни заслуживает особого внимания. Недавно в Димитровграде вышла именно такая книга – плод полувекового труда поэта-фронтовика Евгения Ларина. Называется она «Грозы над Русью. Мелекесские сказы» и включает в себя два десятка стихотворных сказов и притч, а завершается большой поэмой, давшей название всему сборнику.

Героями сказов являются традиционные фольклорные образы: мужик, странствующий по Руси в поисках лучшей доли («Для чего человек живет»), даровитый мастерской («Волжские мастера», «Счастье мастера»), смелый и находчивый солдат («Георгиевский кавалер», «Солдат-богомаз», «Находчивый солдат», «Солдатская честь»), любящая и верная жена («Гусляр»), справедливый монарх, народный герой. Как и принято в устном народном творчестве, носителями справедливости и прекрасных нравственных качеств являются труженики прежде всего. Когда царь Петр отдал солдату Егору Захарову бывшее барское село, тот тут же отпустил крепостных на волю. В притче «Не лги никогда» мать, напутствуя сына в дальний путь, дает ему отцовский пояс, на котором написан этот наказ, и сын выдерживает испытание на правду.

Однако сказы Е. Ларина не повторяют сходные народные и литературные сюжеты, хотя некоторая переключка со сказками Пушкина или сказами Бажова в этом жанре неизбежна.

В них то и дело встречаются ссылки и намеки на современность, которые воспринимаются как боль поэта за те бедствия, какие снова обрушились на Россию. В «Жалобе крестьянина» читаем:

В России
В Петровы еще времена
От долгой войны
Опустела казна.

Чем не Афганистан и не Чечня! Чтобы пополнить казну, министры советуют обложить со всех сторон налогами мужика:

Утроим налоги
На землю, на скот,
На окна, на двери
И на дымоход.

Прямо по Черномырдину... Новую деревню мужики назвали Барановкой в честь высокопоставленных баранов наверху, доведших страну до разорения.

Теперь на совет
Не зовут мужика.
Вельможи решают
Дела за село.
И всем оттого
На земле тяжело.

Лучше не скажешь. А вот из притчи «Не лги никогда». Провожая в дорогу сына, мать ему говорит:

В нелегкую пору,
Сынок, ты идешь,
Все в мире опутала
Черная ложь.
Сам царь признается:
Министры мне лгут,
Генералы мне лгут.

Чем не картинка нынешних придворных нравов! Впрочем, достается не только нынешним горе-реформаторам, но и героям недавнего дефицита. В юмористическом сказе «Посол с того света» солдат обманывает барина и его жену за то, что те отобрали коня у мужика. Выдав себя за посла с того света, он делится впечатлениями об увиденном в тех «краях»:

Жиры – по талонам,
Крупа – по талонам,
Из рыб только кильку

Дают иногда.

Как говорится, комментарии излишни...

Поэме «Грозы над Русью» автор предпослал эпиграф – известное изречение Пушкина: «России определено высшее предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили нашествие на краю Европы». На пороге третьего тысячелетия, как никогда раньше, осознаешь мудрость этих слов. Распад СССР, в основе которого находилась дооктябрьская Россия, нарушил сложившееся веками равновесие между Западом и Востоком, породив новые противоречия, конфликты и войны, которые ныне сотрясают эту часть нашей планеты.

Описывая картины далекого прошлого, когда над Россией нависла сходная опасность утраты своей национальной независимости, Евгений Ларин уже в прологе настраивает читателя на это эпическое и тревожное восприятие родных просторов.

На Руси метет пурга,
С ног валит с налета,
Мечет белые стога.
Белые ометы.

И куда ни бросишь взгляд –
По всему простору
Копны белые стоят,
Кипенные горы.

Не правда ли, уже в этих строчках чувствуется что-то родное, берущее истоки в поэзии Блока, Есенина, Твардовского. Сюжет поэмы предельно прост: в самый разгар веселья по случаю свадьбы силача кузнеца Игната и красавицы Насти на село нападают кочевники, и молодая жена оказывается в плену у самого хана.

Чьи там трубы трубят?
Чьи сверкают мечи?
Чьи там кони храпят?
Чей там шорох в ночи?

Игнат вызволил Настю, но, вступив в неравную борьбу с нукерами хана, попал в неволю сам. А когда отверг предложение повелителя пойти к нему в услужение, был убит. Настя же ходит с гусярами по Руси, подымая людей на борьбу. В эпилоге поэт размышляет о советском прошлом нашей Родины, высказывая порой справедливые критические мысли, порой

спорные. Нас всех сейчас захлестывают эмоции. Слишком много горечи, обид, негодования против карьеристов, лицемеров, хапуг, демагогов накопилось, чтобы можно было спокойно и объективно оценить семь десятилетий реального социализма. Тем более, что во многих случаях те же чиновники, которые паразитировали на этой благородной идее, ныне с таким же усердием ее оплевывают, прославляя капитализм и возводя хоромы на мошеннически нажитые капиталы. Оставим будущим честным историкам сказать здесь свое веское слово.

В стиле сказов и поэмы выделяются две поэтические струи: подчеркнутая песенность интонации и стремление к афористичности. Вот в сказе «Превыше всего» правитель требует, чтобы Поэт сложил хвалебную песню в его честь.

В стране беспорядок, грабеж и делёж.

Так, значит, нужна во спасение ложь.

В ответ Поэт произносит прекрасные слова:

Нас власти сажают, когда захотят,

Но правду сложней запереть в каземат,

Она не боится ни тьмы, ни сумы

И вырвется песней из камер тюрьмы.

За поэтическими строками сборника перед читателем встает не образ плакальщика над Русью, а поэта-бунтаря, готового сражаться за новую Россию и призывающего к этому всех, кому дорога наша Родина и кто не утопил в кошельке свою честь и совесть.

Все в России нам с древности свято,

И готовы мы в каждом краю

Встать с мечом, как Игнат с Коловратом,

Чтоб отстаивать землю свою.

Евгений Ларин – поэт из народа

В 1996 году димитровградскому поэту и журналисту Евгению Ларину исполнилось семьдесят лет. Его творчество многообразно по жанрам, но удивительно целостно по тому нравственному чувству совестливости, которое и составляет душу подлинного литературного произведения. Это и милые стихотворения для детей (книжечки «Таня и кот», «Первый урок» и другие), и сказки-притчи (книги «Нужда научит», «Про Ерёмомолодца»), и поэмы, и любовная лирика, и повести, рассказы, пьесы, очерки. О чем бы он ни писал, мы всегда улавливаем за его строкой уважение и любовь к человеку-труженику, интерес

к его жизни, сопереживание с его заботами, лишениями, драмами.

Ближе всего ему жизнь сельчан. И это понятно. Ведь родился он в самой сельской глубинке, в селе Верхняя Якушка, а детство и юность провел в поселке Красный Яр, расположенном неподалеку. Позже он напишет:

Деревня,
Во мне ты –
Как солнце июня.
Ты мне дорога
От избы до ручья.
В тебе я оставил
И детство, и юность.
Ты радость моя
И присуха моя.

Пробовать свои силы в стихотворчестве Е. Ларин начал еще в школьные годы, но в 1943 году семнадцатилетним пареньком был мобилизован и отправлен на фронт в Прибалтику, где сполна хлебнул солдатской доли военного времени. На фронте видел не только проявления отваги, мужества, выносливости наших воинов, но наблюдал и немало бестолковщины, несправедливости, карьеризма тех, для кого шкурные интересы стояли на первом месте. Пишу об этом для того, чтобы понятнее было умонастроение поэта в наше реформаторское время.

После войны Евгений Ларин получил педагогическое образование и поработал некоторое время учителем. Но все же литературное призвание взяло верх. И он стал сотрудником мелекесской районной газеты «Знамя труда». Сорок пять лет своей жизни он отдал журналистике! Многочисленные поездки в колхозы и совхозы, встречи, беседы, сотни репортажей, корреспонденций, очерков... Одновременно формировался как поэт, и поэт не из тщеславия, не из желания щегольнуть оригинальностью, заумными метафорами, мнимым глубокомыслием, не кабинетный стихотворец, а поэт истинно народный, озабоченный тем, чтобы донести правду до людей.

Осенью 1949 года судьба забросила меня в Мелекесс, как тогда назывался Димитровград, и я познакомился с группой местных начинающих литераторов, среди которых выделялся своей живостью и энергией Худенький юноша с копной черных волос и вдохновенным взглядом, – Женя Ларин. Так началась наша дружба, которая длится вот уже почти полвека. Для

характеристики Евгения Ларина расскажу кое о чем личном. В то время я был необоснованно исключен из партии за то, что американский отдел Общества культурных связей с заграницей, где я работал, послал в США известному биологу в порядке обмена образец нашего незасекреченного лекарственного препарата (кстати, неудачного). В тех условиях, когда искусственно разжигалась шпиономания, многие начали относиться ко мне настороженно или неприязненно. Путь в газеты и журналы был закрыт, хотя я еще до войны начал сотрудничать в газете «Советское искусство», а в годы войны был корреспондентом фронтовых газет. У меня не было уверенности в том, что и в Мелекесе мне разрешат печататься. Однако благодаря редакторам районной и городской газет и содействию Евгения Ларина такая возможность появилась.

И не только у меня. После отбытия несправедливого наказания в ульяновской колонии в Мелекесс приехал известный в 20-30-е годы писатель А.Г. Лебедев, которому не разрешили вернуться в родной Ленинград. Е. Ларин помог и ему, чаще всего под псевдонимом, публиковать в Мелекесе свои очерки и рассказы.

Его доброжелательность уже по отношению к начинающим литераторам проявилась особенно наглядно в те годы, когда мы создали вначале группу, а затем литературное объединение «Черемшан». Среди его участников появился молодой бухгалтер совхоза имени Крупской Анатолий Жуков. Ныне это известный русский писатель, автор романа «Дом для внука» и других произведений.

Среди тех, кому Е. Ларин помог найти свое место в литературе, и член Союза писателей Российской Федерации Валерий Гордеев, который ныне возглавляет филиал ульяновской писательской организации в городе Димитровграде. И сейчас вокруг Е. Ларина группируются молодые литераторы. Некоторые уже выпустили свои первые книжки.

Димитровградская общественность благодарно и широко отметила юбилей своего поэта, произведения которого публикуются не только в нашей области, но и в Татарии, Чувашии, Каракалпакии, Дагестане, на Украине. Главным подарком поэту к его 70-летию стало издание книги «Грозы над Русью. Мелекесские сказы». Сейчас, в условиях рыночных отношений и коммерциализации нашей жизни, появление новой книги писателя, пусть и очень талантливой, – это прежде всего проблема финансовая. Надо отдать должное димитровградской ад-

министрации, мэрии, отделу культуры, газетам, телевидению, коммерческим структурам и банкам. Они сделали все возможное для того, чтобы такая книга вышла. Вообще в Димитровграде радуется эта атмосфера патриотической заботы о культуре города. Например, местные полиграфисты отпечатали книгу всего за десять дней, причем на превосходном уровне! Вот бы так относились к местным писателям в нашей области везде!

В заключение хочется коснуться еще одного, на этот раз щекотливого вопроса отнюдь не юбилейного характера, а именно, политических пристрастий Евгения Ларина и его оценок советского периода нашей истории, поскольку в той или иной мере эти взгляды отражаются на том, что он пишет. Многие читатели, особенно люди пенсионного возраста, не разделяют его абсолютно негативного отношения к социалистическому прошлому. Я в их числе. Говорю об этом открыто, по праву многолетней дружбы. И тут же спешу уточнить: он никогда не был перевёртышем, человеком той породы, которая вызывает у большинства русских людей чувство брезгливости и презрения. Помню, с каким восторгом читал он стихотворение Е. Евтушенко, предостерегавшее после смерти Сталина об опасности возрождения культа земного бога. Помню, как зачитывался он повестью А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и его рассказами, тайно ходившими по рукам в самиздате. По своему характеру он – максималист. Никаких полутонов. Либо любовь, либо ненависть. Такое у поэтов случается частенько. Вот что он пишет в исторической поэме «Игнат и Настя», недавно опубликованной в газете «Знамя труда»:

Что за семьдесят лет натворила
Самозваная шайка господ:
И богатства страны распылила,
И вконец разорила народ.

Не надо быть историком или экономистом, чтобы доказать общеизвестный факт превращения за годы советской власти России из страны лапотной в могучую индустриальную сверхдержаву, первой в мире освоившую космос. И это при всех ошибках и преступлениях, совершенных ее генсеками и их окружением. Ибо в самой социалистической идее заложена великая творческая энергия, направленная на благо тружеников. Поэтому так и хочется перефразировать поэта: «Что за пять с лишним лет натворила обнаглевшая шайка господ»,

имея в виду современность. Да и сам Евгений Ларин так оценивает нынешнее положение нашей Родины:

На удельные княжества
Снова разрывают Великую Русь:
И везде свои баи и ханы,
И свои господа да паны.

Что верно, то верно. А кто начал этот развал великой державы? То-то! Недавно другой поэт, Евгений Евтушенко, на страницах газеты «Аргументы и факты» коснулся этой же острой темы: как относиться к политическим пристрастиям поэтов и писателей? Например, Маяковский говорил о Гумилеве: «И форма у него белогвардейская – с погонами», а Бунин называл самого Маяковского «неандертальцем». «Сейчас, – говорит Е. Евтушенко, – в сознании наших читателей все эти писатели сосуществуют мирно, на одних и тех же полках. Я, например, люблю и Гумилева, и Маяковского; и белых, и красных поэтов. Так оно и будет. Политические разногласия когда-нибудь забудутся». Хорошо сказано! Да, то, что нас порой сейчас разделяет, время унесет, как дорожную пыль. А вот истинно мудрое поэтическое слово надолго останется в душах людей. В том числе и лучшее из написанного Евгением Лариным.

Закат XX столетия

Чем ближе человечество подходит к великому рубежу в своем развитии – завершению второго тысячелетия от рождения Христа, тем острее у многих возникает потребность окинуть мысленным взором пройденный исторический путь и особенно желание оценить место и значение на этом пути самого сложного противоречивого и мучительного из всех пройденных столетий – двадцатого.

Историки уже давно группируют века по социально-экономическим формациям, идеологическим и культурным движениям, по эпохам: говорят об античном мире и рабовладельческом обществе, о средневековье и феодализме, о Возрождении и Просвещении, о капиталистической цивилизации. Однако у каждого столетия есть и свой, неповторимый облик. Так, семнадцатый век, ознаменовавшийся первыми буржуазными революциями в Англии и Нидерландах, принято считать в Европе переломным на пути от средних веков к новой истории. Восемнадцатый век воплотил в себе идеалы Просвещения

и дал миру таких мыслителей и литераторов, как Монтескье, Вольтер, Дидро, Руссо, Бомарше во Франции; Свифт, Дефо, Филдинг, Бернс – в Англии; Лессинг, Гете, Шиллер – в Германии; Ломоносов, Сумароков, Новиков, Державин – в России.

Завершился же он Французской буржуазной революцией, по справедливости именуемой Великой, потому что её идеи и последствия оказали колоссальное влияние на все последующее развитие Европы.

Идеи эти воплотились в три слова, отражавшие веру просветителей в то, что на смену монархиям, господству дворянства как привилегированного и паразитирующего класса, на смену мракобесию церковников, сжигавших еретиков, нищете и бесправию народных масс придут Свобода, Равенство и Братство. Великие умы той эпохи не мыслили себе свободы без социальной справедливости, а следовательно, без равенства всех перед законом, без распределения земных благ по трудовому вкладу каждого в общенародное богатство, без согласия в обществе, где не будет деления на бедных и богатых, контрастов роскоши и нищеты, наглого господства правящей верхушки и бесправия миллионов обездоленных.

Русская свободолюбивая мысль и русская культура во многом формировались под влиянием этих благородных идей. Наиболее полно воплотили их в своем творчестве и своей деятельности Радищев, декабристы, Грибоедов и любимец нашего народа Пушкин. В ранней юности он писал:

Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Однако XIX столетие очень скоро развеяло, «как дым, как утренний туман», эти иллюзии и надежды. И в Западной Европе, и в России исторически неизбежное утверждение прогрессивного в ту эпоху буржуазного строя, пришедшего на смену одряхлевшему феодализму, сразу же выявило не только его демократические черты, но и его неизлечимые родовые пороки. После Маркса, Энгельса, Ленина об этом написаны горы научных исследований, публицистических работ, романов и драм, поставлены сотни спектаклей и сняты тысячи фильмов. Бурное развитие науки, техники, промышленного произ-

водства сопровождалось эксплуатацией рабочих в городах и батраков в селах; периоды промышленного подъема чередовались с кризисами, безработицей, забастовками; записанные в конституциях демократические свободы чаще всего лицемерно прикрывали власть монополий; духовные ценности вытеснялись поклонением главному идолу капиталистического мира – жажде наживы. Вместо братства воцарилась конкурентная борьба за место под солнцем и классовая вражда, разъедавшая общество. Противоборство в преследовании своих экономических интересов перекинулось и на международные отношения. Достигший своей зрелости к концу XIX века капитализм вступил в эпоху империализма и изготовился к мировым войнам за передел мира.

Все это политграмота, которую в годы советской власти мы усваивали с пионерских лет, и сейчас повторение этих азбучных марксистско-ленинских истин вызывает у идеологов «реформируемой» России либо ядовитую усмешку, либо открытую злобу. Дескать, примитив, безнадежно устаревшие теории и представления, так как с тех пор мир стал совсем другим: в XX веке старый капитализм с его классовым делением на пролетариат и буржуазию исчез, а появилось новое социальное явление, именуемое «средним классом». И вообще, такие понятия, как «социализм» и «коммунизм», – вредные фантазии, которые принесли России одни неприятности вроде октябрьского переворота, совершенного кучкой фанатиков-большевиков во главе с немецким шпионом Лениным, гражданской войны, голода, сталинских репрессий и других бедствий. Хватит этих социальных экспериментов, революционных потрясений, разного рода «измов» и прочего теоретического бреда! Ничего лучшего, как «рыночная экономика», «свободное предпринимательство», «цивилизованное общество», человечество не придумало. И нечего мудрить на пороге XXI века, а надо просто заимствовать то, что уже достигнуто в США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Швейцарии и других странах, где народы благоденствуют, не зная нужды и забот.

Апологеты капитализма почему-то очень неохотно вспоминают, что октябрьскому перевороту предшествовало такое трагическое событие, как первая мировая война, которая унесла семь миллионов жизней – население целого государства! Событие это произошло до 25 октября 1917 года, и отнюдь не по вине Маркса или Ленина, а стало прямым порождением того самого «цивилизованного общества», которое так

полюбилось нынешним российским демократам. Мировая война! Такого в истории человечества еще не было. Были войны между отдельными государствами и группами государств; на протяжении веков передрались между собой почти все народы: греки с персами, римляне с Карфагеном, Франция с Англией, Англия с Испанией, Пруссия с Францией, Россия с Наполеоном и т.д. Однако такого, чтобы в военные действия оказались втянутыми все европейские страны плюс Соединенные Штаты, до XX столетия мир не знал.

Но одной мировой войны капитализму показалось мало. После заключения Версальского договора прошло каких-нибудь два десятилетия, и разразилась уже вторая мировая война, еще более чудовищная по своим масштабам и опустошительная по своим жертвам. Уже не семь миллионов, а в семь раз больше пожрал этот ненасытный капиталистический Молох в своей неистребимой жажде захватить как можно больше чужой земли, сырьевых ресурсов, рынков сбыта, дешевой рабочей силы.

И вот парадокс: в XX же столетии в науке и промышленности были достигнуты громадные успехи, в том числе связанные с мировыми войнами. Это касается и транспортных средств, и двух самых грандиозных открытий этого века – использования атомной энергии и выхода человека в космос, это же касается успехов в биологии, медицине и других областях.

Развитие цивилизации всегда было отмечено противоречиями, но в XX столетии они достигли небывалой остроты. Если считать, что главным показателем успехов поступательного движения земной жизни является ее интеллектуальный уровень, то именно за последнее столетие здесь совершен потрясающий качественный скачок, позволивший, в частности, продлить биологически нашу жизнь. Вспомним хотя бы трансплантацию человеческих органов.

И в то же время развитие мысли вошло в вопиющее противоречие с нравственной стороной интеллектуального прогресса. Национальный и религиозный фанатизм, расизм, разгул преступности на всех уровнях, насилие, заказные убийства, рэкет, коррупция в верхах, алкоголизм, наркомания, проституция – все это не только не уменьшилось в сравнении с девятнадцатым веком, но часто превосходит факты дикости, варварства, жестокости, цинизма, известные нам по средневековью и эпохе первоначального накопления. В духовной жизни большинства населения, живущего в условиях рыноч-

ной экономики, то бишь капитализма, акцент сместился с поисков социальных и нравственных идеалов в сторону меркантильных интересов, а жажда приобретательства, наживы, обогащения у одних и стремления выжить у других поразили, подобно эпидемии, умы и души миллионов людей.

Все это не могло не сказаться на общем уровне мировой культуры, литературы и искусства в XX веке. Если первая половина нынешнего столетия еще во многом продолжала и развивала гуманистические традиции XIX века, то во второй на Западе обозначился заметный спад. Если в первой половине в историю мировой литературы вписали свои имена Р. Роллан, А. Франс, Т. Манн, Г. Манн, Э. Ремарк, Б. Шоу, Д. Голсуорси, У. Фолкнер, Т. Драйзер, Э. Хемингуэй, Д. Стейнбек и другие великие писатели, то во второй – звезды такой яркости появляются все реже.

А в музыке! Кто осмелится утверждать, что после Бетховена, Шуберта, Листа, Шопена, Верди, Берлиоза, Бизе, Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова двадцатый век одарил на Западе человечество таким же обилием гениев? И рождены они были любовью к своему народу, освободительными идеалами, поэтизацией гуманного отношения к человеческой личности, верой в лучшее будущее.

Уже первая мировая война нанесла сокрушительный удар по этим идеалам и надеждам, породив «потерянное поколение», о котором с такой болью писали Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон и другие. Было бы упрощением связывать эту тенденцию напрямую с идеологическим давлением «хозяев жизни» на умы и сердца людей, но процесс «разрушения личности», о котором писал в начале века Горький, несомненно, отражал глубокий духовный кризис, поразивший всю систему.

История, однако, предоставила человечеству возможность выйти из этого тупика, избрав иной вариант социального развития. Впервые на нашей планете возникло народное государство, в котором была отменена эксплуатация человека человеком. Утвердились такие социальные завоевания, как право на труд, бесплатное образование и медицинское обслуживание, а людей стали оценивать не по толщине их кошелька, а по трудовому вкладу в общенародное достояние, по патриотическому служению Отечеству, по уму, знаниям, честности и порядочности.

Предвижу всплеск гневных эмоций со стороны тех, кто измеряет понятие «социализм» только ассортиментом товаров

в магазинах и запретом на показ постельного интима на экране. А запрет на частную собственность?! – вопрошают они. А попранная свобода слова?! А лагерь и «десять лет без права переписки»?! Спешу ответить: было это, было, было... Но к социалистической идее не имеет никакого отношения. Одни из партийной верхушки, исходя из самых добрых побуждений приблизить заветную цель – коммунистическое будущее, подхлестывали рысака истории, забежали вперед и совершали грубейшие ошибки, в том числе гонение на мелкое и среднее предпринимательство, порождая тем самым дефицит, очереди и недовольство населения. Между тем уже сама по себе государственная собственность на энергоресурсы, транспорт, металлургию, на землю и ведущие отрасли экономики обеспечивала социалистические устои нового строя и позволяла обратить огромные богатства на благо всего народа.

Другие использовали господство одной партии для утверждения личной диктатуры, раздували культ собственной персоны и, опасаясь покушения на свою власть, подавляли всеми средствами малейшую попытку критически взглянуть на то, что происходило в стране. Тем самым развитие свободной мысли тормозилось, сознание становилось однотипным, а творческая энергия масс во многих случаях не находила выхода.

Но даже при этих субъективных искривлениях социалистической идеи и при тех объективных экономических трудностях, какие выпали на долю Советского Союза после мировой и гражданской войн, а также после нападения гитлеровской Германии на СССР, его граждане пользовались такими социальными благами, какие и не снились рядовым труженикам в капиталистических странах. Более того, наиболее дальновидные из руководителей Запада использовали многое из опыта нашего практического социализма в своих странах, стремясь приглушить недовольство рабочего класса и крестьянства во время спада производства и кризисов. Наиболее наглядный пример в этом отношении – деятельность президента США Ф. Рузвельта.

В своей интересной и глубокой статье «Мифы, которые мы выбираем...» («Ульяновская правда» от 14 июля 1999 г.) В. Сафонов, однако, выдвигает одно спорное утверждение, суть которого в том, что якобы ни в СССР, ни в других странах социалистического содружества «никогда не было социализма», так как основные средства производства – земля, фаб-

рики и заводы – принадлежали государству, «то есть государственным чиновникам, которые распоряжались этими средствами производства и продуктами, на них полученными, так, как они этого хотели сами, не считаясь зачастую с желаниями общества». Автор называет этот строй «государственным капитализмом». Но сразу же возникает вопрос: если это был капитализм, который обогащал один процент населения СССР, то государственные и партийные чиновники должны были просто купаться в роскоши, строить себе, как нынешние миллионеры, загородные дворцы, отдыхать на Гавайях и Канарах, посылать своих детей на учебу в Оксфорд и т.п. Было ли что-либо подобное в СССР? Да ни в какой мере. Те скромные привилегии, какими пользовались номенклатурные работники в виде льготных путевок, тринадцатой зарплаты и пайков в закрытых распределителях, кажутся прямо-таки смехотворными в сравнении с тем, чем владеют ныне Ельцин, его дочь, Березовский, Черномырдин и вся правящая элита.

Куда же уходили огромные деньги государства? Да на строительство новых предприятий, школ, больниц, домов отдыха, здравниц, на укрепление обороноспособности государства, на бесплатное образование и медицинскую помощь, на поддержку науки и культуры, то есть на нужды всего общества, а не кучки чиновников. А это и есть социализм.

Осуждая ошибки руководства СССР, следует иметь в виду, что основная масса рядовых членов партии и партийных работников преданно служила своему народу, честно трудилась, часто на износ, была для других патриотическим и нравственным примером. Вера в идеалы социализма и энтузиазм, порожденный стремлением вырваться из тисков капитализма, охватили миллионы людей – от рядовых тружеников до ученых и деятелей культуры. Вряд ли кто осмелится утверждать, что семидесятилетие советской власти было застоєм в духовной жизни народа. Вспомним художественную литературу этой эпохи: А. Толстой, Леонов, Шолохов, Маяковский, Есенин, Пришвин, Паустовский, Симонов, Твардовский, Рождественский, Бондарев, Распутин и десятки других ярких имен. А в изобразительном искусстве?! Нестеров, Иогансон, Пластов, Кончаловский, Дейнека, Коненков, Мухина, Шадров, Меркулов, Щербаков, Глазунов, Шилов... А в музыке?! Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Мясковский, Хренников и целая плеяда талантливых композиторов-песенников: Дунаевский, Блан-

тер, Соловьёв-Седой, Новиков, Мокроусов, Пахмутова, Островский, Тухманов!

И все же ошибки сталинско-хрущевско-брежневского руководства плюс идеологическое и политическое давление западной пропаганды на сознание людей, особенно в национальных республиках, плюс предательство перевертышей, именовавших себя коммунистами, оказались роковыми: конец XX столетия привел не только к краху некогда могучей сверхдержавы, но и нанес болезненный удар по многовековой мечте людей о справедливом социально-экономическом строе. Произошло нелепое, исторически абсурдное и трагическое событие: в 90-е годы Россию вернули в ее дореволюционное прошлое, но с ухудшенным вариантом капитализма, названного «диким» и «криминальным», с уродливой конституцией, закрепившей такое противоестественное социальное явление, как «демократический абсолютизм», с кремлевской распутищиной, о которой Солженицын сказал, что она еще хуже осмеянной царской, с экономическим застоем, безработицей, обнищанием народа, с армией казнокрадов, мошенников, грабителей, убийц, с кучкой олигархов, нагло обворовывающих страну. Не отсюда ли идут истоки политической апатии, безразличия к происходящему, неверия в будущее среди значительной части населения, которое, подобно уставшему волу, покорно тащит ярмо обанкротившихся «реформ».

К глубокому сожалению, во главе Российского государства в этот ответственный исторический момент волею обстоятельств оказался бывший секретарь обкома КПСС, унаследовавший не лучшие, а худшие черты партийных руководителей советского периода: идеологическую зашоренность, властолюбие, отсутствие широкого кругозора, ведущее к непредсказуемости и капризным решениям в руководстве, неспособность к критическому самоанализу, а, напротив, надменную убежденность в своей непогрешимости, заботу о своем и семейном благополучии прежде всего и другие негативные качества. Как всякий ренегат, Б. Ельцин, стремясь заглядеть свое коммунистическое прошлое, стал в идеологической нетерпимости еще более фанатичным антикоммунистом, чем недавние обличители буржуазной идеологии, а его ненависть к современной Коммунистической партии России приобрела поистине патологический характер. Судя по средствам массовой информации, вопреки всем заверениям о приверженности демократии, в преддверии выборов в Государственную думу уже заготов-

лен указ о запрещении КПРФ, и бывший секретарь обкома КПСС только подыскивает подходящий повод для того, чтобы подписать этот документ. С этой целью по следу КПРФ вновь пущен министр юстиции, пока еще не оправдывающий ожиданий президента.

Конец XX столетия стал закатом не только России как великой державы. Несмотря на временное экономическое и финансовое благополучие, духовный кризис переживают и те, кто вышел «победителем» из соревнования двух систем. Те, кого называют «средним классом», часто не могут заняться в свободное от бизнеса время любимым делом, не имеют возможности расслабиться и отдохнуть, потому что вынуждены постоянно жить в нервном напряжении, заботясь о том, как продержаться на поверхности в неустойчивом и зыбком мире конкуренции и колебаний рыночной конъюнктуры. А сколько таких, кто ищет работу или дрожит из опасения потерять ее?!

Наступившая было относительная стабильность в мире после окончания «холодной войны» сменилась к концу столетия нарушением баланса между двумя социальными полюсами, и на поверхность снова всплыли империалистические амбиции держав-победительниц во главе с США. Почувяв экономическую и военную слабость ельцинской России, военно-политический блок НАТО все более бесцеремонно отодвигает в угол Организацию Объединенных Наций, призванную регулировать отношения между странами, обеспечивать их мирное сосуществование, а в необходимых случаях и карать военных преступников.

Та бесчеловечная расправа натовских заправил над Югославией, какая произошла в этом, последнем году второго тысячелетия, по-своему знаменует установление в мире «нового порядка», или *Ordnung*, родственного гитлеровскому в годы оккупации фашистами Европы. И все это совершается под прикрытием фарисейских разглагольствований о «справедливой», «гуманитарной» акции по защите косовских албанцев от геноцида, о необходимости наказания военных преступников и т.п. Как будто не было иных, политических способов решения этой проблемы. Хорош же этот «гуманизм», после которого тысячи югославов лишились жизни или были искалечены, а экономика страны после бомбовых и ракетных ударов лежит в развалинах, люди лишены электроэнергии, воды, продовольствия, по стране бродят шайки вооруженных террористов, грабителей и мародеров, по дорогам тянутся колонны бежен-

цев. Президент Клинтон цинично заявил: поскольку США внесли основной вклад в разрушение югославской экономики и крепко на этом поистратились, то восстанавливать ее придется самим европейцам... Убийственная логика!

В беспомощном положении оказалась во всей этой трагической эпопее Россия, президент которой тщетно пытается имитировать державную власть и силу. При всех его субъективных намерениях оказать влияние на ход событий на Балканах, при всех невнятных угрозах в адрес натовских агрессоров дело закончилось тем, что его спецпредставитель В.С. Черномырдин после многих челночных переговоров все же убедил руководство Югославии уступить требованиям этих самых агрессоров. За эту услугу и он, и Б.Н. Ельцин удостоились похвал натовских руководителей, а российский президент в порыве дружеских чувств даже подарил Б. Клинтону кипу каких-то секретных документов из архивов КГБ. Наказывать агрессора, так наказывать...

Ныне Югославия практически оккупирована натовскими войсками, а России даже отказано в собственном секторе для защиты сербского населения от жаждущих мести косовских боевиков. Та подачка, какую ей бросили натовские политики и генералы в виде рассредоточенных по их секторам батальонов наших десантников, – всего лишь утешительный жест в сторону податливого российского руководства. Функции этого контингента не ясны, а вот опасности, подстерегающие наших парней среди враждебного косовского населения, немалые. И сколько бы услужливые СМИ ни прославляли «успехи» нашей дипломатии, «решительность» Верховного Главнокомандующего и выучку наших десантников, горькая правда состоит в том, что натовские войска заняли в Европе один из ключевых в политическом и военном отношении плацдармов и намерены и дальше в обход ООН диктовать свою волю тем, кто попытается противиться претензиям современных фюреров на мировое господство. В первую очередь это относится к России. Легко догадаться, что вмешательство стран НАТО во внутренние дела России усилится, и уже в ближайшие предвыборные месяцы мы это почувствуем.

Такова невеселая реальность конца XX столетия, и даже самые закоренелые пессимисты начинают осознавать, что так долго продолжаться не может, что в XXI веке должен наступить перелом к лучшему и в России, и во всем мире, уже хотя бы потому, что вся история человечества убеждает: вечных

эпох упадка не бывает, люди неизменно находят пути выхода из, казалось бы, самых отчаянных положений, иначе бы поступательное движение земной жизни прекратилось. И решающую роль в этом, как всегда, выполняют сами народы. В первую очередь это относится к народам России. Рано или поздно они сбросят с себя ярмо криминального капитализма, пробудятся от апатии, покончат с долготерпением и со всей энергией примутся за созидание для себя достойных условий жизни.

Поколение счастливых

Леса вокруг Димитровграда сказочно хороши. Сам город открывается взгляду среди леса за поворотом дороги неожиданно, как продолжение этой зимней сказки.

Сколько лет здесь прожито, сколько раз приезжал сюда после из Ульяновска – как будто пора давно привыкнуть, а все-таки каждый раз жду за поворотом встречи с этим городом, как праздника. В этот же раз повод для приезда особенный, можно сказать торжественный: предстоит встреча с бывшими моими учениками, окончившими Мелекесскую среднюю школу № 8 тридцать и более лет назад... Не каждому учителю выпадает в жизни такое счастье, поэтому всю дорогу перебираю в памяти фамилии, имена, лица, волнуюсь и тревожусь.

В те годы существовало раздельное обучение мальчиков и девочек, и восьмая школа называлась ещё мужской. Время было послевоенное, суровое, хотя и овеянное радостью Победы. Почти в каждой семье прошлое оставило свой грозный след: у кого отец или старший брат не вернулся с фронта, кто и новее остался сиротой и воспитывался у родственников или в детском доме, кто отстал на год-два по возрасту от сверстников из-за эвакуации, болезни, нехватки одежды, обуви. Не легко приходилось в ту пору и учителям среди этих рано повзрослевших подростков.

И все же память сберегла из той поры лучшее, главное: неизбывную тягу ребят к знаниям, их веселую энергию, их трудолюбие, их увлечение художественной самодеятельностью и спортом. Это они тогда посадили на лесных вырубках-плешинах молодые сосенки, которые сейчас вымахали в мачтовые деревья: это они создали первый в городе мужской хор, занимавший первые места на смотрах: из их же числа вышли

чемпионы Мелекесса и области по лыжам, бегу, прыжкам, боксу. Недаром сами они с гордостью называли свою школу «гвардейской» Как-то сложились их судьбы?

И вот они собрались в рекреации нового здания школы, такие знакомые и вместе с тем такие изменившиеся, новые. У большинства дети трудятся, живут своими семьями; у других растут внуки. Не скрою: при виде их тронутых сединой голов что-то дрогнуло в груди, отдалось извечной грустью по ушедшей своей и чужой молодости, вызвало тревожные вопросы: что запомнилось им из школьных лет, какими видятся с высоты прожитых десятилетий бывшие учителя, как пригодились им в жизни те знания и те нравственные уроки, какие мы стремились им дать?

Первые же вопросы, ответы, беседы рассеивают эту тревогу. Чем дольше длится встреча, тем отраднее становится на душе, тем больше открывается биографий, по-своему отразивших славный путь, пройденный страной за эту треть века.

Склонный с детских лет к труду мастерового Владимир Кириллин – ныне рабочий автоагрегатного завода; любознательный в ученические годы Владимир Почечура – главный инженер атомной установки; увлекавшийся биологией Геннадий Липатов – главный хирург Димитровграда; Евгений Пузиков – ульяновский инженер-строитель. Рэм Зайнетдинов – рентгенолог областного онкологического диспансера, Владислав Трофимов, Валерий Довгаль, Виктор Чертопятов – офицеры Советской Армии, Владимир Сапрыкин – начальник станции техобслуживания, Владимир Катиков – пилот гражданской авиации, Юрий Кононенко и Владимир Трехонин – партийные работники.

И что особенно дорого нам, учителям, многие выбрали профессию педагога. Серьезный и уравновешенный в ученические годы Анатолий Сутягии и трудолюбивый дисциплинированный Наиль Гайнуллин стали директорами средних школ, Олег Рубцов – учитель русского языка и литературы, Юрий Трегубов – преподаватель детской музыкальной школы, Юрий Исаев – учитель математики в техникуме, Александр Винокуров – учитель английского языка, Виктор Максимов – директор техникума, Виктор Булкин – заведующий гороно... И так далее.

Есть среди выпускников восьмой школы агрономы, ученые, кандидаты наук, преподаватели вузов. В их числе доцент Ульяновского политехнического института Владимир Ерхов,

кандидат физико-математических наук Лев Иванов, кандидат биологических наук Геннадий Бабенков, кандидат геологических наук Борис Терентьев, преподаватели вузов Сергей Иванов, Владимир Коршунов и другие.

Все они, специалисты разных профессий, люди, занявшие достойное место в жизни, с глубокой благодарностью вспоминают своих учителей: И.У. Сергеева, П.Д. Жаренова, Г.П. Кудимова, А.П. Чертухину, П.С. Можайскую, З.А. Зайцеву, Г.Н. Грунину, Г.И. Шушарину, В.В. Канашкова и всех других, кто воспитал у них любовь к своей социалистической Родине, чувство гражданского долга, понятие о чести, открыл путь к знаниям и счастливому будущему.

Не могу не сравнить судьбу этого послевоенного поколения с судьбой молодёжи, пережившей войну или выросшей после нее на Западе. Ещё после первой мировой войны американская писательница Г. Стайн метко окрестила своих молодых современников «потерянным поколением». Выражение стало крылатым. В талантливых романах Э. Хемингуэя, Р. Олдингтона, Э. Ремарка и других западных писателей в полной мере отразилась трагедия нравственной опустошённости, безысходности, духовного тупика, в каком оказались те, кто был навсегда травмирован в социальном смысле войной. С полным основанием это мрачное определение можно перенести и на судьбу западной молодежи после Второй мировой войны. Безработица, бездомность, преступность, наркомания, самоубийства – таковы эти и другие зловещие спутники, вот уже многие десятилетия сопровождающие миллионы молодых людей, живущих в мире «свободного предпринимательства». Такова реальность, и сколько бы не тужились продажные перья буржуазной пропаганды выдать черное за белое, от неё нам никуда не уйти.

В счастливой судьбе выпускников восьмой «гвардейской», как в капле росы, отразилось различие двух социальных систем. Показательно, что большинство из них трудится в родном городе. Это и понятно: здесь живут или жили их родители, здесь прошумели школьные годы. Да и сам город за эти десятилетия неузнаваемо преобразился, вырос, помолодел, стал своего рода эталоном заботы о человеке и бережного отношения и природе. И в этом тоже нашла отражение важная закономерность нашего образа жизни, социалистической цивилизации.

Правда истории

«Победа» – так назвал писатель А. Чаковский свой политический роман, по мотивам которого режиссером Е. Матвеевым поставлен одноименный фильм в двух частях: «Время надежд», «И время тревог». Смысл названия кинодилогии многозначен: это и победа советского народа в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией, и победа советской дипломатии после войны над потугами англо-американского блока сохранить позиции империализма в Европе; и, наконец, победа идей разрядки в семидесятые годы как этап долгой и многотрудной борьбы сил мира и прогресса во главе с Советским Союзом против гонки вооружений и подготовки термоядерной войны.

Авторы сценария В. Трунин и Е. Матвеев отобрали из содержания романа наиболее существенное, опустив некоторые второстепенные линии и дополнив фильм, с согласия писателя, новыми героями и новой информацией, доступной кинематографу. Как и в романе, в центре кинодилогии два исторических события, разделенных по времени тремя десятилетиями послевоенного развития: Потсдамская конференция 1945 года и Совецание европейских стран в защиту мира и безопасности, состоявшееся в Хельсинки в 1975 году. Сюжетно их объединяют две встречи советского журналиста Воронова и американского корреспондента Брайта. Впервые случай свел их в то время, когда летом 1945 года в Потсдам съезжались участники конференции трех союзных держав: СССР, Англии и США. Новая встреча состоялась через три десятка лет в Хельсинки. За плечами у каждого осталась большая часть сознательной жизни. Воронов в эту пору в исполнении А. Михайлова – известный публицист, масштабно мыслящий советский гражданин, отстаивающий правду в журналистике и борющийся за разрядку. Исторические события, показанные в фильме, зритель чаще всего видит его глазами, и это налагает на исполнителя особую ответственность. А. Михайлов психологически достоверно передает горячность, энергию, решительность молодого Воронова и то, что составляет основу его характера, проявившуюся и в пожилом возрасте: его принципиальность, прямоту, бескомпромиссность в отстаивании правого дела.

Седина Воронова вызывает уважение, чего не скажешь о поседевшем Брайте, роль которого играет А. Миронов. Моло-

дой и счастливый Брайт в его исполнении не лишен обаяния, источник которого – внутренняя порядочность несколько бесшабашного американского парня, желающего быть объективным в своей профессии. Однако давление реакционных сил в США и желание материального благополучия оказались сильнее этих добрых задатков. Через тридцать лет он предстает довольно жалким, потрепанным жизнью, зависимым от «сильных мира сего» корреспондентом на побегушках. Семейная идиллия на фоне домика с бассейном не может скрыть драмы Брайта, его падения, ибо благополучие это куплено ценой уступки своей совести: ради денег Брайт издал клеветническую книжонку о Потсдамской конференции. Сопоставление двух журналистских судеб позволило создателям фильма поставить ряд злободневных вопросов: об ответственности средств информации в современном тревожном мире, о мнимой «свободе печати» в западных странах, о таких нравственных понятиях, как верность идеалам молодости, идейные основы дружбы и вражды, чести и бесчестья.

В эпизодах, посвященных Потсдамской конференции, внимание создателей фильма сосредоточено на трех исторических деятелях: Сталине, Черчилле, Трумэне. Голос диктора напоминает кинозрителям о сложной и противоречивой личности Сталина. Наша партия в свое время дала объективную оценку его положительным и негативным качествам. В фильме Сталин выступает как руководитель советской делегации на переговорах, а, следовательно, как представитель народа, одержавшего ценой невероятных жертв всемирно-историческую победу над фашистской Германией. Поэтому сценаристы и режиссер не ставили перед собой задачу всестороннего анализа личности Сталина, роль которого играет Р. Чхиквадзе. Этот образ можно считать одной из лучших актерских работ в «Победе». С первой сцены, где Сталин появляется в купе вагона, следующего в Потсдам, до подписания соглашения союзниками зрителю раскрывается крупный деятель, наделенный гибким дипломатическим умом, волей, сдержанностью, чувством юмора. Последовательно и твердо защищает Сталин государственные интересы нашей страны и интересы народов Европы, освободившихся от фашистской оккупации.

Особенно впечатляет эпизод, где Трумэн, по совету Черчилля, пытается шантажировать Советский Союз, сообщив Сталину о новом американском оружии небывалой разруши-

тельной силы. С плохо скрываемым злорадством всматривается президент США в лицо собеседника, надеясь заметить в нем следы страха. Но Сталин после некоторой паузы вежливо и спокойно благодарит за сообщение. А вернувшись к себе, сразу же требует соединить его по телефону с советским физиком Курчатовым...

Партнером Р. Чхиквадзе в этом психологическом поединке выступает известный литовский актер А. Масюлис, исполняющий роль Трумэна. Следует оговориться, что создатели фильма широко используют в нем кадры кинохроники тех лет, и зритель имеет непосредственно возможность сопоставлять реальных деятелей с их образным воплощением. Внешнее сходство сыгранного Трумэна с прототипом поразительно. Еще больше впечатляет проникновение актера в сам характер Трумэна как человека и политического деятеля, сменившего умершего Рузвельта на посту президента США. В историю этот деятель вошел как само воплощение лицемерия и ханжества, свойственных вообще политике империалистических держав.

Роль Черчилля в фильме поручена популярному советскому театральному актеру Г. Менглету. На основе тщательного изучения исторической, мемуарной и другой литературы он создал образ внутренне близкий незаурядной личности Черчилля, запечатленного здесь в пору заката его политической карьеры. По словам актера, самым трудным в работе над ролью У. Черчилля было создание образа человека очень одаренного, но другой идеологии, для нас более чем враждебной. Как и другие актеры в этом фильме, Г. Менглет стремится к реалистической многомерности образа, избегая прямолинейности и карикатуры.

И все же на экране Черчилль внешне больше похож на актера Г. Менглета, с его интонацией, дикцией, мимикой, жестами, чем на свой прототип.

Среди исторических деятелей зритель встречается с образами Г. Жукова в традиционном исполнении М. Ульянова, А. Громыко (В. Ильичев), В. Молотова (Н. Засухин) и ряда других известных лиц, создающих необходимый фон для полноценного восприятия эпохи. В эту среду органически включен образ генерала Карпова, обеспечивающего по своей должности охрану конференции (Е. Матвеев).

Эпизоды, связанные с Совещанием 1975 года во дворце «Финляндия», даны преимущественно через кинохронику тех лет. В составе советской делегации Л.И. Брежнев, К.У. Чер-

ненко, А.А. Громыко. Сопещание открывает Президент Финляндии У. Кекконен. Смотришь на кадры, где Форд, президент США в те годы, беседует с президентом ГДР Хонеккером и премьер-министром ФРГ Шмидтом, и думаешь: вот так бы, не бряцая оружием, искать решения спорных вопросов и дальше. Но нет. Черные силы реакции сделали все, что в их силах, чтобы подорвать процесс разрядки. Вот почему среди народов все больше ширится движение сторонников мира.

Масштабность исторического мышления, яркая публицистичность в сочетании с психологическим анализом героев, острая злободневность и богатство кинематографических средств фильма «Победа» – это знамение нашей сложной и беспокойной эпохи, требующей, чтобы искусство активно вторгалось в жизнь, звало на борьбу против враждебных делу мира сил, во имя будущего, достойного человечества.

Рекламный идиотизм

На одной из улиц нашего города установлен огромный фотоплакат, а на нем белокурая девица, оставив от себя почему-то подальше бутылку с напитком «Миринда», держит во рту трубочку. Надпись призывает: «Оттянись со вкусом!» Стараюсь вникнуть: что бы это означало? Все слова как будто русские, а смысл загадочный. Если «оттянись» относится к бутылке с напитком, то это можно понимать, как «отодвинься» от нее подальше, поскольку ты человек со вкусом. Другими словами, ни в коем случае не покупай это пойло, а то чего доброго отравишься. Но тогда возникает вопрос: зачем и кому нужна эта реклама наоборот?

Знакомый мне объяснил, что тут все дело в рекламном жаргоне. Такие призывы, как «оттянись», «не тормози» и им подобные, пущены в ход центральным телевидением и намекают на особый, игривый тон общения рекламодателей с потенциальными покупателями. Помните солдата в одной из пьес Горького, который, успокаивая жителей купеческого дома, говорил: «Я шутю». Так вот этот стиль с легкой руки наших центральных каналов получил в рекламе самое широкое распространение, в том числе в уличном изобразительном искусстве.

Неподалеку от описанного плаката установлен другой и такого же размера. На нем изображена уже не женщина, а лишь одна ее деталь, а именно запечатлены огромные, жир-

ные, покрашенные и довольно противные губы, которые искривились в брезгливой гримасе. Надпись сбоку информирует: «Соль и сахар». Тут же номер телефона. Догадливому пешеходу ясно: оба полезных продукта можно закупить оптом в фирме, позвонив по указанному телефону. Прекрасно! Однако как понимать гримасу этих жирных губ? То ли как то, что сахар оказался соленым, то ли соль почему-то сладкой?

А вот и третий шедевр рекламной фотопродукции. Тут все предельно ясно: молодая супружеская чета приобрела холодильник «СТИНОЛ». Событие, конечно, радостное, но та степень телячьего восторга, какую заснял фотограф, превосходит самое смелое воображение: полуодетая молодая супруга с голым животом отплясывает с мужем какой-то восторженный канкан, и оба, кажется, готовы выпрыгнуть из своей одежды, чтобы достойно отметить это великое событие. Так только радовались французские болельщики, когда их команда победила бразильцев. Но если покупка «СТИНОЛА» способна вызвать такой ураган чувств, то кое-кто из возможных покупателей еще призадумается: а стоит ли подвергать свою психику такому испытанию?

Однако вернемся к законодателям рекламного стиля «Я шутю» – к нашему любимому центральному телевидению. Здесь в большинстве клипов какой-либо логикой или элементарным смыслом и не пахнет. Например, после показа картинки с плиткой шоколада задушевный голос за кадром сообщает: «Россия – щедрая душа». Пардон, щедрая для кого? Если имеется в виду покупатель, то сходите в любой продмаг, поинтересуйтесь ценами на шоколад, и эпитет «щедрая» покажется вам несколько преувеличенным. А вот для тех, кто производит эти плитки и особенно кто накручивает цены при оптовой и розничной продаже, он вполне подходит. Следовательно, наша матушка Россия одаривает своей щедростью далеко не всех, а только избранных. С таким же успехом рекламодатели, показав батон дорогой вареной колбасы или кусок сливочного масла по 57 руб. за килограмм, могут объявить щедрой душой мясокомбинат или молокозавод.

Вообще, эксплуатация слова «Россия» в рекламе, помимо описанных благоглупостей, приобрела поистине неприличный размах. Не исключено, что скоро в целях патриотического воспитания населения это слово начнут включать в клипы, прославляющие отечественные валенки и чугунные утюги.

Чаще всего это Россия далекого прошлого, дворянская, аристократическая, с гусарскими ментиками, бальными платьями, изысканными поклонами. При этом тоже не обходится без курьезов. По десять раз в сутки, а то и чаще телезрители встречаются с таким сюжетом: в бальном зале оркестр играет «Неаполитанский танец» Чайковского, а дамы и кавалеры пушкинских времен кружатся парами по паркету. Но вот музыка стихает, танцовщики в изнеможении опускаются в кресла, а вспотевший дирижер, толстенький и потешный господин, вытирая пот, произносит на аристократический манер: «Ух, взопрел...» Ради чего разыгрывается эта комедия? А для рекламы шоколадных конфет. Участники бала набрасываются на них, чтобы утолить... жажду. Им бы после такого танцевального вихря выпить чего-нибудь прохладительного: лимонада или шампанского, а они, рассудку вопреки, наперекор стихиям, пожирают конфеты, возбуждающие эту самую жажду.

Любопытно, какие рекламные драматурги сочиняют эти нелепости, а главное, кто из рекламодателей утверждает выпуск этой дури в эфир? И задумываются ли хоть сколько-нибудь заказчики таких сюжетов над эффектом этих клипов? Ведь их воздействие часто бывает прямо противоположным тем целям, ради которых вкладываются деньги в рекламу. Особенно это касается назойливой повторяемости некоторых клипов, вызывающих у большинства телезрителей досаду или раздражение. Добавьте к этому вклинивание таких картинок в показ фильмов и в другие программы иногда в самых неподходящих местах. Скажем, идет фильм со сценами драматических переживаний, со слезами, гибелью людей, катастрофами, а на экране вдруг появляются оголенная дамская ножка во всю длину и молодой человек, пожирающий ее глазами: рекламируют колготки...

Вообще сексуальная тема, наряду с псевдопатриотической, – излюбленная приманка в глазах рекламодателей. Полуодетые или полностью обнаженные женские фигуры, объятия, поцелуи и прочее в этом роде то и дело мелькает на экране, на упаковках товаров и даже на... спичечных коробках. Вот передо мной упаковка такой продукции фирмы «Факел» из Пензенской области. Спички скверного качества, часто ломаются, зажигаются со второго или третьего раза, но на каждом коробке наклейка с грудастой голой девкой... Очевидно, подра-

зумеваются, что, завидев такие картинки, мужики гурьбой ринутся закупать пензенских дам.

Создается впечатление, что в рекламной индустрии у нас в стране воцарилась полная анархия, что это часто порождает бессмыслицу, безвкусицу, произвол шабашников и другие негативные проявления, ухудшающие настроение людей, и без того удрученных нынешними житейскими заботами.

Судьбы не желала иной

Есть особое очарование вот в таких солнечных осенних днях, как сегодняшних, когда зеленые пряди берез еще только местами тронуты первым золотом, небо радуется хрустальной голубизной, а в воздухе разлита здоровая свежесть. Неподалеку на дорогах шумят машины, но здесь, в Зеленом поселке, торжественный покой, охраняемый стражей высоких сосен, и только звонкие ребячьи голоса отдаются эхом среди стволов – рядом школа. Двухэтажные брусчатые дома поселка удивительно подходят к этому уютному уголку Димитровграда, города в лесу.

В одном из них и проживает учительница химии школы № 4 Вера Ивановна Соловьева. В будущем году исполнится сорок лет ее трудового стажа. Сорок лет... Простой подсчет показывает, что впервые она переступила порог школы как учительница в сорок втором. Заканчивался первый год Великой Отечественной войны. Грозные события тех месяцев спрессовали само время, и Куйбышевский педагогический институт студентке Вере Соловьевой пришлось заканчивать досрочно. Девушки-выпускницы попросили направить их на работу в освобожденные районы. Просьбу удовлетворили, да вот беда: началось новое наступление гитлеровских бронированных орд на юге, и к осени фашисты докатились до Сталинграда. Вера вернулась к себе в Мелекесс. Всего три года назад окончила она здесь десятый класс и вот теперь совсем еще молоденькой девушкой, стройной, белокурой, синеглазой, с трепетом и надеждой давала свой первый урок. За ним второй, третий... Так и началась её беспокойная, трудная и радостная учительская жизнь.

А война продолжалась. Как ни была Вера поглощена своей работой, мысли ее, как и у всех советских людей, трудившихся в тылу, были постоянно прикованы к фронту. Где-то там, под Сталинградом, сражался младший брат Веры, добро-

волец Александр. И вот пришло твердое решение: попроситься на фронт самой.

В декабре того же сорок второго года по комсомольскому призыву она надела солдатскую шинель, и до самого конца войны ее судьба была связана со 174-м отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом. Здесь она приобрела вторую профессию, уже военную, – научилась работать со стереодальномерным прибором, определяющим высоту полета самолетов. Здесь ей довелось участвовать в отражении налетов фашистских бомбардировщиков. И здесь же ей, активной комсомолке еще в школьные годы, доверили руководство молодежной организацией зенитчиков.

Как ветерану войны сейчас Вере Ивановне приходится часто выступать в школах, училищах, на предприятиях, среди нынешних воинов. Память о тех суровых днях нередко обжигает нестерпимой болью. Ведь каждая победа сопровождалась утратами. Много увидела в свои двадцать с небольшим лет: и слезы радости на глазах людей в освобожденных районах, и слезы горя у тех же людей, рассказывающих о злодеяниях оккупантов, как это было в городе Марганце, где фашисты при отступлении взорвали две шахты с находящимися под землей рабочими. Потому-то и без большого желания вспоминает она в личной беседе о пережитом. И всё же об одном эпизоде хочется рассказать.

В канун Первого мая 1944 части, охранявшие г. Николаев, получили приказ о готовности № 1. Теснимые советскими войсками фашисты выбрали ночь перед праздником международной солидарности трудящихся, чтобы не только нанести с воздуха удар по промышленному городу на Днестре, но и психологически подавить население демонстрацией своей силы. Первые вражеские бомбардировщики появились ещё за светом на пятикилометровой высоте. Батареи дивизиона и зенитного полка открыли огонь. А фашистские самолеты шли и шли все новыми волнами со всех сторон, не считаясь с потерями. Наступила темнота, включились прожекторы, земля и небо содрогались от взрывов снарядов и бомб, у зенитчиков из ушей выступила кровь. Крупная бомба попала в соседнюю батарею. Когда рассеялся дым и осела поднятая в воздух земля, на месте батареи зияла огромная воронка...

И вот пришел победный сорок пятый. Словно желая испытать зенитчиков на духовную прочность, военная судьба забросила их под конец в трагически известный Освенцим.

Тысячи смертников, которых фашисты не успели уничтожить, не смогли утнать, так как передвигаться те уже были не способны аккуратно упакованные тюки, с человеческим волосом, гора очков, издевательский лозунг на стенах бараков: «Чистота – залог здоровья...». Разве такое забудешь!

В героическом и трагедийном отблеске минувшей войны профессия учителя, приобрела для Веры Ивановны гораздо, более глубокий смысл, чем первое девичье, во многом наивное увлечение школой. Как никогда остро осознала она, что именно в школьные годы были заложены у будущих героев фронта и тыла те нравственные и политические качества, которые помогли нашему народу выстоять перед фашистским нашествием и водрузить знамя Победы над рейхстагом. В условиях послевоенной разрухи, среди утрат, пережитых большинством семей, среди сиротства и безотцовщины школа часто становилась для малышей и подростков их главной семьей. И хотя Веру Ивановну не однажды избирали на комсомольскую, партийную и государственную работу, со школой она была связана постоянно. Но, разумеется, наиболее тесно в те годы, когда работала учительницей и директором школ № 17 и №4. Оглядываясь на прожитые годы она говорит:

- Если бы совершилось такое чудо, что жизнь можно было начать заново, я опять бы выбрала профессию учителя. Бывало, к концу учебного года так устанешь, что ждешь отпуска, как праздника, но вот кончается август, и с таким же нетерпением ждешь первое сентября. И снова с трепетомходишь в класс, как будто и не было опыта прежних лет.

Три главных качества, по мнению Веры Ивановны, определяют облик учителей: коммунистическая убежденность, хорошее знание предмета и справедливость по отношению к детям.

- Я заметила, – говорит она, что после окончания школы, став взрослыми людьми, бывшие ученики с особенной благодарностью вспоминают те конфликтные случаи, в которых учитель проявлял справедливость. Даже если он отличался строгой требовательностью.

Позже в беседе с нынешним директором школы № 4 Тamarой Ильиничной Чулковой я понял, что справедливость для Веры Ивановны понятие емкое: это и формирование личности ученика, и душевность, и такт, и то, что на педагогическом языке называют несколько канцелярским термином «дифференцированный подход» к ученику, На одного больше действу-

ет жесткая требовательность, на другого – мягкость, на третьего – шутка.

Был как-то в её классе говорливый и непоседливый подросток. Все трудятся, а он никак не может сосредоточиться, вертится, озорничает. Попробовала учительница на него прикрикнуть – на другой день вообще в школу не пришел. Но стоило Вере Ивановне просто постоять у его стола или мягко опустить руку ему на плечо, как податливый на ласку мальчик успокаивался и начинал работать.

Ни одно педагогическое руководство не может подсказать учителю, как ему себя вести в каждом конкретном случае. Это чувство идет от врожденной способности понимать детей и, конечно же, от опыта, от уроков самой жизни. Ученики Веры Ивановны тянутся к своей учительнице, к ее примеру справедливости, к ее фронтовому прошлому и большому жизненному опыту.

Чтобы иметь право воспитывать детей, учитель сам должен быть ЛИЧНОСТЬЮ и, прежде всего, занимать активную жизненную позицию в утверждении наших идеалов. Товарищи по работе хорошо знают и ценят принципиальность коммуниста В.И. Соловьевой, её партийную непримиримость к недостаткам, её гражданскую смелость в осуждении, несмотря на лица, случаев проявления мещанской психологии, карьеризма, неприглядного поведения людей в быту.

Конечно, судьба учительницы вовсе не была подобна непрерывному восхождению к новым и новым высотам без ошибок и срывов. В народе говорят: жизнь прожить – не поле перейти. Были в жизни Веры Ивановны и свои неудачи, и просчеты, и обиды; порой ошибалась она в людях, которым верила, порой сама проявляла горячность и поспешность в оценках и выводах, но каждый раз самым строгим судьей своих промахов и ошибок была она сама. Только под осень жизни приходит к нам та спокойная мудрость, когда мы способны предельно для себя объективно обозреть прожитые годы и извлечь из них уроки, так необходимые молодым. В такую пору своей жизни вступила сейчас Вера Ивановна.

Нельзя не сказать и еще об одной важной грани её учительской и общественной деятельности. Недавно на своем юбилейном пленуме Ульяновский областной комитет защиты мира наградил В.И. Соловьеву памятным знаком Советского фонда мира. Вот уже три десятилетия участвует она в этом, поистине великом, движении нашей эпохи. Ей, прошедшей

через страдания и бедствия войны, особенно близки и дороги чаяния и стремления всех честных тружеников у нас и за рубежом сохранить и отстоять кровное право народов на спокойную, творческую, счастливую жизнь... На усыпанные сосновыми иглами дорожки между брусчатыми домами, кружась, медленно опускаются листья. Осень. Воздух наполнен хвойным ароматом, и дышится здесь удивительно легко.

Здравствуй, «Черемшан»!

В литературной жизни нашей области произошло событие и удивительное, и радостное: наряду с издаваемым в Ульяновске журналом «Мономах» вот уже второй год в Димитровграде выходит ежемесячный литературно-художественный и краеведческий журнал «Черемшан». Уникальным это событие является прежде всего потому, что найти средства для такого издания в наше время – это настоящий подвиг, тем более заметный, что в масштабах Российской Федерации многие другие литературные журналы либо почили в бозе, либо из-за отсутствия подписчиков и без финансовой подпитки влачат жалкое существование.

Но чего не добьются местные энтузиасты, влюбленные в свой город и в художественную литературу! И здесь хочется назвать имена членов Союза писателей Российской Федерации поэтов Валерия Гордеева и Евгения Ларина. Первый – главный редактор «Черемшана», второй – его активный сотрудник и пропагандист. Не менее отрадный факт в появлении этого издания – та поддержка местной литературе, какую оказывает ей глава димитровградской администрации Владимир Паршин, отдел культуры, общественность города и предприниматели.

В содержании вышедших номеров выделяются три раздела: художественная проза, поэзия и краеведческие материалы. В первом из них преобладают два жанра: повесть и рассказ. Прежде всего хочется отметить документальную повесть Евгения Ларина «Лицом к лицу». Первые ее главы опубликованы в первом же номере нового журнала, начавшего выходить в канун трехсотлетнего юбилея Мелекесса-Димитровграда. Само название повести перекликается с названием одноименного романа известного советского писателя Александра Лебединко, который провел несколько лет как ссыльный в Мелекессе после исправительной колонии в Ульяновске. А был осужден

он лишь за то, что обронил в присутствии доносчика фразу о перегибах в ходе коллективизации.

Упоминаю об этом потому, что документальная повесть Е. Ларина как раз и посвящена тем тяжелым социально-психологическим условиям, в каких формировалась периферийная художественная литература в послевоенные годы. На примере небольшого в то время города автор описывает такие широко известные ныне негативные явления, как слежка за художественной интеллигенцией, преследование свободы слова, цензурный гнет, аресты и ссылки тех, кто осмелился сказать правду об ошибках и преступлениях сталинского режима. Сошлюсь лишь на один эпизод из этой повести, построенной как воспоминание о прошлом, а именно на историю знакомства автора с дочерью советского писателя Артема Веселого – Заярой. Вот после просмотра спектакля в мелекесском драмтеатре между автором и Заярой происходит такая беседа.

Заяра:

- Между прочим, в Мелекесе Артем написал пьесу «Разрыв-трава».

Да и в «России, кровью умытой» немало мелекесских страниц!

Да, колорит нашего города и уезда в романе очень ощущим. Я легко узнаю и улицы, и села, и людей, и события. Роман Артема – это богатырская симфония революционной эпохи. Такая книга достойна самой высшей награды.

Вот ему и дали высшую – расстрел. Пулю в затылок.

Проклятье и забвенье на многие годы.

- И за что?

Таким вопросом задавались миллионы сталинских жертв. И не находили ответа. Одни из них были слишком талантливы, другие слишком преданы делу революции, третьи слишком видели, что Сталин вероломно растаптывает идеалы, за которые они боролись. В их числе был и мой отец».

Повесть Е. Ларина сразу же привлекла внимание московской критики. В газете «День литературы» секретарь Союза писателей России Николай Перепелов отозвался о ней так: «Представляется любопытной повесть Евгения Ларина «Лицом к лицу»... Написанная в жанре литературных мемуаров, она рассказывает о том, как в условиях постоянного контроля со стороны органов государственной безопасности происходило становление независимой литературы небольшого русского городка... Повесть выпадает из разряда провинциальной лите-

ратуры уже в силу того, что вписана своей атмосферой в контекст жизни не столько Димитровграда, сколько всей страны...»

Внимание читателей привлекла и повесть Александра Никонова «Побег». Острая по сюжету, правдивая по характерам и написанная на хорошем литературном уровне, она рассказывает о побеге летом из зоны летом сорок первого года трёх заключённых: двух «политических» и одного уголовника. Если первые два, Егоров Коновров, стремятся вырваться из лагеря, чтобы добраться до фронта и бить фашистов, то третий, Балабин, мечтает лишь об одном – переметнуться в стан врагов и тем самым уйти от кары за свои тяжкие преступления. Повесть завершается тем, что Егоров застрелил Балабина, пытавшегося во время боя сдать в плен немцам. «Балабин лежал на ничейной, но родной земле, никому не нужный, ни своим, ни фашистам... И не было сейчас над ним никого, как он мечтал: ни детей, ни жены, ни Родины. Лишь пули по смертным соловьями щелкали над его застывшим телом».

Оставил свой добрый след в димитровградской литературе и безвременно ушедший из жизни Абдулла Гарипов. В журнале «Черемшан» опубликованы его повести «Возвращение» и «Воспоминание контрразведчика – димитровградца». Всю свою жизнь А. Гарипов посвятил службе в органах безопасности, в том числе в послевоенные годы, работе в ГДР. О реальных фактах борьбы советских чекистов против иностранных агентов и диверсантов он и рассказывает в своих ярких произведениях. Публикация их в «Черемшане» опровергает мнение некоторых читателей о том, что идеологическая линия журнала ориентирована якобы только на огульное очернение советского прошлого.

Трудную в этом смысле миссию на себя взвалил Валерий Гордеев в повести «Мы у Господа Бога поблажки не просим». В ней описана судьба русского офицера из посада Мелекесс. Добавим, белого офицера, боровшегося в годы гражданской войны против большевиков. Начнем с того, что человеку, чья жизнь прошла в годы советской власти, психологически вероятно трудно отрешиться от абсолютно негативного отношения к «гидре» и «контре», к «беякам», деникинцам, врангелевцам и прочей малопочтенной публике. Сам интерес к процессам, происходившим в рядах белой армии, к психологии русских людей, не принявших революцию и боровшихся против нее, рассматривался тогда едва ли не как проявление симпа-

тии к врагам, а стремление писателя М. Булгакова вторгнуться в этот лагерь, раскрыть драмы и трагедии белого движения навлекло на него гнев Сталина и официальной пропаганды. Поэтому у подавляющего большинства из нас о белом движении сложилось очень смутное, примитивное и исторически однобокое представление.

Валерий Гордеев на примере судьбы реально существовавшего русского офицера, Николая Богутинского, родившегося в Мелекесе, и проследживает мотивы, побудившие этого подпоручика, окончившего в 1914 году военное училище, вступить в борьбу с большевиками. Одним из страшных эпизодов, описанных в повести, является расправа дружинников над невестой героя, служившей сестрой милосердия в самарском лазарете... Да, из песни слова не выкинешь, было и такое. Об этом писали в свое время Горький, Короленко, Бунин и другие. И не нам сегодня стыдливо закрывать глаза на черные страницы своей истории. Все дело в той степени исторической правды и объективности, с какой оценивается эта революция в целом. Мне представляется, что повесть В. Гордеева выиграла бы без публицистических отступлений автора. Сам сюжетный материал достаточно убедителен и документально подтвержден.

Уделяет «Черемшан» внимание и модному ныне жанру детектива. В нескольких номерах публикуется «российский боевик о крутых» под названием «Дакота». Автор – Вячеслав Первушин, литературный ученик А. Гарипова. И по сюжету, и по персонажам, и по языку – вещь ультрасовременная. И все же меня, человека пожилого, коробит ненормативная лексика героев повести. Смысл ее объясняет один из участников диалога: «К тому же какой придурок ему поверит, если мы, герои, будем пятистопным ямбом шпарить? Это все-таки детектив, а не эссе. Все должно быть, как в жизни». Увы, в художественной литературе «все» никогда не бывает, как в жизни. Иначе бы она утратила свое назначение.

Поэтический раздел «Черемшана» радует богатством имен, особенно женских, и высоким уровнем стихотворений. Здесь представлены и такие известные в нашей области поэты, как Светлана Матлина, Яков Рогачев, Надежда Дрыганова, Ирина Беликова, Нонна Алиева, Василий Коробков, и дебютантки – Кристина Бондарева, Елена Козлова и другие. Заметным событием в поэтическом разделе журнала стала публикация большого цикла любовной лирики Евгения Ларина

«Сто лепестков из «Книги любви». Цикл создавался на протяжении многих лет, и здесь поистине выстрадана каждая строчка. О классической ясности стиля и эмоциональном накале цикла можно судить хотя бы по такому четверостишию:

Я пишу для тебя раскаленные строчки,
Коль боишься обжечься, то сразу туши...
Это искорки чувств, это сердца кусочки.
Это угли моей обнаженной души.

Многие стихотворения ларинского цикла, впрочем, как и других поэтов-черемшанцев, так и просятся на музыку. Хочется обратиться к современным композиторам-песенникам: не надоели ли вам пустопорожние тексты эстрадных шлягеров, не пора ли обратиться к истинной поэзии?

Заслуживает одобрения и «Детский уголок» журнала, в котором находим милые и умные стихи Лидии Степановой и Ирины Беликовой.

Наконец, в краеведческом разделе журнала привлекают внимание добротные и интересные исследования Феликса Касимова, Надежды Прохоровой, Альбины Петровой, Сергея Слюняева, Бориса Аржанцева, Ивана Лебедева и других. Надеюсь, когда-нибудь они войдут в монографии и сборники краеведческой литературы нашей области.

Хочется пожелать, чтобы издатели «Черемшана» и дальше выдерживали тот высокий и литературный и научно-краеведческий уровень публикуемых материалов, какой радуется читателей в уже вышедших номерах.

Заключение

Вы познакомились лишь с небольшой частью того что написал мой отец за 87 лет своей жизни. Не скрою, я долго сомневался, когда Н.Н. Сёмин предложил реализовать этот проект. Просто я знаю достаточно много достойных людей, которым есть чем поделиться с читателями. Однако, когда начал в очередной раз работать с архивами отца, понял, что написанное им действительно является часть нашей истории, хотя этот вывод достаточно субъективный, с участием одного человека. По сути, жизнь отца совпадает с целой эпохой, если учесть, что рождённый в 1914 году Иван Дмитриевич видел живого батьку Махно, который часто наезжал в г. Пологи из Гуляй-поле. В то же время отец застал «лихие 90-е», одно из самых непонятых десятилетий в истории нашей страны.

Меня уже не раз спрашивали, почему я называю своего папу отцом. Просто я всегда вспоминаю замечательный советский фильм «Отец солдата» и не могу себе представить, чтобы в названии звучало слово «папа». Отец всегда был для меня не просто родителем, а одним из предыдущего героического поколения прошедшего войну. Кроме того, отец был для меня образцом организованности и трудолюбия. Я всегда удивлялся тому, как много он успел сделать при жизни: владел английским, немецким и французским языками, играл на фортепьяно, гитаре, балалайке и мандолине, неплохо писал акварелью и маслом, регулярно публиковался в печати, занимался научной работой. Уже будучи на пенсии Иван Дмитриевич, прежде чем договориться с кем либо о встрече, обязательно смотрел график своей занятости, который составлял, как правило, на неделю.

Мне трудно судить о том, как будут восприняты публикации отца, помещенные в этот сборник. Во многом это будет зависеть от возраста, пристрастий и грамотности читателя. На мой взгляд наиболее неоднозначно будет восприниматься глава «Публицистика». Сразу хочу пояснить, что отец никогда не был фанатиком советской идеологии, тем более сам после Великой Отечественной войны был подвергнут репрессиям, хотя и был позже полностью оправдан. Просто так получилось, что большая часть этих работ была написана в 90-е годы, когда любой здравомыслящий человек не мог не возмущаться тем, что происходило в стране.

И.Д. Хмарский

В любом случае, всё, что опубликовано в этом издании следует воспринимать как воспоминания и как жизненную позицию одного из ровесников XX века.

Биография И.Д. Хмарского

Хмарский Иван Дмитриевич родился 16 июля 1914 года в г. Пологи Запорожской области в семье крестьянина. Отца своего не помнил, поскольку вскоре после начала Первой мировой войны тот пропал без вести. Через несколько лет, во время Гражданской войны, мать И.Д. Хмарского вторично вышла замуж за своего земляка, бывшего моряка Черноморского флота, который работал в железнодорожном депо электриком. После окончания в 1927 году школы Иван Дмитриевич поступает в художественное училище в г. Орехове. На третьем году учёбы художественное училище было закрыто и Иван Дмитриевич в 1930 году поступает в химико-металлургический техникум в г. Запорожье. Заканчивает его в 1933г. и устраивается работать в железнодорожном депо г. Пологи электриком и связистом.

С 1934 по 1939 гг. учится в Московском государственном институте философии, литературы и искусства по специальности история и теория искусств. Впоследствии ИФЛИ становится известным и уважаемым ВУЗом благодаря своим выпускникам, среди которых было много блестящих философов, дипломатов, поэтов, писателей, исследователей литературы и искусства. Так, вместе с Иваном Дмитриевичем учились А. Твардовский, С. Наровчатов, Л. Орлова, Л. Копелев, Л. Озеров, П. Коган, А. Караганов.

После окончания института с июня по октябрь 1939 г. И.Д. Хмарский продолжает учебу в аспирантуре филологического факультета ИФЛИ, но не закончив учёбу призывается в ряды Советской Армии. Службу Иван Дмитриевич начинал красноармейцем полка связи в г. Брянске. В 1940 году он был переведен на должность командира отделения связи в 48 авиационную дивизию, стоявшую в Курске. В мае 1941 года И.Д. Хмарский зачисляется в штат редакции дивизионной газеты «Крылья победы».

В годы войны участвовал в боевых действиях в качестве военного корреспондента и литературного сотрудника газеты «Крылья победы» в 24 авиационной дивизии Брянского фронта, а с октября 1943 г. – корреспондентом фронтовой газеты «Доблесть» 16-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта. За боевые заслуги был награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». В 1944 г. был отозван с фронта и

И.Д. Хмарский

направлен в Москву для обучения в военном институте иностранных языков Советской Армии. После обучения был направлен на должность референта Советской военной администрации в Вене. С января по октябрь 1946 г. служит помощником политсоветника по Австрии. Затем демобилизуется в звании капитана. С октября 1946 по январь 1949 года работает заведующим американским отделом Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Это было время начала новой волны репрессий, которая задела и Ивана Дмитриевича. Из общества в США по предварительной договорённости был отправлен образец лекарства, которое никакой тайны не представляло. Однако за это И.Д. Хмарского уволили с работы и исключили из партии. Он попадает на приём в комиссию партийного контроля, и её председатель, М.Ф. Шкирятов, советует ему поехать поработать куда-нибудь подальше от Москвы.

Он приезжает в Мелекес (ныне Димитровград) и с 1949 по 1959 гг. работает преподавателем литературы в мужской средней школе № 8, три года директором средней школы № 3. Затем переходит на работу в Мелекесский педагогический институт на должность декана филологического факультета. В 1966 году получает ученую степень кандидата педагогических наук, а в 1969 – ученое звание доцента. В 1970 назначается ректором этого пединститута. В связи с реорганизацией высшей школы педагогический институт в 1971 году вошёл в состав Ульяновского педагогического института имени И.Н. Ульянова вместе с кадрами и материальной частью. Ивана Дмитриевича назначили на должность доцента кафедры литературы этого учебного заведения. В 1984 г. он избран по конкурсу на должность профессора. За время преподавательской работы был награжден значком «Отличник просвещения СССР», медалями

«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

За годы работы опубликовано около 200 статей по теории и методике преподавания литературы, монография «Народность поэзии А.С. Пушкина». Активно занимался литературным творчеством и публицистикой. В Саратовском издательстве вышли три его сборника рассказов, ещё около 300 произведений разного жанра были напечатаны в газетах Димитровграда, Ульяновска и области. Пьеса «Кактус» была поставлена Ульяновским драматическим театром и показана по местному

телевидению. Являлся членом Союза журналистов СССР и Российской Федерации. Увлекался живописью. 12 картин были переданы им в дар Димитровградскому краеведческому музею.

В 1989 г. ушел на пенсию. Умер в 2001 г.



Днепропетровск, 1933 г. Первый выпуск химико-технологического техникума / И. Хмарский (нижний ряд, четвёртый слева)



Австрия, Вена. 1945 г.



Фронтальная газета «На страже», в которой работал И.Д. Хмарский военным корреспондентом. 1941 г.

● Рассказ

В июне 1967 года в Берлин из Москвы приехала группа туристов. Разместили их в центре города, в уютной гостинице, принадлежавшей какой-то христианской общине. Никто из группы вначале не смог перевести ее странное название - «Хоспис», и только подошедший позднее сорокадвулетний профессор-лингвист Владимир Никитин, свободно говоривший по-немецки, объяснил, что слово это обозначает место упокоения, или убежище.

Поднявшись после обеда в свой номер, Никитин прилегла на диван, взял со столика Библию и начал листать заполненные готическим шрифтом страницы. То ли потому, что знакомая икона Христа, деды Марии, Иосифа и апостолов были напечатаны не на родном языке и оттого казались еще более значительными, то ли общее ощущение умиротворения и покоя в этой гостинице настроило на торжественный ход мыслей, но он почувствовал за каждой библейской легендой какой-то особый, таинственный и глубокий смысл, который радовал и возвышал его в собственных глазах. И еще было ощущение необыкновенной нравственной чистоты воздуха. Стелла оной? Неужели только от этой опрятной комнаты с ее строгой мебелью, Библией и молитвенником?

И вдруг он вспомнил: радостное чувство было связано с девушкой, служащей гостиницы, которая записывала в приемной фамилии гостей в большую книгу - гроссбух. Девушка, безусловно, была красивой, одной из тех, какие встречаются в кинофильмах или на страницах журналов мод. Ему даже показалось странным, что она сидела здесь, в небольшой конторке гостиницы, а не симпатично где-нибудь в Голливуде. В то же время он подознанием уловил нечто, отличающее ее от стандартных кинозвезд: то была необыкновенная свежесть ее лица, озаренного легким румянцем щек, и естественность ласкового взгляда, темных лучистых глаз, окаймленных усами природными ресницами. Он понял: девушка совершенно не пользовалась косметикой. «Должно быть, так выглядела Лота в романе Гете «Страдания молодого Вертера», - подумал он. - И сколько обаяния во

асей ее фигуре, сколько грации в движениях!»

Успел он заметить на левой щеке девушки и маленькую родинку, которая придавала всему ее облику что-то особенно притягательное. Почти такую же, какая была у его матери и у него самого двадцать лет. Своей родинкой он стеснялся с детства, счита-

Иван ХМАРСКИЙ

ВСТРЕЧА В БЕРЛИНЕ

она, - А вот и моя племянница! В вестибюль вошла Эрика, и Владимир с радостным чувством убедился, что несвое впечатление его не обмануло: все так же свежая, ласковая, обаятельная. Увидев Никитина, она почему-то слегка покраснела и тут же приветливо ему улыбнулась.

- Так вы, Эрика, оказывается, родственница фрау Цецилии? - непременно сказал Владимир, удивляясь сам тому, как легко он себя чувствует в присутствии этих двух женщин.

- Да, - подтвердила она. - Ведь гостиницу обслуживает наша семья. Папа - директор, тетя - бухгалтер, брат заведует хозяйством, а я вот здесь.

- А мама? - спросил он и тут же почувствовал, что не надо было задавать этого вопроса. По лицу Эрики пробежала легкая тень, на лбу появилась скорбная морщина.

- Ее уже нет с нами, - проговорила она негромко.

- Извините, - сказал Владимир, чтобы поскорее загладить неловкость, спросил: - Вы родились в Берлине?

- Нет, - вместо нее ответила фрау Цецилия. - Эрика родилась в Гляйвице. Но город перешел к полякам, и моя сестра с маленьким Владимиром были вынуждены переехать ко мне.

- В Гляйвице? - переспросил он.

- Вы там бывали? - в свою очередь удивилась фрау Цецилия.

- Да. Вскоре после окончания войны...

- Знаете, что я сейчас заметила? - вдруг сказала фрау Цецилия.

- Вы с Эрикой очень похожи друг на друга. Как старший брат и сестра. Простите, герр профессор, как сколько лет?

- вполне достаточно, чтобы быть отцом Эрики, - отшутился он.

- Девушка остановила на нем пристальный взгляд, нахмурилась и деловито сказала:

- Если у вас и наших друзей возникнут просьбы и пожелания, мы всегда готовы вас выслушать.

- Спасибо, фраульин Эрика! - Он учтиво наклонил голову и отошел, сообразив, что беседа приобрела слишком интимный характер и ей это неприятно.

(Продолжение следует).

Рассказ И.Д. Хмарского, напечатанный в газете «Знамя труда» от 28.01.1997 г.



Мелекесс, 1951 г. Школа № 9, 9-й класс



Мелекесс, 1955 г. Школа № 8, выпускники 10 класса



Мелекесс, 1955 г. Встреча учителей с выпускниками



Мелекесс, 1955 г. На концерте в Доме учителя



Мелекес, 1962 г. Фото с учениками школы № 3



Мелекес, 1960 г. Педагогический институт



И. Хмарский (в центре). Выступает поэт Геннадий Зимняков



Выступает будущий советский писатель Анатолий Жуков



Мелекес, 1986 г. Встреча двух писателей: Е.С. Ларина и И.Д. Хмарского

И.Д. Хмарский



Один из основателей «Черемшана», советский писатель Александр Гервасьевич Лебеденко («Тяжелый дивизион»)



Мелекес, 1956 г. Заседание литобъединения «Черемшан».
Крайний справа: Е.С. Ларин (стоит) и И.Д. Хмарский



*Ульяновские писатели Н. Рябинин
и В. Дедюхин в гостях у литературно-
го объединения «Черемшан»*

Мелекес, 1953 г. Ульяновские писатели Н. Рябинин и В. Дедюхин
в гостях у членов литобъединения «Черемшан»



Обложка одной из книг И.Д. Хмарского «Золото-старушка», 1963 г.



Чета Хмарских на отдыхе

И.Д. Хмарский



Г. Ульяновск. С актёрами Ульяновского драмтеатра.
Сцена из пьесы «Кактус»



И. Д. Хмарский, 1990 г.



Димитровград, 1986 г. И.Д. Хмарский передаёт картины
в городской музей

И.Д. Хмарский

Картины И.Д. Хмарского из Краеведческого музея Димитровграда



Оттепель



Свияжские дали

Иван Дмитриевич Хмарский
Я родом из XX века
Избранное
Редактор-составитель Н. Сёмин

Подписано в печать
Формат.....
Усл. печ. листов Печать офсетная
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в
г.Ульяновск